This is a digital copy of a book that was preserved for generations on library shelves before it was carefully scanned by Google as part of a project to make the world's books discoverable online.

It has survived long enough for the copyright to expire and the book to enter the public domain. A public domain book is one that was never subject to copyright or whose legal copyright term has expired. Whether a book is in the public domain may vary country to country. Public domain books are our gateways to the past, representing a wealth of history, culture and knowledge that's often difficult to discover.

Marks, notations and other marginalia present in the original volume will appear in this file - a reminder of this book's long journey from the publisher to a library and finally to you.

Usage guidelines

Google is proud to partner with libraries to digitize public domain materials and make them widely accessible. Public domain books belong to the public and we are merely their custodians. Nevertheless, this work is expensive, so in order to keep providing this resource, we have taken steps to prevent abuse by commercial parties, including placing technical restrictions on automated querying.

We also ask that you:

+ *Make non-commercial use of the files* We designed Google Book Search for use by individuals, and we request that you use these files for personal, non-commercial purposes.
+ *Refrain from automated querying* Do not send automated queries of any sort to Google's system: If you are conducting research on machine translation, optical character recognition or other areas where access to a large amount of text is helpful, please contact us. We encourage the use of public domain materials for these purposes and may be able to help.
+ *Maintain attribution* The Google "watermark" you see on each file is essential for informing people about this project and helping them find additional materials through Google Book Search. Please do not remove it.
+ *Keep it legal* Whatever your use, remember that you are responsible for ensuring that what you are doing is legal. Do not assume that just because we believe a book is in the public domain for users in the United States, that the work is also in the public domain for users in other countries. Whether a book is still in copyright varies from country to country, and we can't offer guidance on whether any specific use of any specific book is allowed. Please do not assume that a book's appearance in Google Book Search means it can be used in any manner anywhere in the world. Copyright infringement liability can be quite severe.

About Google Book Search

Google's mission is to organize the world's information and to make it universally accessible and useful. Google Book Search helps readers discover the world's books while helping authors and publishers reach new audiences. You can search through the full text of this book on the web at `http://books.google.com/`

Google

Это цифровая коиия книги, хранящейся для иотомков на библиотечных иолках, ирежде чем ее отсканировали сотрудники комиании Google в рамках ироекта, цель которого - сделать книги со всего мира достуиными через Интернет.

Прошло достаточно много времени для того, чтобы срок действия авторских ирав на эту книгу истек, и она иерешла в свободный достуи. Книга иереходит в свободный достуи, если на нее не были иоданы авторские ирава или срок действия авторских ирав истек. Переход книги в свободный достуи в разных странах осуществляется ио-разному. Книги, иерешедшие в свободный достуи, это наш ключ к ирошлому, к богатствам истории и культуры, а также к знаниям, которые часто трудно найти.

В этом файле сохранятся все иометки, иримечания и другие заииси, существующие в оригинальном издании, как наиоминание о том долгом иути, который книга ирошла от издателя до библиотеки и в конечном итоге до Вас.

Правила использовапия

Комиания Google гордится тем, что сотрудничает с библиотеками, чтобы иеревести книги, иерешедшие в свободный достуи, в цифровой формат и сделать их широкодостуиными. Книги, иерешедшие в свободный достуи, иринадлежат обществу, а мы лишь хранители этого достояния. Тем не менее, эти книги достаточно дорого стоят, иоэтому, чтобы и в дальнейшем иредоставлять этот ресурс, мы иредириняли некоторые действия, иредотвращающие коммерческое исиользование книг, в том числе установив технические ограничения на автоматические заиросы.

Мы также иросим Вас о следующем.

- Не исиользуйте файлы в коммерческих целях.
  Мы разработали ирограмму Поиск книг Google для всех иользователей, иоэтому исиользуйте эти файлы только в личных, некоммерческих целях.

- Не отиравляйте автоматические заиросы.
  Не отиравляйте в систему Google автоматические заиросы любого вида. Если Вы занимаетесь изучением систем машинного иеревода, оитического расиознавания символов или других областей, где достуи к большому количеству текста может оказаться иолезным, свяжитесь с нами. Для этих целей мы рекомендуем исиользовать материалы, иерешедшие в свободный достуи.

- Не удаляйте атрибуты Google.
  В каждом файле есть "водяной знак" Google. Он иозволяет иользователям узнать об этом ироекте и иомогает им найти доиолнительные материалы ири иомощи ирограммы Поиск книг Google. Не удаляйте его.

- Делайте это законно.
  Независимо от того, что Вы исиользуйте, не забудьте ироверить законность своих действий, за которые Вы несете иолную ответственность. Не думайте, что если книга иерешла в свободный достуи в США, то ее на этом основании могут исиользовать читатели из других стран. Условия для иерехода книги в свободный достуи в разных странах различны, иоэтому нет единых иравил, иозволяющих оиределить, можно ли в оиределенном случае исиользовать оиределенную книгу. Не думайте, что если книга иоявилась в Поиске книг Google, то ее можно исиользовать как угодно и где угодно. Наказание за нарушение авторских ирав может быть очень серьезным.

О программе Поиск кпиг Google

Миссия Google состоит в том, чтобы организовать мировую информацию и сделать ее всесторонне достуиной и иолезной. Программа Поиск книг Google иомогает иользователям найти книги со всего мира, а авторам и издателям - новых читателей. Полнотекстовый иоиск ио этой книге можно выиолнить на странице `http://books.google.com/`

STANFORD UNIVERSITY LIBRARIES

Миронов, Н. Н.

ХАРАКТЕРИСТИКИ РУССКИХЪ ПИСАТЕЛЕЙ.

I.

Л. Н. ТОЛСТОЙ.

(Выпускъ 1-й).

Критическія статьи пятидесятыхъ, шестидесятыхъ, начала семидесятыхъ годовъ и библіографическій указатель.

Составилъ

Н. Миронов.

STANFO.
LIBRARIES

ИЗДАНІЕ ТИПОГРАФІИ А. А. КАРЦЕВА
Ассиссіонера ИМПЕРАТОРСКАГО Общества Любителей Естествознанія, Антропологіи и Этнографіи
Москва. Покровка, д. Егорова.
1887.
(105)

PG 3410
M5

ПРЕДИСЛОВІЕ.

Первые два выпуска „Характеристикъ русскихъ писателей“ мы посвящаемъ Л. Н. Толстому, главнымъ образомъ, на томъ основаніи, что при напряженномъ вниманіи общества къ литературной дѣятельности извѣстнаго писателя, какъ нельзя болѣе, является потребность въ книгѣ, которая могла бы служить комментаріемъ при изученіи его произведеній. Дальнѣйшіе выпуски „Характеристикъ“, кромѣ литературныхъ дѣятелей новѣйшаго времени, будутъ посвящены и тѣмъ писателямъ, которые составляютъ предметъ школьнаго изученія (Жуковскому, Гоголю и друг.). Сверхъ двухъ отдѣловъ, находящихся въ этой книгѣ (свода критикъ и библіографическаго указателя), бо́льшая часть дальнѣйшихъ выпусковъ будетъ содержать вступительную статью о жизни и литературной дѣятельности избраннаго писателя.

Составитель.

ОГЛАВЛЕНІЕ.

Критика пятидесятыхъ годовъ.

		Стр.
1 г.	„Дѣтство“ и „Отрочество“	1
	„ „ „ **П. Анненкова**	3
5 г.	„Набѣгъ“, „Севастополь въ декабрѣ 1854 года“, „Рубка лѣса“. **С. Дудышкина**	7
5 г.	„Военные разсказы“ и „Мятель“. **А. Дружинина**. . . .	15
	„Военные разсказы“.	24
	Существенныя черты таланта гр. Толстого.	27

Критика шестидесятыхъ годовъ.

2 г.	„Явленія нашей литературы, пропущенныя критикой“. **А. Григорьева**	35
3 г.	О литературной дѣятельности Л. Н. Толстого въ связи съ повѣстью „Казаки“. **Е. Эдельсона**	50
	„Казаки“. **Я. Полонскаго**	60
	Основная идея художественныхъ произведеній гр. Л. Н. Толстого въ связи съ его педагогическою дѣятельностью. **П. Анненкова**	62
	„Казаки“. **Е. Туръ**	66
5 г.	Изъ статьи: „Народные типы въ нашей литературѣ“. **А. Маркова**	71
	„Семейное счастіе“, „Люцернъ“, „Казаки“ (По поводу Собранія сочиненій гр. Л. Н. Толстого).	84
6 г.	Герои повѣстей и разсказовъ Л. Н. Толстого. **Н. Страхова**	88
7 г.	Тысяча восемьсотъ пятый годъ. **Н. Ахшарумова** . . .	97

Стр.

1868 г. „Война и миръ. **Щебальскаго** 104
„ „ Ст. **Z**. 108
„ „ **П. Анненкова**. 110
„ „ **Навалихина** 113
„ „ Изъ ст. „Историческая эпоха“ въ романѣ гр. Толстого „Война и миръ“ **А. Пятковскаго** . . 122
1869 г. „Война и миръ“. **Н. Страхова** 125
„ „ Ст. **С**. 138
„ „ **Щебальскаго** 143

Критика семидесятыхъ годовъ.

1870 г. „Война и миръ“ **Н. Страхова** 145
1872 г. „ „ „ **А. Скабичевскаго**. 150
Библіографическій указатель. 159

ОПЕЧАТКИ.

Стран.	*Строка.*	*Напечатано:*	*Должно быть:*
15	4 (сверху)	....мартѣ...	....маѣ...
44	15 (снизу)	Лачиновъ	Лучиновъ.

Графъ Л. Н. Толстой.

КРИТИЧЕСКІЯ СТАТЬИ

(1854—1873).

КРИТИКА ПЯТИДЕСЯТЫХЪ ГОДОВЪ.

1854.

Повѣсть Л. Н. Т. „Отрочество“ мы читали, перечитали и готовы опять читать. Мы испытывали тѣ же чувства удовольствія безграничнаго, съ которыми познакомились два года назадъ, читая „Дѣтство“, повѣсть того же автора. Не знаемъ, что больше хвалить въ этихъ двухъ повѣстяхъ: талантъ-ли автора неоспоримый, мастерство-ли разсказа, или ту умную наблюдательность, которая такъ рѣдка. Сверхъ—того г. Л. Н. Т. во многихъ мѣстахъ своихъ повѣстей—истинный поэтъ. Всѣ эти достоинства поставили г. Л. Н. Т. сразу, какъ семь лѣтъ назадъ г. Гончарова, съ которымъ у него очень много общаго, въ число немногихъ лучшихъ нашихъ писателей послѣдняго времени.

Насъ поразило въ г. Л. Н. Т. то умѣніе писать, которое дается только долгими и трудными годами опытности. Ни одного слова лишняго, ни одной черты ненужной, ни одной фразы безъ картинки или безъ цѣли: это доказываетъ, что г. Л. Н. Т. трудится и долго трудится надъ своими произведеніями и не бросаетъ ихъ въ печать недоконченными. Обѣ повѣсти, по смыслу уже самаго заглавія: „Дѣтство“ и „Отрочество“, обнимаютъ предметы очень широкіе. Дѣтство и отрочество могутъ быть или такія, какъ они описаны у гр. Л. Н. Т., могутъ существовать и при совершенно другихъ условіяхъ. Всѣ недавно читали дѣтство и отрочество Копперфильда, написанное авторомъ, знаменитымъ своими описаніями дѣтскаго возраста; читали у того же Диккенса исторію множества другихъ дѣтей, развившихся подъ совершенно другими условіями, какъ, напримѣръ, несчастнаго Джо, въ послѣднемъ романѣ: „Холодный домъ“. Слѣдовательно, это рама очень широкая, и въ нее можно вставлять какія-угодно картины. Г. Т. написалъ на эту тему нашу русскую картину и съумѣлъ въ ней быть такимъ же глубокимъ наблюдателемъ общей человѣческой натуры, какъ и Диккенсъ—вотъ его главное достоинство. Англичанинъ пойметъ ее такъ же хорошо, какъ и Русскій, хотя это и совершенно русская картина. Отъ этого же, въ исторіи дитяти, которую описываетъ г. Т., хотя и не всѣ найдутъ общественныя условія своего развитія, но въ то же время ее всѣ поймутъ и будутъ сочувствовать этому дитяти, потому что будутъ видѣть въ немъ себя, только подъ другими формами. Если жизнь деревенская, путешествіе на долгихъ въ Москву и пребы-

ваніе въ Москвѣ знакомятъ васъ съ эссенціею чисто русскаго общества, то въ первомъ пробужденіи ума, въ первыхъ наклонностяхъ дитяти и въ дальнѣйшемъ его развитіи мы видимъ исторію не одной русской, но и вообще человѣческой жизни.

Дѣтство, какъ обширная цѣль разнородныхъ поэтическихъ и безотчетныхъ нашихъ представленій объ окружающемъ, дало автору возможность взглянуть на всю деревенскую жизнь въ такихъ же поэтическихъ чертахъ. Онъ выбиралъ изъ этой жизни все, что поражаетъ дѣтское воображеніе и умъ, а талантъ автора былъ такъ силенъ, что представилъ эту жизнь именно такою, какъ ее видитъ ребенокъ. Все окружающее его входитъ въ эту повѣсть на столько, на сколько оно поражаетъ воображеніе дитяти, и потому всѣ главы повѣсти, повидимому совершенно разрозненныя, соединяются въ одно: всѣ онѣ показываютъ взглядъ ребенка на міръ. Но большой талантъ автора виденъ еще вотъ въ чемъ. Казалось бы, при такой манерѣ изображать дѣйствительную жизнь подъ вліяніемъ дѣтскихъ впечатлѣній, трудно дать мѣсто взгляду не дѣтскому и вполнѣ обрисовать характеры: подивитесь же, когда по прочтеніи этихъ разсказовъ, ваше воображеніе живо нарисуетъ вамъ и мать, и отца, и няню, и гувернера, и все семейство, и нарисуетъ красками поэтическими.

Въ отрочествѣ безотчетность дѣтскаго представленія исчезаетъ; умъ начинаетъ какъ-будто что-то понимать, и какъ справедливо говоритъ авторъ, начинаетъ понимать, что, кромѣ родныхъ и семейства, существуетъ много другихъ людей, которые живутъ.... Но „какъ живутъ, чему ихъ учатъ и кто ихъ учитъ, во что они играютъ и наказываютъ-ли ихъ?“... Первый толчекъ, который получилъ умъ ребенка, во время дороги изъ деревни въ Москву, начинаетъ съ лѣтами развиваться быстрѣе, и характеръ ребенка завязывается. Сцена на балѣ въ Москвѣ, за которую „отрока“ посадили въ чуланъ, написана съ такимъ же великимъ знаніемъ, какъ и сцены дѣтства. Что-то борется, ломается въ ребенкѣ; неопредѣленныя мысли, неясныя чувства, безотчетныя желанія, всѣ выражаются въ этомъ переходномъ возрастѣ—и они прекрасно изображены и поняты г. Т. Слабѣе и не вполнѣ изображены тѣ вопросы, которые занимаютъ насъ въ отрочествѣ,—занимаютъ и въ то же время пугаютъ пробуждающуюся мысль. Что именно могло занимать мысль пятнадцатилѣтняго Николая, совершенно справедливо указано авторомъ въ XVIII главѣ „Отрочества“, но указано, какъ общая программа. Ни такъ онъ выразилъ дѣтство и его смутныя представленія: они слились у него съ жизнію и случаями семейной жизни; не такъ онъ выразилъ и первое броженіе неустановившагося характера: оно все видно на сценѣ на балу, въ забавахъ съ товарищами, въ ненависти къ Jerom'у; но первое развитіе мысли осталось пока только программою... Впрочемъ, въ „Отрочествѣ“ оно только и начинается: дальнѣйшее развитіе должно быть въ юности, гдѣ мы, конечно, и увидимъ его. Что поражало впервые пугливую мысль въ отрочествѣ, становится яснѣе въ юности, потому что дѣлается опредѣленнѣе. —Г. Т.—истинный поэтъ, и на кого не подѣйствуетъ описаніе грозы въ „Отрочествѣ“, тому не совѣтуемъ читать стиховъ ни г. Тютчева, ни г. Фета: тотъ ровно ничего не пойметъ въ нихъ; на кого не подѣйствуютъ послѣднія главы „Дѣтства“, гдѣ описана смерть ма-

тери, въ воображеніи и чувствѣ того ужъ ничѣмъ не пробьешь отверстія. Кто прочтетъ XV главу Дѣтства и не задумается, у того въ жизни рѣшительно нѣтъ никакихъ воспоминаній.

Въ доказательство нашихъ словъ, позволимъ себѣ привести описаніе грозы во время дороги, какъ отдѣльный и полный эпизодъ. Въ немъ читатель увидитъ и ту наблюдательность, о которой мы говорили, и ту поэзію, съ которой мы знакомы по стихотвореніямъ гг. Фета и Тютчева; увидитъ и мастерство г. Т. не говорить фразъ, ничего незначущихъ, но каждымъ словомъ рисовать новыя картины; увидитъ также и отсутствіе всякой аффектаціи въ разсказѣ и простоту необъяснимую. Кто не читалъ самой повѣсти, тотъ все-таки не пойметъ изъ нашихъ словъ всѣхъ достоинствъ разсказа г. Т.

Приводится описаніе „Грозы“: „Солнце склонялось къ западу . . . . . Выписка оканчивается словами: „Да ты понюхай, какъ пахнетъ!“ кричу я.

Кто, слыша, въ нашей литературѣ и особенно критикѣ, много толковъ о художественности, не понялъ (а это очень—немудрено), что̀ такое писатель художникъ, тому посовѣтуемъ прочесть произведеніе г. Т., и онъ пойметъ художественность („Современ.“ № X) лучше всякихъ разсужденій. Г. Т. преимущественно и даже исключительно художникъ: всѣ эти достоинства, о которыхъ мы говорили выше, служатъ г-ну Т., какъ вспомогательныя средства сдѣлать свой разсказъ художественнымъ. Это его цѣль, дальше которой онъ и не идетъ. Но ею то и стоитъ полюбоваться: какъ выставить столько лицъ, сколько ихъ въ „Дѣтствѣ“ и „Отрочествѣ“, выставить въ идеальномъ свѣтѣ и не одно изъ нихъ не утрировать! какъ спрятать до такой степени мысль за цѣлый рядъ живыхъ лицъ, что сперва кажется, будто все произведеніе написано безъ всякой мысли! какъ умѣть изъ такихъ мелкихъ подробностей, разъединенныхъ между собою, составить цѣлую картину, полную жизни и тѣсно связанную въ частяхъ! Этого умѣнья, послѣ „Сна Обломова“ г. Гончарова, мы не встрѣчали въ нашей литературѣ, и по манерѣ, съ которою написаны, „Сонъ Обломова“ и два произведенія г. Т., они имѣютъ много общаго между собою *).

1855.

I.

Авторъ „Исторіи четырехъ эпохъ“ далъ публикѣ еще только описаніе двухъ первыхъ эпохъ своихъ, именно: „Дѣтство“ и „Отрочество“, но уже способъ созданія его достаточно уяснился и можетъ быть оцѣненъ критикой. Онъ, разумѣется, говоритъ отъ себя и про себя, но здѣсь обыкновенные недостатки формы личнаго разсказа могли быть

*) „Отечественныя Записки“ 1854 г., № 11. Отд. „Журналистика“ (33—39).

отстранены съ успѣхомъ по существу дѣла. Авторъ передаетъ намъ дѣйствительное развитіе собственнаго нравственнаго существа съ той минуты, когда мысль, какъ синій огонекъ разгорающагося газоваго проводника, едва-едва теплится, не освѣщая еще вокругъ себя ничего, до тѣхъ поръ пока, съ развитіемъ организма, она все болѣе и болѣе крѣпнетъ и начинаетъ ярко озарять предметы и лица. Само собой разумѣется, что строгость психическаго наблюденія, необходимаго при этомъ, уже должна была исключить произволъ, развязность въ пріемахъ и игру съ предметомъ описанія. Разсказы гр. Л Н. Толстого имѣютъ строгое выраженіе, и отсюда тайна впечатлѣнія, производимаго ими на читателя. Съ необычайнымъ вниманіемъ слѣдитъ онъ за нарождающимися впечатлѣніями сперва ребенка, а потомъ отрока, и каждое слово его проникнуто уваженіемъ какъ къ задачѣ, принятой имъ на себя, такъ и къ возрасту, который столько же имѣетъ неразрѣшенныхъ вопросовъ, нравственныхъ паденій и переворотовъ, сколько и всякій другой возрастъ. Все это не могло остаться безъ послѣдствій. Полнота выраженія въ лицахъ и предметахъ, глубокія психическія разъясненія и, наконецъ, картина нравовъ извѣстнаго свѣтскаго и строго приличнаго круга, картина, написанная такой тонкой кистью, какой мы давно не видали у себя при описаніи высшаго общества, были плодомъ серьезнаго пониманія авторомъ своего предмета. Вмѣстѣ съ тѣмъ изображеніе первыхъ колебаній воли, сознаніе мыслей у ребенка, благодаря тому же качеству, вызвышаются у автора до исторіи всѣхъ дѣтей извѣстнаго мѣста и извѣстной эпохи, и какъ исторія, написанная поэтомъ, она уже заключаетъ, рядомъ съ поводами къ эстетическому наслажденію, и обильную пищу для всякаго мыслящаго человѣка.

Замѣчательная дѣятельность мысли была уже необходима, разумѣется, автору для представленія молодого существа, жизнь котораго есть только развитіе идей, въ чемъ, между прочимъ, дѣти сходятся со многими писателями — разница только въ значеніи и качествѣ идей. Но при участіи мысли въ созданіи — первый вопросъ, представляющійся обсужденію, всегда одинъ: какъ проявляется мысль у автора? Повѣствованіе гр. Л. Н. Толстого имѣетъ многія существенныя качества изслѣдованія, не имѣя ни малѣйшихъ внѣшнихъ признаковъ его и оставаясь, по преимуществу, произведеніемъ изящной словесности. Искусство здѣсь находится въ дружномъ отношеніи къ мысли, постоянно присутствущей въ разсказѣ, и указать способъ, какимъ образомъ совершилось это примиреніе, — значитъ подтвердить живымъ примѣромъ основныя положенія нашей статьи. Прежде всего должно замѣтить, что авторъ всегда держится перваго жизненнаго условія всякаго художественнаго повѣствованія: онъ не пытается извлечь изъ предмета описанія то, что онъ дать не можетъ, и поэтому не отступаетъ ни на шагъ отъ простого психическаго изслѣдованія его. Нѣтъ признаковъ противоэстетическаго смѣшенія цѣлей въ разсказахъ гр. Л. Н. Толстого — ничего не приноситъ онъ извнѣ, заготовленнаго другими, такъ же какъ отстраняетъ отъ нихъ вліяніе какихъ-либо любимыхъ идей, почерпнутыхъ въ особенномъ представленіи общества и человѣка, болѣе или менѣе благородномъ, болѣе или менѣе имѣющемъ похвальную цѣль. Онъ избѣгнулъ этихъ пятенъ современной литературы: оттого и со-

держаніе произведеній его имѣетъ здоровый видъ, убѣдительность и ясность почти физическихъ предметовъ. Онъ зорко смотритъ на себя и вокругъ себя, и мысль его въ обоихъ случаяхъ устремлена только на то, чтобъ показать сущность характеровъ и происшествій за внѣшними подробностями, затемняющими ихъ значеніе для менѣе проницательныхъ глазъ. Когда достигаетъ онъ поясненія ихъ же природными свойствами, онъ останавливается, не заботясь о томъ, какой видъ начинаютъ они принимать послѣ того: работа его кончилась, и это мы называемъ художнической работой.

Затѣмъ любопытно посмотрѣть на самое приложеніе его психическаго анализа къ дѣлу. Едва вспоминаетъ онъ какое-либо дѣтское ощущеніе, какую-либо раннюю попытку ребяческой мысли, какъ въ то же время представляется ему давленіе этой мысли на самый характеръ молодого человѣка и цѣпь случаевъ, происшествій, вызванныхъ ею; другими словами, онъ облекаетъ ее въ форму искусства, даетъ ей плоть и настоящее бытіе въ области изящнаго. Въ какомъ вѣрномъ отношеніи находятся эти результаты съ первымъ поводомъ, родившимъ ихъ, читатель можетъ убѣдиться самъ въ разсказахъ гр. Л. Н. Толстого. Рѣдкіе писатели такъ логически послѣдовательны, такъ строго вѣрны своимъ идеямъ и рѣдкіе такъ сильно убѣждены въ единствѣ мысли и поступка, какъ онъ. Все это показываетъ, во-первыхъ истинное пониманіе сущности автобіографіи, а во вторыхъ глубокое его познаніе самой природы того возраста, котораго онъ сдѣлался историкомъ. При этомъ живомъ художественномъ объясненіи дѣтства есть одна черта у автора, которая обнаруживаетъ его способность пониманія предметовъ чисто поэтически, именно: онъ вѣруетъ въ жизненное дѣйствіе его организма и съ настоящимъ чувствомъ поэта уловляетъ ту минуту, когда природа сама по себѣ, безъ всякаго пособія со стороны, даетъ искру мысли, первый признакъ чувства и первую наклонность.

Онъ слѣдитъ потомъ за ходомъ ихъ во всемъ ихъ извилистомъ полетѣ черезъ множество ощущеній и случаевъ, которые они окрашиваютъ своимъ цвѣтомъ. Какъ поступаетъ авторъ въ отношеніи самого себя, своей внутренней исторіи, такъ поступаетъ онъ и въ отношеніи внѣшней обстановки, гдѣ судьба опредѣлила ему находиться.

Онъ не обсуждаетъ тотъ кругъ, куда былъ поставленъ, и который, не очень глубоко и серьезно понимая вещи, бережетъ только внѣшній видъ достоинства и благородства: онъ его описываетъ. Кругъ этотъ служитъ рамой для автора, гдѣ вращается повѣствованіе его о странствіяхъ дѣтской мысли, безпрестанно возникающей по закону собственной производительности. Отношенія между кругомъ и юнымъ наблюденіемъ, старающимся разгадать его и испытывающимъ на себѣ его вліяніе, составляетъ хронику, исполненную занимательности, перипетій и катастрофъ, которыя, къ удивленію читателя, оковываютъ его вниманіе, какъ перипетіи и катастрофы драматическихъ героевъ, и такимъ образомъ, изъ представленія параллельнаго хода жизненныхъ явленій и психическихъ движеній образуется у него разсказъ, исполненный мысли и вполнѣ художественный. Само собой разумѣется, что если таково общее впечатлѣніе его разсказовъ, то и всѣ подробности ихъ отличаются тѣмъ же характеромъ.

У повѣствователя нашего уже почти нѣтъ малозначительныхъ внѣшнихъ признаковъ для лица, ничтожныхъ подробностей для событія. Наоборотъ, каждая черта въ тѣхъ и другихъ доведена до значенія, иногда до разумности, смѣемъ выразиться, поражающей даже и такіе глаза, которые отъ привычки къ темнотѣ мало способны къ различенію предметовъ. Отсюда рождается замѣчательная выпуклость какъ лицъ, такъ и происшествій. Авторъ доводитъ читателя, неослабной провѣркой всего встрѣчающагося ему, до убѣжденія, что въ одномъ жестѣ, въ незначительной привычкѣ, въ необдуманномъ словѣ человѣка скрывается иногда душа его, и что они часто опредѣляютъ характеръ лица такъ же вѣрно и несомнѣнно, какъ самые яркіе, очевидные поступки его. Обѣ части разсказа наполнены подобными изображеніями роли второстепенныхъ и третьестепенныхъ признаковъ въ жизни человѣка, но особенно выказалось это присутствіемъ мысли, наполняющей содержаніемъ все, до чего она коснулась, въ главахъ второго разсказа: „Отрочество". Въ одной изъ нихъ, напримѣръ, авторъ рисуетъ способъ держаться двухъ подругъ, Любоньки и Катеньки, и, не говоря ни слова о разности ихъ характеровъ, открываетъ нравственную сущность обѣихъ дѣвушекъ—въ маперѣ ходить, носить голову, складывать руки, говорить съ людьми и смотрѣть на подходящаго, возвышая такимъ образомъ незначительные внѣшніе признаки до вѣрныхъ, глубокихъ психическихъ свидѣтельствъ.

Происшествія въ разсказѣ имѣютъ точно такое же значеніе: вездѣ его переводъ мысли на дѣло, на существенность. Каждая дробная часть душевной, нравственной жизни отражается у автора въ такомъ же дробномъ, мелкомъ, но граціозномъ и вѣрномъ случаѣ. Истина обоихъ, какъ перваго повода, такъ и результата, особенно подтверждается тѣмъ, что въ разсказѣ гр. Л. Н. Толстого нѣтъ признака анахронизмовъ или хронологическаго смѣшенія происшествій. Впечатлѣнія и событія дѣтства простѣе, наивнѣе, граціознѣе впечатлѣній и событій отрочества, которыя становятся сложнѣе, запутаннѣе, разсудочнѣе и потому драматичнѣе. Вотъ почему мысли и оболочка ея въ области искусства, т. е. характеры, образъ и событія слиты у автора и представляютъ одно цѣлое, дѣйствующее сильно и благодѣтельно на читателя.

Мы возстали противъ авторскаго вмѣшательства вообще въ разсказъ, но, конечно, подобное изложеніе двухъ первоначальныхъ эпохъ жизни не могло быть сдѣлано иначе возмужалой рукой, которая вездѣ и проглядываетъ. Вмѣшательство автора тутъ, однакоже, отходитъ въ общую систему, которая, какъ можно замѣтить, присутствовала при сочиненіи разсказовъ. Оно допущено, какъ поясненіе того, что смутно лежитъ въ представленіи ребенка, но что уже лежитъ въ немъ—несомнѣнно. Авторъ дѣлается только толмачемъ дѣтскихъ впечатлѣній. Такъ, буря на дорогѣ, во второмъ разсказѣ, столь превосходно описанная, конечно, не такъ полно и подробно могла отразиться въ воображеніи ребенка, но она отразилась въ немъ цѣликомъ, грудой, уже заключавшей всѣ подробности, уловленныя и опредѣленныя впослѣдствіи. Возмужалый авторъ только ихъ развилъ, извлекъ изъ темнаго представленія для ясной, поэтической картины и ею пояснилъ себѣ то, что въ первые годы только чувствовалъ. Таково и вездѣ его вмѣшательство.

Оставляемъ нѣкоторыя критическія замѣчанія до полнаго выхода произведенія гр. Л. Н. Толстого, но скажемъ теперь же, что если послѣднія двѣ части его разсказа, которыхъ ожидаемъ съ нетерпѣніемъ, будутъ надѣлены такой же дѣльной мыслію и такимъ же изложеніемъ многоразличныхъ ея проявленій въ жизни, то мы можемъ теперь же поздравить себя съ замѣчательнымъ литературнымъ явленіемъ. Конечно, послѣдующая работа автора гораздо труднѣе, чѣмъ та, которую онъ уже представилъ публикѣ. дѣтство и отрочество имѣютъ въ самомъ себѣ много такого, что подкупаетъ и привлекаетъ читателя: эпохи юношества и возмужалости уже требуютъ изображенія характера, который, по сущности своей, по своимъ стремленіямъ и даже по своимъ паденіямъ достоинъ былъ бы усилій и изысканій мысли. Тутъ предстоитъ опасность встрѣтить разнорѣчивыя мнѣнія о человѣкѣ, чего вполнѣ можетъ избѣгнуть эпоха дѣтства, имѣющая въ себѣ полное оправданіе. Не будемъ однакоже, загадывать напередъ, а скорѣе полагаться на природную силу таланта въ авторѣ, которую онъ особенно показалъ въ сферѣ искренняго и глубокаго разъясненія душевныхъ оттѣнковъ. Судя даже по тому, что теперь имѣемъ отъ него, мы уже съ полнымъ убѣжденіемъ причисляемъ гр. Л. Н. Толстого къ лучшимъ нашимъ разсказчикамъ и ставимъ его имя на ряду съ именами гг. Гончарова, Григоровича, Писемскаго и Тургенева, именами, которыя, конечно, останутся въ памяти читателей и на страницахъ исторіи русской словесности и будутъ почтены добрымъ словомъ какъ тамъ, такъ и здѣсь *).

П. Анненковъ.

2.

Современныя военныя событія сдѣлались въ нашей литературѣ источникомъ многихъ разсказовъ, чрезвычайно живописныхъ; они же были предлогомъ и къ установленію той новой манеры въ этихъ описаніяхъ, которую выработала наша литература въ послѣднее время. Каждое великое отечественное событіе всегда отзывалось въ нашей словесности и выражалось въ описаніи сраженій, походовъ, въ историческихъ запискахъ очевидцевъ. Слѣдовательно, нѣтъ ничего удивительнаго, что и нынѣшняя великая война привела литературу къ тѣмъ же результатамъ. Но въ манерѣ описанія, собственно въ литературномъ отношеніи, мы видимъ разницу между записками современниковъ другихъ войнъ и между нынѣшними писателями, видимъ другіе пріемы, другую наблюдательность, другой языкъ, носящіе на себѣ рѣзкую печать нашей эпохи литературы. Вотъ на это-то мы и хотимъ обратить вниманіе.

Долгое время въ нашей литературѣ, Марлинскій, а потомъ Лермонтовъ были образцами, которымъ старались подражать всѣ, когда дѣло касалось изображенія личностей, взятыхъ изъ военнаго круга; долгое время нѣкоторые писатели были образцомъ того, какъ должно

*) „Современникъ“ 1855 г., № 1. См. также „Воспоминанія и крит. очерки“ т. 2.

вести разговоръ съ простымъ солдатомъ, какъ излагать его бесѣду, какъ выражать его чувства и мысли. Эти чувства, эти мысли одни и тѣ-же, какъ у прежнихъ писателей, такъ и у новѣйшихъ: та же любовь къ родинѣ, та же вѣрность долгу, та же непоколебимая готовность на защиту всего родного; словомъ, сущность, содержаніе тѣ же. И такъ какъ эта сущность, это содержаніе всѣмъ и каждому извѣстны, то мы и считаемъ излишнимъ еще разъ повторять всѣмъ извѣстное. Мы будемъ говорить объ одной только литературной сторонѣ разсказовъ, въ которой замѣтимъ очень много новаго.

Чтобъ начать сначала, мы должны обратиться къ одному разсказу, напечатанному еще въ 1853 году. Авторъ этого разсказа, безспорно, одинъ изъ первыхъ талантовъ нашей современной литературы. Мы говоримъ о разсказѣ *Набѣгъ*, соч. г. Л. Н. Т. Въ разсказѣ было такъ много новаго, и разсказъ былъ такъ простъ и естественъ, что на него даже мало обратили вниманія, какъ на вещь, которая не бросается въ глаза. Въ этомъ разсказѣ было уже высказано все, что впослѣдствіи тѣмъ же самымъ авторомъ было подробнѣе развито въ другихъ превосходныхъ военныхъ картинахъ, каковы: *Севастополь въ декабрѣ 1854 года* и *Рубка лѣсу*. Какъ все неподдѣльное съ теченіемъ времени пріобрѣтаетъ только больше и больше удивленія, такъ и первый разсказъ г. Л. Н. Т. можетъ быть названъ родоначальникомъ тѣхъ прелестныхъ военныхъ эскизовъ, въ которыхъ простота, естественность, истина вступили въ полныя свои права и совершенно измѣнили прежнюю литературную манеру разсказовъ подобнаго рода. Въ этихъ разсказахъ мы замѣтили примѣненіе всѣхъ тѣхъ началъ, которыя въ другихъ родахъ нашей литературы, въ новыхъ, напримѣръ, оказали уже столько благодѣтельнаго вліянія. Но не будемъ торопиться дѣлать заключенія и прежде познакомимся съ фактами.

Когда былъ напечатанъ *Набѣгъ*, авторъ его, гр. Л. Н. Т. сдѣлался уже извѣстенъ своимъ первымъ произведеніемъ *Дѣтство*. Прошлаго года въ ноябрѣ „Отечественныя Записки“ имѣли случай высказать свое мнѣніе объ этомъ удивительномъ произведеніи и тогда еще замѣтили, что авторъ по преимуществу художникъ въ душѣ; что онъ умѣетъ выставить лица въ такомъ идеальномъ свѣтѣ, который не переходитъ въ утрировку; что онъ умѣетъ спрятать свою мысль за цѣлый рядъ живыхъ лицъ въ такой степени, что произведенія его кажутся написанными безъ всякой опредѣленной цѣли мысли; что на его произведеніяхъ мы можемъ учиться великому искусству—той художественности, которая съ одной стороны прикасается міру идеальному, съ другой нечужда наблюдательности; что въ его произведеніяхъ мы видимъ то прочное творчество, которое, взявъ лица изъ современнаго намъ общества, умѣетъ сдѣлать ихъ личностями общечеловѣческими; что въ выведенныхъ имъ лицахъ вы можете изучать натуру человѣка вообще, подъ маскою страстей и желаній, принадлежащихъ нашему времени и обществу. Эти великія способности талантливой натуры, обнаруженныя авторомъ въ разсказахъ *Дѣтство* и *Отрочество*, могли бы, казалось, служить причиной болѣе внимательнаго изслѣдованія разсказа *Набѣгъ*; однакожъ, пока авторъ не развилъ тѣхъ же самыхъ положеній въ болѣе полныхъ формахъ, сущность его военныхъ разсказовъ оставалась необъясненною. Оставивъ въ сторонѣ все то, что можно было бы

сказать по поводу *Дѣтства* и *Отрочества*, мы теперь припомнимъ только первый его разсказъ *Набѣгъ*, бывшій истиннымъ и счастливымъ нововведеніемъ въ описаніи военныхъ сценъ, о которыхъ мы намѣрены говорить.

Въ этомъ разсказѣ обращаетъ на себя невольное вниманіе капитанъ Хлоповъ. На этомъ капитанѣ Хлоповѣ сосредоточена, повидимому, вся любовь автора; онъ герой разсказа, онъ же и нововведеніе. Однако опредѣлить это лицо было бы крайне трудно автору, потому что въ немъ нѣтъ ничего особеннаго. „У него была одна изъ тѣхъ спокойныхъ русскихъ фізіономій, которымъ пріятно и легко прямо смотрѣть въ глаза". Вотъ все, что можно сказать о капитанѣ Хлоповѣ. Онъ не Максимъ Максимычъ Лермонтова, но нѣсколько сродни ему; точно такъ же, какъ поручикъ Розенкранцъ не Печоринъ и не Мулла-Нуръ, хотя съ виду и походилъ на Мулла-Нура. Капитанъ Хлоповъ не похожъ на капитана Мпронова въ „Капитанской Дочкѣ", но тоже сродни ему. Чтобъ лучше узнать капитана Хлопова, нужно прежде познакомиться съ поручикомъ Розенкранцомъ. Далѣе приводится выписка со словъ: „На немъ (Розенкранцѣ) былъ черный бешметъ... Послѣднія слова ея: „Фамилія его была Розенкранцъ".

Не таковъ капитанъ Хлоповъ. Выписка: „(Въ походѣ) на немъ былъ старый истертый сюртукъ безъ эполетъ"... Послѣднія слова ея: „она внушала невольное уваженіе. Посмотрите какъ разсуждаетъ о храбрости добрый капитанъ Хлоповъ! Слушая его, вы подумаете, что поручикъ Розенкранцъ, который связалъ престарѣлаго татарина въ разоренномъ аулѣ, азартнѣйшій изъ рыцарей.

Выписка; „Вотъ, въ тридцать второмъ году (говоритъ капитанъ) былъ тоже не служащій какой-то изъ испанцевъ"... Послѣднія слова ея: „храбръ тотъ, который ведетъ себя какъ слѣдуетъ, сказалъ онъ, подумавъ немного".

Но оставимъ частности, въ которыхъ между тѣмъ и выражается вся сила таланта гр. Л. Н. Т. и постараемся яснѣе высказать мысль автора. Для этого мы должны привести одну сцену изъ разсказа, хотя и далеко не лучшую въ художественномъ отношеніи, но поясняющую основную мысль.

Выписка: „Предсказаніе капитана вполнѣ оправдалось, какъ только мы вступили въ узкій перелѣсокъ..." Послѣднія слова ея: „Имѣющія претензію на подражаніе устарѣлому рыцарству?..."

Повторяемъ: мы стараемся уяснить идею, и потому всѣ поэтическія частности, въ которыхъ выражена идея, по-неволѣ, чтобы не быть многословными, опускаемъ.

Отъ этого перваго разсказа г. Л. Н. Т. переходимъ къ другому, напечатанному 2 года спустя: *Рубка лѣсу*. И мѣсто дѣйствія, и самое дѣйствіе обоихъ разсказовъ—одно и тоже. Точно также отрядъ русскій отправился въ горы Кавказа, въ первомъ случаѣ для наказанія непокорныхъ горцевъ, во второмъ - для рубки лѣса. Самое описаніе двухъ разсказовъ одинаково; но лица другія, хотя опять выражаютъ совершенно одну и ту же мысль. Здѣсь главное, хотя и невидимо дѣйствующее лицо—русскій солдатъ, у котораго довольно мѣтко схвачено много характеристическихъ чертъ. Въ противоположность съ простымъ русскимъ солдатомъ поставленъ нѣкто капитанъ Болховъ, какъ въ пред-

идущемъ разсказѣ разыгрывалъ роль Розенкранцъ. Этотъ капитанъ Болховъ, Богъ знаетъ, по какимъ побужденіямъ явился на Кавказъ: онъ совсѣмъ ужъ не Мулла-Нуръ съ виду, но въ душѣ у него очень много печоринскаго, и поэтому онъ имѣетъ вліяніе на кружокъ. Непремѣнно должно предположить, что онъ великій губитель женскихъ сердецъ: онъ все, кажется, извѣдалъ, и потому считаетъ долгомъ вездѣ скучать. Точно такъ же, какъ въ „Набѣгѣ" разоблаченъ былъ Розенкранцъ и выставленъ на видъ капитанъ Хлоповъ, точно такъ вся ходульность и мишурность капитана Болхова была поражена подобной же сценой.

(Выписка: „Оставивъ солдатъ разсуждать.... послѣ этого простодушнаго восклицанія". Съ помѣтой: Соврем. № 9, стр. 49, 50 и 51).

Всякій истинный, дышащій правдой, взглядъ на вещи, тѣмъ плодотворенъ въ художественной дѣятельности, что онъ мгновенно превращается во множество лицъ, и всѣ эти лица кажутся живыми, какъ жива истина, ихъ согрѣвающая, лишь только заученая маска, однообразная у всѣхъ, спала съ лица героевъ, которыхъ рядили черезчуръ ужъ монотонно и неестественно, вдругъ всѣ они показали свои лица характерныя и настоящія, какими они всегда были. Такъ въ томъ же самомъ разсказѣ авторъ представилъ уже намъ много лицъ типическихъ изъ солдатскаго кружка. Хотя всѣхъ ихъ авторъ коснулся только вскользь, какъ это онъ до сихъ поръ дѣлалъ во всѣхъ своихъ военныхъ разсказахъ — однакожъ лица эти ужъ какъ будто намъ знакомы.

Здѣсь мы почувствовали вновь вліяніе современной русской повѣсти на военные разсказы г. Л. Н. Т. Если первую черту этого вліянія можно назвать разоблаченіемъ мишурности и вычурности, которою въ прежнее время были одѣты Розенкранцы и Болховы, и желаніе противопоставить имъ лица простыя, каковы напримѣръ, капитанъ Хлоповъ, Тросенко и имъ подобные, то вторую черту, заимствованную изъ современной же нашей литературы — пробѣгите лучшіе разсказы—типъ русскаго солдата былъ однообразенъ. Не такъ поступаетъ г. Л. Н. Т. Тамъ, гдѣ онъ говоритъ, какъ человѣкъ мыслящій, у него русскій солдатъ одинъ, и характеристика его одна; гдѣ же онъ представляетъ намъ лица, какъ художникъ, тамъ у каждаго своя личность; это разнообразіе лицъ даетъ ему средства подмѣчать характеристическія черты и создавать типы. Это, мы полагаемъ, вторая причина успѣха г. Л. Н. Т. (Такъ, напримѣръ, онъ говоритъ вообще о русскомъ солдатѣ: „Духъ русскаго солдата не основанъ такъ, какъ храбрость южныхъ народовъ, на скоро воспламеняемомъ и остывающемъ энтузіазмѣ: его такъ же трудно разжечь, какъ и заставить упасть духомъ"... Выписка оканчивается словами: „...чтобъ снять съ нея сѣдло").

Но на этомъ не останавливается наблюдательность автора: ему, какъ художнику школы новѣйшей, нужны типы, и онъ сначала старается представить эти типы въ общихъ чертахъ, какъ программу, — не болѣе. Въ этой программѣ видна мысль—а ее только на этотъ разъ мы и слѣдимъ въ произведеніяхъ г. Л. Н. Т.,—хотя мысль уловить у такихъ художниковъ, какъ г. Л. Н. Т., труднѣе всего. Рѣдко они обмолвливаются сухою, голою мыслью. („Въ Россіи есть особенные типы солдатъ"... Послѣднія слова выписки: „невѣріе и какое-то удальство въ

порокѣ главныя черты въ характерѣ этого разряда". Далѣе идутъ типы: *покорныхъ—глупотливыхъ, забывника* и проч.)

Когда гр. Л. Н. Т. перешелъ отъ общихъ опредѣленій типовъ къ частнымъ, когда у него явились на сценѣ Максимовъ, Антоновъ, Валенчукъ, рекрутъ,—передъ нами обнаружилась и та *мягкая* наблюдательность автора, въ которой такъ чудесно слиты юморъ, и добродушіе, и веселость, и прямой взглядъ на вещи, тотъ многосторонній талантъ гр. Л. Н. Т., которымъ надѣлены очень, очень немногіе. Опять пошла картина за картиною, одна другой лучше, одна другой поэтичнѣе. Но, къ сожалѣнію, мы теперь не можемъ вдаваться въ подробности, въ которыхъ такъ-же много истинной поэзіи, какъ и въ „Дѣтствѣ" и въ „Отрочествѣ", произведеніяхъ, взятыхъ изъ другого круга истины. За одинъ разговоръ солдатъ у огня, ночью, послѣ смерти Валенчука (XIII и XIV главы „Рубки лѣсу") мы готовы отдать иной многотомный романъ. Эти пять страничекъ проникнуты такой неподдѣльной поэзіей, что ихъ можно перечитывать нѣсколько разъ.

Въ другой картинѣ, именно *Севастополь въ декабрѣ мѣсяцѣ*, гр. Л. Н. Т. опять возвращается къ своимъ любимымъ лицамъ, которыхъ въ „Рубкѣ лѣсу" онъ старался подраздѣлить на типы. Безъ всякихъ разсужденій, повидимому, въ одной простой картинѣ знаменитаго *четвертаго бастіона*, сказано вамъ гораздо болѣе, нежели можно сказать отвлеченными разсужденіями. Вглядитесь въ физіономію простого солдата, вслушайтесь въ его отрывистыя фразы, и вы почувствуете, что гр. Л. Н. Т. нигдѣ не измѣняетъ своему вѣрному и простому взгляду на предметъ. Вы почувствуете, что онъ постоянно преслѣдуетъ одну и ту же идею, только какъ художникъ выражаетъ ее въ картинахъ..

(Большая выписка, которая начинается словами: „Пройдя еще шаговъ триста, вы снова входите въ батарею—на площадку, изрытую ямами и земляными валами..." Послѣднія слова выписки: „и размахивая руками возвращаются къ своему орудію".)

Мы до сихъ поръ старались только опредѣлить характеръ писателя, его взгляды, его направленіе—трудъ оч. скользкій въ отношеніи къ такому автору, какъ гр. Л. Н. Т., который, казалось бы, рисуетъ передъ покорнымъ воображеніемъ читателя только однѣ картины чудесной фантазіи. Картины эти такъ хороши, что сначала не задаешь себѣ и вопроса: что кроется въ нихъ симпатичнаго и почему онѣ такъ сильно привлекаютъ къ себѣ? Есть много картинъ строгихъ, правильныхъ—и холодныхъ. Не таковы картины разбираемаго нами автора, и потому должно было прежде всего отдать отчетъ въ этой симпатіи. Лишь только опредѣленъ вѣрно взглядъ автора на вещи, лишь только читатель узнаетъ, чего хочетъ авторъ и куда онъ стремится—вся дѣятельность писателя вдругъ оживляется, какъ отъ какого-то магнитическаго прикосновенія. Самый процессъ творчества дѣлается яснымъ. Отъ этого-то мы и говорили объ *идеи* въ произведеніяхъ гр. Л. Н. Т. Теперь намъ уже понятно, что талантъ его, описывающій событія изъ совершенно иного міра, въ который не пускаются наши лучшіе современные писатели, есть въ то же время талантъ оч. близкій, родственный имъ и по духу, и по манерѣ. Передъ нимъ открытъ иной міръ, но онъ изъ него старается взять то же, чего ищутъ въ другихъ положеніяхъ наши другіе писатели, т. е. преслѣдованіе всего мишур-

наго, ложнаго, неестественнаго находитъ въ немъ явнаго гонителя, а истина, добро и лучшія свойства простого человѣка—своего защитника. Какъ ни обширно и ни обще это опредѣленіе, но на этотъ разъ мы не умѣемъ выразиться лучше.

Г. Л. Н. Т. беретъ свои любимыя лица изъ того же простонароднаго круга, изъ котораго берутъ ихъ и всѣ другіе лучшіе наши писатели. Въ немъ мы видимъ товарища по труду гг. Тургеневу, Писемскому, Григоровичу, Островскому; въ созданныхъ имъ лицахъ видимъ живыхъ братій лучшимъ типическимъ лицамъ упомянутыхъ нами писателей.

Полагаемъ, послѣ этого не нужно распространяться о томъ, что всѣ остатки капитановъ Фрегата, Мулла-Нуровъ Марлинскаго и «Героевъ нашего времени», переодѣтыхъ въ Розенкранцовъ, Болховыхъ и имъ подобныхъ, низведены съ своихъ ложныхъ пьедесталовъ. Эти лица и подобныя имъ уже довольно давно, начиная съ 1840 года, въ нашей литературѣ, въ повѣстяхъ и романахъ начали терять по частицамъ свой блескъ. Не будемъ также распространяться и о томъ, о чемъ уже намекнули выше, что родоначальниковъ Хлопова и простыхъ русскихъ солдатъ мы видѣли отчасти, хотя въ другой формѣ, и у Лермонтова въ Максимѣ Максимовичѣ и у Пушкина въ капитанѣ Мироновѣ. Но заслуга г. Л. Н. Т. состоитъ въ томъ, что онъ заставилъ своихъ Резенкранцевъ и Болховыхъ помѣряться силами съ капитаномъ Хлоповымъ и ему подобными, свелъ ихъ лицомъ къ лицу, выбравъ для этого самое удобное, въ буквальномъ смыслѣ, поле сраженія и герои нашего времени окончательно и навсегда смутились передъ своими не знаменитыми противниками! Если прежняя литература изображала иногда Розенкранцевъ и Болховыхъ съ отрицательной точки зрѣнія, то г. Л. Н. Т. сдѣлалъ послѣдній и важный шагъ: онъ имъ противопоставилъ лица положительныя, и этимъ покончилъ дѣло.

Но вотъ эта-то положительная сторона и составляла сильный камень преткновенія таланту гр. Л. Н. Т. Однакожъ онъ побѣдилъ трудности большею часть счастливо. Преимущественно ему удались лица солдать и капитанъ Хлоповъ. У другого таланта, менѣе сильнаго, нужно было бы опасаться, съ этой стороны, увлеченія идеей, излишней идеализацій. Но г. Л. Н. Т. умѣлъ удержаться въ границахъ, и гдѣ чувствовалъ пустое пространство, гдѣ не находилъ жизни, не старался наполнять это пустое пространство своими собственными мыслями. Онъ, какъ художникъ, позволялъ себѣ скорѣе останавливаться на характерахъ безличныхъ, но пріятныхъ, каковъ, напримѣръ, прапорщикъ Аланинъ въ «Набѣгѣ», нежели надѣлить капитана Хлопова небывалыми чертами. Это намъ доказываетъ, что г. Л. Н. Т.— истинный художникъ, у котораго талантъ господствуетъ надъ мыслью, а не мысль надъ талантомъ, у котораго инстинктъ художника господствуетъ надъ творчествомъ ума. Отъ этого у г. Л. Н. Т. въ разсказахъ нѣтъ лица, которое было бы положительно дурно, рѣзко, непріятно, какъ всѣ характеры, созданные однимъ систематическимъ умомъ, потому что этотъ умъ безпощаденъ и всегда любитъ крайности. Отъ этого-то выше мы сказали, что картины, изображаемыя г. Л. Н. Т. дышатъ той мягкою наблюдательностью, которая даетъ полный просторъ и юмору, и веселости, и добродушію, которая отзывается на многіе звуки, а не

на одинъ монотонный мотивъ. Это всегда и легко замѣтить у художниковъ при созданіи второстепенныхъ лицъ въ разсказахъ, гдѣ писатели даютъ просторъ разгуляться своей фантазіи на свободѣ, не удерживая ее главною мыслью разсказа, при описаніи картинъ, такъ сказать, вставочныхъ. Этихъ второстепенныхъ лицъ у писателей, не художниковъ, почти никогда не бываетъ, то есть они такъ безцвѣтны, что ихъ нельзя назвать лицами. Писатель—не художникъ—слишкомъ усиленно и какъ-то напряженно держится за мысль, которую развиваетъ, и понятно, что всѣ его усилія сосредоточиваются на одномъ главномъ дѣйствующемъ лицѣ.

Г. Л. Н. Т. не представилъ намъ еще ни одной *повѣсти* въ настоящемъ смыслѣ слова, то-есть повѣсти съ *любовью*. Не знаемъ дальнѣйшаго развитія той біографіи, которой двѣ части мы прочли подъ названіемъ *Дѣтства* и *Отрочества*, но въ приведенныхъ нами трехъ военныхъ картинахъ характеры обрисовываются другимъ чувствомъ—опасности, какъ пробнымъ камнемъ этихъ характеровъ. Всѣ эти разсказы безъ любви, однакожъ, читаются съ высокимъ интересомъ. Вотъ фактъ, на который мы считаемъ долгомъ указать. Значитъ ли это, что рама повѣсти шире, нежели какъ ее обыкновенно понимаютъ —не знаемъ; но можемъ сказать положительно, что гр. Л. Н. Т. мѣрилъ своихъ героевъ тою мѣркою, какою слѣдуетъ ихъ мѣрить. Введи авторъ въ эти разсказы любовь,—нѣтъ сомнѣнія, капитанъ Хлоповъ и подобныя ему лица проиграли бы поле сраженія въ битвѣ съ Розенкранцами и другими блестящими лицами разсказовъ—потому что, къ сожалѣнію, на самомъ дѣлѣ, оно бываетъ такъ—и идея погибла бы. Дай торжество подобнымъ лицамъ - и онъ впалъ бы въ неестественный натянутый тонъ, который происходитъ отъ того, что писатель чувствуетъ, какъ подъ нимъ шатается міръ дѣйствительности. Тогда-то обыкновенно авторъ старается всѣми убѣжденіями склонить читателя на сторону своего любимаго лица; но чѣмъ больше онъ убѣждаетъ и разсуждаетъ, тѣмъ больше онъ теряетъ достоинства художника.

Слѣдовательно, не имѣя пока повѣсти въ строгомъ смыслѣ, то-есть въ томъ, въ какомъ мы привыкли ее понимать, мы не находимъ нужнымъ пускаться въ предположенія, какъ гр. Л. Н Т. съумѣлъ бы выполнить и всѣ условія, налагаемыя этой формой, какъ онъ съумѣлъ бы выбрать сюжетъ, который укладывается именно въ эту, а не въ какую-либо другую форму. Мы должны судить о томъ, что есть, и потому скажемъ, что, на основаніи всего нами прочитаннаго, ожидаемъ отъ гр. Л. Н. Т. очень многаго, а пока теперь, вникнувъ въ силу и разнообразіе его таланта, продолжаемъ считать его однимъ изъ первыхъ нашихъ писателей. Въ ряду ихъ онъ имѣетъ свою собственную, исключительно ему принадлежащую характеристику.

Обратимся къ другой сторонѣ военныхъ разсказовъ.

Если въ изображеніи лицъ, въ манерѣ создавать характеры, мы видимъ огромное вліяніе нашей современной литературы, то еще больше замѣтимъ его *въ самомъ способѣ разсказывать*. Намъ бы очень хотѣлось привести на память читателю тѣ военные разсказы прежнихъ дней, гдѣ солдатъ не говоритъ иначе, какъ избранными пословицами, шутитъ извѣстными шутками и прибаутками, объясняется отмѣнно—складно, какъ человѣкъ образованный, у котораго передъ глазами ле-

жать, напримѣръ, «Пословицы» г. Снегирева, который начитался разсказовъ Даля, или Скобелева, и думаетъ, что онъ знаетъ языкъ простого человѣка. Неудивительно, что это было такъ въ военныхъ разсказахъ: такъ было тогда и во всей литературѣ. Языкъ простонародный былъ terra incognita, и потому всякій, кто скажетъ, напримѣръ, что «ученье свѣтъ, а неученье тьма» или что нибудь въ этомъ родѣ, считался уже знающимъ кое-что изъ русскаго простонароднаго языка. Языкъ крестьянина, языкъ солдата, языкъ купца, весь слагался изъ подобныхъ поговорокъ (даже у двухъ—трехъ извѣстныхъ писателей, которые считали себя знатоками въ этомъ дѣлѣ), такъ что представлялъ изъ себя что-то натянутое, неестественное; изъ разсказчика же дѣлалъ какого-то забавника и каламбуриста. Средину между пословицами и поговорками занимали обыкновенно цѣлыя фразы, выписанныя изъ печатныхъ книгъ, и рѣчь имѣла видъ какой-то пестрой смѣси книжнаго, литературнаго языка и народныхъ поговорокъ. Но съ того времени наша литература, обратившись къ изученію простонароднаго быта, начала изучать языкъ народный. Конечно, это изученіе *было постепенное* и чѣмъ больше писатели всматривались въ бытъ, тѣмъ ближе къ цѣли подходилъ и самый языкъ. Послѣднее десятилѣтіе нашей литературы особенно много сдѣлало въ этомъ отношеніи, и мы такъ быстро развивались, что, постепенно хваля то одного, то другого писателя, спустя два-три года уже замѣчали и недостатки въ тѣхъ, кого хвалили прежде безусловно. Въ этомъ языкѣ слышались фразы, прямо записанныя въ изустной рѣчи, слышались фразы сочиненныя, слышалось желаніе передать даже самую темноту и неопредѣленность языка простолюдина, хотя они могли имѣть значеніе, можетъ быть, только для филолога, но отнюдь не для литератора. Какъ бы то ни было, но въ этомъ замѣтенъ былъ трудъ, и трудъ большой, похвальный во всѣхъ отношеніяхъ.

Вдругъ въ это время литература обогатилась множествомъ разсказовъ, какъ мы уже говорили, изъ славныхъ событій нынѣшней войны. Разсказчики очутились вдругъ между двумя крайностями: между преданіемъ прежнихъ военныхъ разсказовъ, которые сочинялись авторами по способамъ, нами вышеизложеннымъ, и между простонароднымъ языкомъ, выработаннымъ новѣйшими нашими писателями, изучившими этотъ бытъ. Къ прежнему языку разсказовъ, очевидно, нельзя уже было возвратиться, и такіе писатели, какъ гр. Л. Н. Т., сразу сумѣли поставить себя на настоящую точку зрѣнія и создали разговоръ простого солдата такимъ, каковъ онъ на самомъ дѣлѣ. Но для этого нуженъ былъ талантъ гр. Л. Н. Т...*)

С. Дудышкинъ.

---

*) Далѣе помѣщенъ небольшой разборъ разсказа, записаннаго со словъ рядового г. Кузнецова: „Дѣло подъ Журжею“ (Отеч. Зап. 1855, № 12. Отд. IV, Журналистика, 74—88).

1856.

1.

Немногіе русскіе литераторы начинали свою дѣятельность такъ счастливо, правильно, разумно, какъ началъ ее графъ Л. Н. Толстой, авторъ „Дѣтства", „Отрочества", „Записокъ маркера", „Севастополя въ въ декабрѣ, мартѣ и августѣ", „Рубки лѣса" и послѣднихъ произведеній, названныхъ въ заглавіи нашей рецензіи. *) Мы и не говоримъ уже о томъ, что даровитый повѣствователь имѣлъ счастье начать свою дѣятельность въ періодъ полнаго сближенія между русскими дѣятелями по литературной части, въ періодъ терпимости дружелюбія и, по возможности, ясныхъ взглядовъ на искусство—это закулисныя обстоятельства журналистики, о которыхъ публика не можетъ не знать ничего, или почти ничего, безъ большого для себя ущерба. Въ самой литературной карьерѣ графа Толстого, въ порядкѣ его произведеній, въ пріемѣ имъ сдѣланномъ мы не можемъ не видѣть правильнаго, многообѣщающаго развитія, необходимаго всякому сильному таланту. Авторъ „Дѣтства", едва выступивъ на литературное поприще, не встрѣтилъ отъ публики ни холодности, ни мгновеннаго сильнаго успѣха, всегда почти дѣйствующаго на молодыхъ писателей довольно вредно. Масса читателей прочла его первую повѣсть съ удовольствіемъ, запомнила начальныя буквы, которыми было подписано произведеніе, затѣмъ сохранила свои похвалы до дальнѣйшаго времени. Люди, привычные къ пониманію поэзіи и зорко слѣдившіе за всѣми новыми явленіями въ отечественной словесности, одни привѣтствовали появленіе новаго таланта съ горячностью: такимъ образомъ успѣхъ произведеній Л. Н. Толстого прежде всего начался въ кругѣ писателей и истинныхъ диллетантовъ по литературной части. Извѣстность, начавшаяся такъ разумно, съ каждымъ годомъ увеличивалась въ самой правильной постепенности. Повѣсть: „Отрочество" утвердила всѣ надежды, возложенныя на новаго писателя. „Записки маркера" показали въ немъ человѣка, хорошо понимающаго многія грустныя стороны современной жизни. Рядъ кавказскихъ сценъ, называвшихся, если мы не ошибаемся,—„Набѣгъ", привлекъ къ графу Толстому симпатію многихъ читателей военнаго званія. Полный, неоспоримый, завидный успѣхъ новаго повѣствователя начался съ его очерковъ Севастополя, при началѣ, въ самомъ разгарѣ и при концѣ его знаменитой осады. Тутъ уже каждое слово, каждая мастерская подробность, каждое замѣчаніе талантливаго писателя, свидѣтеля великихъ сценъ великой драмы, было оцѣнено и встрѣчено общею симпатіею. Вся читающая Россія видѣла въ поэтическихъ разсужденіяхъ графа Толстого не одни любопытные факты, сообщаемые очевидцами, не одни восторженные разсказы о подвигахъ, способныхъ воодушевить самаго безсмертнаго

*) „Мятель", „Два Гусара".

разскащика. Всякій читатель, одаренный здравымъ смысломъ, видѣлъ и зналъ, что на небольшомъ клочкѣ земли, приковывавшемъ къ себѣ взоры всего свѣта черезъ необыкновенныя дѣла, тамъ происходившія, находился настоящій русскій военный писатель, одаренный зоркимъ глазомъ, слогомъ истиннаго художника, писатель, готовый дѣлить съ публикою исторію всего имъ видѣннаго и пережитаго во время осады Севастополя. Замѣчательно, что изъ числа всѣхъ непріятельскихъ державъ, войска которыхъ бились подъ стѣнами нашей Трои, ни одна не имѣла у себя хроникёра осады, который могъ бы соперничать съ графомъ Львомъ Толстымъ, авторомъ немногихъ замѣтокъ о Севастополѣ, небольшихъ по объему и далеко не охватывающихъ всего предмета. Наше увѣреніе мы произносимъ со знаніемъ дѣла, ибо не только во время войны внимательно слѣдили за корреспондентами иностранныхъ газетъ, но даже имѣли терпѣніе перечитать большое количество разсказовъ и записокъ, набросанныхъ какъ зрителями, такъ и участниками севастопольской осады. О Турціи и Сардиніи говорить, нечего: первая не имѣетъ писателей, вторая подарила намъ только небольшое число страницъ, преисполненныхъ самаго смѣшнаго бомбеста. Французская литература представила книгу бездарнаго Базанкура, книгу почти единственную за все время, ибо статей и брошюръ военно-ученаго содержанія мы считать здѣсь не можемъ. Англія была богата отличными корреспондентами газетъ, и изъ нихъ нѣкоторые, особенно знаменитый корреспондентъ газеты „Times“, превосходили графа Толстого великолѣпной художественностью изложенія, замѣченною всѣми европейскими читателями. И несмотря на огромность таланта, британскіе корреспонденты были все-таки ничѣмъ инымъ, какъ фельетонистами, хотя фельетонистами великаго дарованія. Они гнались за красотой слога, были бѣдны по части безпристрастія, наконецъ смотрѣли на дѣло не глазами поэтовъ и мыслителей, а глазами восторженной театральной публики, опьяненной видомъ красныхъ мундировъ, сверкающихъ штыковъ, скачущихъ коней и стрѣляющихъ орудій. Они были фразерами, сами того не вѣдая. Они довели страсть къ живописнымъ подробностямъ до такой степени, что, за этими подробностями, почти не видали смысла великой трагедіи, передъ ихъ взорами совершавшейся. Недавно въ Англіи вышли особою книгою разсказы Росселя, корреспондента Times, разсказы, о которыхъ мы теперь упоминаемъ. Мы прочли ихъ сызнова, отдали полную дань похвалы ихъ блестящему автору, и все-таки остались при своемъ мнѣніи: замѣтки графа Толстого о Севастополѣ кажутся намъ произведеніемъ несравненно высшимъ. Эти замѣтки, въ которыхъ дѣйствуютъ вымышленныя лица, поражаютъ правдою и отсутствіемъ фразы; письма великобританскаго разскащика, въ которыхъ все списано съ натуры, озадачиваютъ читателя иногда стремленіемъ къ фразѣ, иногда положительною неправдою. Мы совѣтуемъ людямъ, читающимъ по-англійски, самимъ провѣрить наши замѣчанія. Пусть они возьмутъ изъ Росселевой книги, на выборъ, ея блистательнѣйшіе пассажи, повергавшіе всю Европу въ восхищеніе—какъ напримѣръ начало инкерманскаго дѣла, кавалерійскую аттаку подъ Балаклавою, аттаку русскихъ гусаровъ на шотландскій полкъ сира Колина Кембеля, изображеніе поля инкерманскаго ночью, послѣ битвы. Все это великолѣпно, поразительно, показываетъ

въ авторѣ истиннаго художника — надо въ томъ признаться. Но во сколько разъ вѣрнѣе и трогательнѣе въ замѣткахъ графа Толстого изображеніе пристани, звѣздной ночи во время бомбардировки, перемирія для уборки тѣлъ, наконецъ Володи Козельцова, семнадцатилѣтняго артиллерійскаго прапорщика въ первую ночь послѣ пріѣзда въ Севастополь. По части чисто художественной, нашъ русскій авторъ иногда не уступаетъ своему англійскому сопернику: чтобы въ томъ убѣдиться, достаточно прочитать тѣ страницы „Севастополя въ августѣ", на которыхъ разсказанъ переходъ братьевъ Козельцовыхъ съ сѣверной стороны на южную, въ темную ночь, при волнахъ, бьющихъ въ края моста, въ виду непріятельскаго флота, огни котораго какъ-то дерзко пробиваются сквозь мглу тягостной ночи! Но не одной картинностью изображеній силенъ нашъ русскій писатель.

Мысль и поэзія неразлучны съ его очерками, и эта мысль есть мысль человѣка высоко-нравственнаго, эта поэзія не можетъ назваться театральною поэзіею. Англійскій писатель съ потрясающей вѣрностью рисуетъ намъ, въ какихъ изумительныхъ положеніяхъ лежали люди, убитые подъ Инкерманомъ — этотъ дагеротипный очеркъ при всей его разительности, очевидно, составленъ для празднаго читателя, говорящаго за чаемъ: „я хочу знать все, все—и въ чемъ былъ одѣтъ непріятель, и что подумали иностранцы, увидавъ шотландскіе полки, лишенные самой необходимой части одежды!" До дагеротиповъ подобнаго рода графъ Толстой не доходитъ; его воздержанность можетъ служить урокомъ всякому писателю, особенно начинающему. Изображая намъ перемиріе во время уборки труповъ, онъ не станетъ изображать намъ положеній, въ какихъ лежали жертвы недавняго боя, но онъ заставитъ читателя почувствовать то, что чувствовалъ самъ во время сказаннаго зрѣлища. Англійскій корреспондентъ, разсказывая про кавалерійское дѣло подъ Балаклавою, несмотря на всю свою горячность, подступаетъ къ своей задачѣ словно къ описанію великолѣпной стычки съ непріятелями. Графъ Толстой скупъ на великолѣпныя описанія, ибо хорошо знаетъ, что война кажется великолѣпнымъ дѣломъ только для поверхностныхъ зрителей – диллетантовъ. Подвиги, имъ изображаемые, не имѣютъ въ себѣ никакого великолѣпія нравственнаго, если позволено такъ выразиться. Его герои не скачутъ на кровныхъ лошадяхъ при трубномъ звукѣ,—они сидятъ въ душныхъ блиндажахъ, геройски переносятъ операціи, лежа на окровавленной госпитальной койкѣ, поддерживаютъ раненаго товарища и безстрашно идутъ на вылазку, во всей трогательной прозѣ военной жизни, въ фуражкахъ и розовыхъ рубашкахъ съ разстегнутыми воротами, иногда даже въ стоптанныхъ сапогахъ, потому что недосугъ думать о сапогахъ, когда предстоятъ дѣла другого рода. Нужно ли сказывать, чьи картины вѣрнѣе и который изъ двухъ писателей оказалъ большую услугу массѣ своихъ согражданъ?

Превосходство нашего автора надъ многими хроникёрами крымской компаніи заключается не въ одномъ складѣ его дарованія, преисполненнаго правды и разумности. Графъ Толстой, въ своихъ разсказахъ о Севастополѣ, важенъ какъ человѣкъ военный, какъ счастливѣйшій представитель образованнѣйшей части нашего достославнаго воинства. Онъ попалъ въ Крымъ не въ видѣ зрителя и живописца по приглашенію, не въ видѣ литератора, явившагося на поле борьбы за новымъ

вдохновеніемъ. Нашъ новый новеллистъ и дорогой товарищъ—русскій офицеръ, начавшій свою службу на Кавказѣ, много ночей спавшій у костра рядомъ съ артиллерійскими солдатами, видѣвшій въ свою жизнь военныя дѣла и уже присмотрѣвшійся къ той картинности военнаго быта, которая всегда неотразимо поражаетъ людей, незнакомыхъ съ жизнію воина. Для него русскій солдатъ занимателенъ не въ однѣхъ массахъ и не въ одной полной парадной формѣ, такъ драгоцѣнной англійскимъ корреспондентамъ: графъ Толстой знаетъ и любитъ солдата во всѣхъ видахъ и во всѣхъ случаяхъ солдатской жизни.

Для его ума, изощреннаго раннимъ наблюденіемъ, извѣстное число военныхъ людей уже не представляется какою-то безразличною массою одинаково одѣтаго народа, сходнаго между собой по нравамъ, какъ и по костюму. Все общее, случайное, давно уже отброшено нашимъ нравоописателемъ военнаго быта; все типическое, оригинальное, самостоятельное, прямо вытекающее изъ характера русскаго человѣка, предназначеннаго на военную дѣятельность, даетъ пищу графу Толстому, какъ поэту и какъ простому разскащику. Оттого намъ какъ нельзя болѣе понятна та завидная популярность, какою пользуется нашъ писатель Л. Н. Т., то есть графъ Толстой, между образованнѣйшими классами военнаго сословія. Можетъ быть, онъ самъ не догадывается о размѣрахъ этой популярности, но по нашему собственному опыту, довольно многостороннему по этой части, ея размѣры, увеличиваясь со всякимъ днемъ, уже достигли самой завидной степени. Огромная часть читателей, служившихъ въ военной службѣ, горячо интересуется дарованіемъ новаго повѣствователя. Служащая молодежь читаетъ произведенія его съ жадностью. Много разъ намъ приходилось своими ушами слышать отзывы такого рода: „Никогда ни одинъ русскій писатель не умѣлъ такимъ образомъ изображать русскаго военнаго человѣка". „Набѣгъ" и „Рубка лѣса" привлекли къ графу Толстому вниманіе большей части Кавказцевъ. Каждый изъ геройскихъ защитниковъ Севастополя съ наслажденіемъ читалъ севастопольскіе очерки, о которыхъ сейчасъ говорилось; военные молодые люди зачитываются вещами графа Толстого и, можетъ быть, не далека отъ насъ пора, когда они будутъ гордиться его дальнѣйшею дѣятельностью. По послѣднимъ извѣстіямъ, въ Петербургѣ скоро выйдутъ въ свѣтъ отдѣльною книгою всѣ военные разсказы нашего автора—успѣхъ изданія намъ кажется несомнѣннымъ. Когда оно будетъ кончено мы еще разъ поговоримъ о графѣ Толстомъ какъ о военномъ разскащикѣ, теперь же намъ предстоитъ сдѣлать нѣсколько бѣглыхъ замѣтокъ по поводу его послѣднихъ вещей, недавно напечатанныхъ въ „Современникѣ".

Подведя итогъ всему тому, что мы уже сказали о дарованіи молодого нашего повѣствователя, мы видимъ себя въ правѣ высказать мысль весьма утѣшительную. По независимости своего таланта, по разумности своего направленія, по отвращенію къ всякой фразѣ—качеству, до крайности рѣдкому въ наше время—графъ Левъ Толстой представляется намъ, какъ одинъ изъ безсознательныхъ представителей той теоріи свободнаго творчества, которая одна кажется истинною теоріею всякаго искусства. Невозможно предположить, чтобъ авторъ „Дѣтства" и „Двухъ гусаровъ" дошелъ до этой теоріи путемъ долгаго опыта и изслѣдованіемъ вопросовъ о значеніи искусства; но всякій

знаетъ, что натурамъ, блистательно одареннымъ, писателямъ, исполненнымъ истиннаго поэтическаго чутья, пониманіе правды дается вмѣстѣ съ самимъ талантомъ.

Не одинъ очень молодой поэтъ, едва выступивъ на литературное поприще, открывалъ тѣ самые пути, около которыхъ опытные критики ходили много лѣтъ, ничего не видя и ничего не открывая. Все дѣло въ свѣжести дарованія, соединенной съ тою стойкостью натуры, безъ которой никогда не предпринимается ничего прочнаго. По первымъ произведеніемъ Л. Н. Т., въ немъ не трудно было распознать писателя, вполнѣ независимаго. Самая тѣнь рутины не касалась его молодыхъ силъ. Онъ не зналъ многаго, но за то не заблуждался во многомъ. Для него будто не существовало прошлаго: всѣ мелкіе грѣшки нашей словесности — ея общественный сантиментализмъ, — ея радость передъ новыми путями, — ея постоянное стремленіе къ отрицательному направленію, наконецъ остатки стараго дидактическаго педантизма, отнявшіе столько силы у нашихъ современныхъ дѣятелей, — ни мало не отразились на талантѣ новаго повѣствователя.

Когда постоянный рядъ успѣховъ наконецъ доставилъ графу Толстому почетное мѣсто въ строю русскихъ писателей, онъ уже твердо стоялъ на своихъ ногахъ, не чувствуя никакого расположенія увлекаться подражаніемъ кому бы то ни было. Дорожа своей первой дѣятельностью, онъ ясно увидалъ, какъ безполезно рисковать ею, устремляясь съ своей собственной дороги на путь чуждый. Ни къ сантиментализму, ни къ дидактическимъ фразамъ любви онъ не чувствовалъ, но, вмѣстѣ съ тѣмъ, былъ далекъ и отъ другой крайности воззрѣнія, вслѣдствіе которой искусство чистое, но понятое черезъ-чуръ исключительно, становится проводникомъ мелкаго дагеротиннаго реализма, не оживленнаго никакой дѣльною мыслію. Вѣря въ себя и въ свое призваніе, онъ отшатнулся отъ всѣхъ преходящихъ воззрѣній и пошелъ по той дорогѣ, куда влекла его сила таланта.

Судьба, такъ благосклонная къ нашему автору при самомъ началѣ его поприща, не измѣнила ему и въ минуту кризиса. Теперь для насъ не можетъ быть сомнѣнія въ дальнѣйшемъ направленіи всей дѣятельности графа Толстого. Онъ навсегда останется независимымъ и свободнымъ творцомъ своихъ произведеній. Ему нечего бояться литературной рутины: онъ не будетъ писать сантиментальныхъ диссертацій на современныя темы и, вмѣстѣ съ тѣмъ, не станетъ изображать какого-нибудь журчанія ручейка, если его собственное настроеніе не повлечетъ его къ журчащему ручью съ непреодолимою силою. Онъ будетъ прямъ и искрененъ въ проявленіяхъ своей поэтической фантазіи. Если вдохновеніе застанетъ его въ минуты тяжелыя для души, графъ Толстой не станетъ насиловать себя для идиллической картины. Весь міръ раскроется передъ нимъ съ своими свѣтлыми и темными сторонами, а онъ не устремится къ той или другой сторонѣ міра по чужому указанію. Оттого въ графѣ Толстомъ еще болѣе, нежели въ другомъ его сильномъ сверстникѣ—Островскомъ, мы видимъ правильное наступательное движеніе современной изящной словесности въ сторону истиннаго пониманія законовъ искусства. Г. Островскій, при всѣхъ его заслугахъ, при всей важности дѣла, имъ совершеннаго, имѣлъ свои колебанія и склонялся къ дидактикѣ своего рода. Независимость и лите-

ратурная самостоятельность автора „Дѣтства“ были постоянно одинаковы во всѣ періоды его дѣятельности. Нельзя не подивиться и не порадоваться этой несокрушимой стойкости направленія, устоявшей противъ всѣхъ искушеній, противъ всѣхъ иллюзій молодости, противъ литературныхъ преданій, наложившихъ свое вліяніе на души талантливыхъ, самыхъ опытныхъ нашихъ товарищей. Можно находить многіе недостатки въ произведеніяхъ Толстого, но направленію ихъ не можетъ сдѣлать упрека критикъ самый придирчивый. Тутъ нѣтъ ни преднамѣренной дидактики, ни идиллической несостоятельности передъ темной стороной жизни,—ни заранѣе накинутой на себя мизантропіи, ни розоваго свѣта, ни сантиментальности. Тутъ все твердо и свободно. Преднамѣренно-поучительная мысль не выглядываетъ отвсюду, какъ кость какого-нибудь сухощаваго оратора, наставительныя умозрѣнія не портятъ своимъ присутствіемъ поэзіи свободной и чистой,—чистая поэзія не исключаетъ серьознаго взгляда на дѣла жизни. Все строго соразмѣрено съ своей цѣлью, всѣ стороны міра равны передъ поэтическимъ взглядомъ писателя,—и самъ писатель твердо вѣритъ, что ему дано отъ судьбы полное право идти въ ту сторону, куда зоветъ его загадочная и талантливая сила, называемая вдохновеніемъ...

Наши критики часто грѣшатъ тѣмъ, что любятъ, по поводу каждаго отдѣльнаго произведенія, дѣлать общіе выводы о направленіи писателя, только что напечатавшаго это произведеніе. Метода поспѣшныхъ журнальныхъ обозрѣній ведетъ къ сказанной погрѣшности и, слѣдовательно, ко всѣмъ вреднымъ результатамъ, отъ нея происходящимъ. По милости этой методы, у насъ всякій, сколько нибудь порядочный, писатель безъ всякаго дурного помысла выставляется человѣкомъ, поминутно мѣняющимъ свои воззрѣнія, прыгающимъ изъ одной крайности въ другую, безпрерывно творящимъ работу Сизифа, взбѣгающимъ на ту вершину, гдѣ стоитъ храмъ Славы, а потомъ низвергающимся въ пучину безсилія. Въ замѣнъ того у насъ очень мало статей, въ которыхъ разбирается писатель за извѣстное время своей дѣятельности въ общей сложности своихъ произведеній. То, что мы теперь говоримъ, весьма важно, напримѣръ, въ отношеніи къ графу Толстому, какъ писателю замѣчательной самостоятельности. У него одна вещь безпрестанно дополняетъ другую, вяжется съ общей массою повѣстей и служитъ новымъ выраженіемъ той свободы творчества, о которой мы столько говорили. По „Дѣтству“ и „Отрочеству“, взятымъ отдѣльно, никакъ не угадаешь сочинителя „Очерковъ Севастополя“. Грустный реализмъ „Маркёра“ совершенно не сходенъ съ тонкой прелестью „Набѣга“, „Метель“ не имѣетъ почти ничего общаго съ „Двумя гусарами“. А между тѣмъ о каждой изъ этихъ вещей говорилось и въ журналахъ, и въ литературныхъ бесѣдахъ, какъ о чемъ-то совершенно отдѣльномъ и вполнѣ выражающемъ автора. Намъ случалось слышать жалобы на недостатокъ внѣшняго интереса въ „Метели“, на предубѣжденіе графа Толстого въ пользу стараго времени, предубѣжденіе, будтобы высказавшееся въ „Двухъ гусарахъ“. О томъ же, сколько силы и смѣлости заключалось во всѣхъ его произведеніяхъ, взятыхъ въ общей сложности, и говорилось рѣдко, а писалось еще рѣже.

„Метель“ и „Два гусара“, къ подробной оцѣнкѣ которыхъ мы теперь приступаемъ, дѣйствительно какъ будто написаны двумя раз-

ными лицами. Одна вещь полна тонкой, почти неуловимой поэзіи; вторая есть ни что иное, какъ рядъ мастерски набросанныхъ сценъ самаго оживленнаго содержанія. Въ „Метели“ даровитый авторъ создаетъ цѣлую фантастическую картину изъ предмета, о которомъ прозаичный человѣкъ не способенъ сказать десяти словъ къ ряду;— и въ „Двухъ гусарахъ“ просто и почти жестко передаются событія, изъ которыхъ легко сдѣлать два романа. Тамъ — русская проза, подъ перомъ художника, по временамъ достигаетъ тѣхъ предѣловъ, къ которымъ и хорошій стихъ не всегда подходитъ; здѣсь лица и событія, истинно поэтическія, очерчены небрежными штрихами, широкими, но какъ будто рѣзкими по своему очертанію. Въ одной вещи авторъ раскрываетъ передъ нами область неуловимыхъ, личныхъ ощущеній, испытанныхъ имъ въ данный моментъ его дорожной жизни; въ другой онъ совершенно исчезаетъ самъ, оставляя жить и дѣйствовать своихъ героевъ. И между тѣмъ оба произведенія, совершенно несходныя ни по манерѣ разсказа, ни по замыслу, суть прямое послѣдствіе тѣхъ разнообразныхъ задатковъ, которыми такъ богаты первыя произведенія графа Толстого. Человѣкъ, написавшій „Дѣтство“ и „Отрочество“, совмѣщалъ въ себѣ разныя стороны таланта, стороны, для разработки которыхъ всей жизни его едва будетъ достаточно. Обладая въ одно время и поэтическимъ инстинктомъ, и твердымъ взглядомъ на жизнь, и даромъ могучаго анализа, и самобытной силой фантазіи, нашъ авторъ будетъ постоянно дарить своихъ читателей твореніями самаго многосторонняго значенія, твореніями, изъ которыхъ, какъ мы надѣемся, каждое будетъ представлять собою новую степень полнаго обладанія своимъ завиднымъ талантомъ.

Задача, которую далъ себѣ графъ Толстой, принимаясь писать „Метель“, принадлежитъ къ числу труднѣйшихъ задачъ искусства. Мы обманули бы и себя и автора, такъ нами уважаемаго, еслибъ сказали, что задача эта выполнена вполнѣ удовлетворительно. У графа Толстого много дѣятельности впереди, его трудъ надъ своимъ талантомъ только-что начинается. Много разъ еще придется ему возвращаться въ свой лагерь безъ рѣшительной побѣды, много разъ еще увидитъ онъ несоразмѣрность молодыхъ своихъ силъ съ трудностью задуманнаго предпріятія, но все это ничего не значитъ: тяжелая борьба нужна каждому таланту; успѣхи мгновенные, удачи, добытыя съ легкостью, даются лишь однимъ міровымъ геніямъ. Вещи въ родѣ „Метели“, но отъ начала до конца проникнутыя поэзіею самыхъ тяжкихъ моментовъ человѣческаго существованія, до сихъ поръ удавались у насъ лишь Пушкину и Гоголю. „Евгеній Онѣгинъ“ полонъ отрывками въ такомъ родѣ. Въ „Капитанской дочкѣ“ есть глава, не только по задачѣ, но и по нѣкоторымъ подробностямъ сходная съ „Метелью“. Почти то же находимъ мы въ иныхъ повѣстяхъ Гоголя и въ его „Мертвыхъ душахъ“ (для примѣра укажемъ на главу съ дорожными воспоминаніями дѣтства). Изъ писателей современныхъ г. Тургеневъ, главная сила котораго заключается въ поэтическомъ складѣ таланта, обязанъ подобной задачѣ лучшими страницами „Записокъ охотника“. Г. Фетъ, какъ талантъ высоко поэтическій, съ большой удачей разработалъ не одну тему въ родѣ „Метели“. Но ни Фетъ, ни Тургеневъ не давали своимъ вещамъ того размѣра, который придалъ гр. Толстой „Метели“. Ихъ прекрасные

опыты выигрывали отъ своей краткости, ибо въ вещахъ, преисполненныхъ тонкаго поэтическаго интереса, одна страница, не достигающая цѣли, предположенной авторомъ, есть пятно на всемъ произведеніи. Пушкинское стихотвореніе „Бѣсы“ потеряло бы половину своей изумительной прелести, еслибъ въ немъ было хотя два стиха безъ поэзіи. Nocturno Фета никуда не годилось бы отъ одного прозаичнаго слова, поставленнаго для риѳмы. Съ прозой въ родѣ „Метели“, ея авторъ долженъ обращаться, какъ съ стихотвореніемъ, и причина тому весьма понятна. Въ чемъ собственно состоитъ задача разсказа „Метель“, это мы уже обозначили. Въ немъ авторъ разсказываетъ о томъ, какъ онъ заблудился въ дорогѣ, въ зимнюю ненастную ночь; какъ его ямщикъ около дороги наконецъ увязался за обозомъ, также сбившимся съ прямого пути, и наконецъ послѣ долгаго утомительнаго переѣзда съ разсвѣтомъ пріѣхалъ на станцію. Ясно, что при такомъ содержаніи дѣло не во внѣшнихъ событіяхъ, но въ драматическихъ положеніяхъ, не въ яркихъ картинахъ, но въ умныхъ мысляхъ. Зимняя ненастная ночь, про которую говорили мы, оставила въ душѣ поэта извѣстное неизгладимое впечатлѣніе, которое онъ, съ своей стороны, желаетъ передать читателямъ. Тутъ намъ и видна вся трудность темы. Всякое истинное и сильное впечатлѣніе поэта имѣетъ право быть переданнымъ, ибо въ основаніи его всегда лежитъ цѣлый міръ поэтическихъ ощущеній, тѣмъ болѣе неуловимыхъ и тонкихъ, чѣмъ предметъ ихъ немногосложнѣе. Графъ Толстой смѣло подходитъ къ своему дѣлу и ведетъ его мастерски, въ томъ надо признаться. Зорко подмѣчаетъ онъ всѣ мельчайшія поэтическія подробности внѣшняго и внутренняго міра, съ безконечной правдой рисуетъ онъ намъ картину за картиною, и мѣстами, какъ напримѣръ въ описаніи своего тревожнаго сна, возвышается до поэзіи, по истинѣ изумительной. Начало вьюги, описаніе обоза, сонъ, наконецъ разсвѣтъ и прибытіе на станцію—все это способно привести въ сумасшедшій восторгъ всякаго читателя, чующаго поэзію; но къ сожалѣнію, это одни слабо-связанные эпизоды, между которыми самъ авторъ часто высказываетъ свое собственное утомленіе.

Во всемъ разсказѣ есть подробности ненужныя и мѣста необработанныя достаточно. Цѣль не достигнута съ одного разу—тогда какъ, по сущности задачи, безъ этого нельзя было обойтись. Съ той минуты, какъ читатель находитъ длинноту въ „Метели“,—все произведеніе уже становится замѣчательнымъ эпизодомъ, но никакъ не оконченнымъ созданіемъ.

Мы не считаемъ ни полезнымъ, ни нужнымъ распространяться о томъ, какими путями графъ Толстой долженъ бы былъ дѣйствовать для того, чтобъ сдѣлать изъ „Метели“ образцовое произведеніе, достойное стоять на ряду съ драгоцѣннѣйшими перлами русской поэзіи. Авторъ почти всегда есть хорошій судья своихъ собственныхъ произведеній; наша мысль становится еще вѣрнѣе въ ея примѣненіи къ трудамъ писателя, столь самостоятельнаго и спокойнаго въ своихъ пріемахъ.

Мы не скажемъ даже ни слова о томъ, что графъ Толстой и въ настоящее время можетъ поработать надъ „Метелью“, избравши для этой тонкой работы какіе-нибудь мѣсяцы полнаго уединенія. Сокративъ въ разсказѣ то, что не можетъ быть выведено въ рядъ свѣтлыхъ обра-

зовъ, связавъ всѣ его эпизоды твердою нитью, пройдя по многимъ подробностямъ съ помощью своего поэтическаго рѣзца, авторъ можетъ сдѣлать многое, но ему одному приходится рѣшать, возьмется-ли онъ за трудъ такого рода. Графъ Толстой долженъ писать много, какъ всѣ таланты, имѣющіе сказать многое. Очень вѣроятно, что ему некогда смотрѣть назадъ, имѣя столько прямой дороги передъ собою,—и не мы станемъ обвинять его, если онъ забудетъ про „Метель" и подойдетъ къ новымъ задачамъ съ новыми силами. Есть что-то здоровое, вдохновляющее въ пылкой молодой дѣятельности разумнаго писателя, не уклоняющагося ни передъ какою трудностью, не задумывающагося ни передъ какимъ новымъ шагомъ.

Пускай онъ набрасываетъ свои эпизоды и тѣшится многосторонними проявленіями собственной силы. Пусть онъ открываетъ какъ можно болѣе широкихъ путей для своей дальнѣйшей дѣятельности. Иному дана быстрота, иному мѣшкотность творчества. Иной поэтъ можетъ сидѣть дни, обработывая одну страницу, другой этого дѣлать не въ силахъ. Кажется намъ, что пора усидчиваго труда еще не наступила для графа Толстого. Ему еще льстятъ и борьба съ своимъ дарованіемъ, и смѣлость натиска, и надежда на быструю побѣду. Онъ слишкомъ часто вдается въ эскизную живопись, какъ будто сочувствуя вопіющему парадоксу Брюллова о томъ, что *копотливость* труда есть признакъ *безсилія*. Парадоксъ Брюллова принесъ много вреда дѣлу художества, но онъ имѣетъ и нѣкоторую разумную сторону. Въ періодъ разгара молодыхъ силъ художнику еще рано возиться съ самимъ собою. Начинающему таланту полезны быстрота и изобиліе эпизодовъ—черезъ нихъ его способности пріобрѣтутъ многосторонность, достоинство весьма важное для художника.

Глядя на „Метель", какъ на этюдъ даровитаго писателя, мы не можемъ имъ не наслаждаться. Стройности въ немъ нѣтъ, это мы уже сказали. Но въ немъ есть жизнь, есть слогъ, есть то рѣдкое сліяніе могучаго анализа съ тонкой поэзіею, которое само по себѣ, безъ всякихъ постороннихъ примѣсей, ставитъ графа Толстого прямо въ ряды первоклассныхъ русскихъ писателей.

Примирившись съ недостатками разсказа и признавъ его эпизодомъ замѣчательнаго писателя, мы получаемъ возможность перечитывать его съ пользою и наслажденіемъ. Результатъ нѣкоторыхъ страницъ таковъ, что, по вторичномъ ихъ прочтеніи, мы думаемъ о томъ, что въ нихъ изображено, какъ о фактахъ и впечатлѣніяхъ, пережитыхъ нами самими. Останавливаясь надъ красотами вещи, мы незамѣтно приходимъ къ уразумѣнію другихъ ея, если можно такъ выразиться, отрицательныхъ достоинствъ.

Вещи, въ родѣ „Метели", по временамъ пишутся любителями искусства чистаго на заданную тему, иногда какъ попытка къ возсозданію поэтическаго ощущенія, въ сущности своей не вполнѣ прочувствованнаго. Оттого выходятъ или скука или явная неискренность въ картинахъ и анализѣ ощущеній. Въ „Метели" нѣтъ ничего подобнаго. Авторъ мѣстами утомляется своей задачей, но онъ не говоритъ ни одного выраженія „для красоты слога". Онъ иногда бьетъ дальше своей цѣли и ошибается не вслѣдствіе бѣдности, а вслѣдствіе обилія подробностей. Его собственныя впечатлѣнія не смутны и не сбивчивы, но

часто черезъ-чуръ изобильны, во вредъ общему ходу разсказа. Описаніе лошадей съ ихъ спинами, физіономіями, кисточками на сбруѣ, колокольчиками, изображеніе извощиковъ со всѣми частями ихъ наряда, совершенно вѣрны, но мѣстами излишни. Нѣтъ сомнѣнія, что авторъ разсказа превосходно высмотрѣлъ и воспринялъ душою все то, о чемъ онъ бесѣдуетъ съ нами,—но нельзя ошибаться и на счетъ того, что онъ не сдѣлалъ надлежащаго выбора изъ своихъ впечатлѣній. Его воображеніе напоминаетъ собою молодой и смѣшанный лѣсъ, который мѣстами глохнетъ отъ собственной своей густоты. Поэтовъ часто сравнивали съ водолазами, ныряющими въ глубину моря за жемчугомъ,—подробное разсмотрѣніе всего процесса при ловлѣ раковинъ можетъ быть вполнѣ примѣнено къ предмету нашему. Ловецъ, ныряя въ глубину, видитъ на днѣ моря множество раковинъ, но онъ долженъ въ короткій моментъ своего пребыванія подъ водою различить между ними тѣ, которыя стоитъ поднять. Въ иныхъ жемчужина слишкомъ мала, въ другихъ она едва начинаетъ формироваться. Молодой и горячій водолазъ обыкновенно забираетъ множество раковинъ, обременяетъ себя ношею и слишкомъ долго остается подъ водой для малой выгоды. Его болѣе опытный товарищъ выноситъ гораздо менѣе добычи, но въ каждой раковинѣ, имъ добытой, имѣется по крупному зерну. То же и съ дѣломъ поэзіи.

Прекрасно имѣть поэтическую душу. Прекрасно бросаться съ полной отважностью въ сокровеннѣйшія глубины своего сознанія; прекрасно выносить оттуда жемчужины всѣхъ видовъ и размѣровъ. Все это ступени художественнаго совершенства, но есть еще одна послѣдняя ступень—выборъ поэтическихъ перловъ.

Къ драгоцѣннѣйшимъ страницамъ „Метели“ мы причисляемъ воспоминанія автора, изнуреннаго холодомъ и долгимъ переѣздомъ. Эти страницы мы здѣсь выписываемъ и этой выпиской заключаемъ нашъ запоздалый отзывъ. Въ нихъ сказывается вся сила нашего автора. Кто такъ пишетъ, тому не страшно глядѣть впередъ себя, на какія бы ни было поэтическія задачи.

(Далѣе выписка: „Воспоминанія и представленія съ усиленной быстротой смѣнялись въ воображеніи“... Послѣднія слова выписки: „И валекъ этотъ, какъ инструментъ пытки, сжимаетъ мою ногу, которая зябнетъ,—я засыпаю“ *)....

А. В. Дружининъ.

2.

О графѣ Толстомъ на этотъ разъ мы не будемъ говорить съ подробностью, потому что за два мѣсяца назадъ уже охарактеризовали его достоинства, какъ военнаго разскащика. Вся читающая публика оцѣнила его талантъ, и мы не считаемъ нужнымъ распространяться о томъ, что хорошо знаетъ сама публика. Но можетъ быть еще немногіе изъ читателей отдаютъ себѣ полный отчетъ въ томъ, какой огромный

*) „Библіотека для Чтенія“, 1856 г., т. 139.

шагъ сдѣланъ былъ графомъ Толстымъ, какъ живописцомъ военныхъ сценъ, по изученію дѣйствительной и вседневной жизни военнаго русскаго человѣка. До сихъ поръ между нашими литераторами было весьма мало настоящихъ военныхъ людей,—обстоятельство чрезвычайно невыгодное въ томъ отношеніи. что нравы и бытъ военнаго сословія, столь многочисленнаго въ Россіи, ускользали отъ пера нашихъ писателей по ихъ малому знакомству съ этимъ нравомъ и бытомъ. Сколько ни читай книгъ, сколько ни встрѣчай офицеровъ въ гостинной, сколько ни гляди на казармы и на солдатъ во время ученья, военной жизни (точно также, какъ и всякой другой жизни) не узнаешь изъ такихъ праздныхъ наблюденій. Лермонтовъ, самъ служившій въ офицерахъ и бывавшій подъ пулями, сдѣлалъ многое, но мы лишились этого человѣка, едва успѣвъ насладиться его первыми созданіями. Послѣ Лермонтова пришло время рутины, ничѣмъ неоправдываемой и ничѣмъ неизмѣняемой. Обыкновенно люди, мало знающіе и худо изучившіе свой предметъ, силятся прикрыть скудость свою обобщеніями и хитрыми выводами, въ которыхъ бываетъ все, кромѣ истины и дѣйствительности. По причинѣ малаго знанія и страсти къ обобщеніямъ, наша литература, со времени Грушницкаго и Максима Максимыча, до появленія разсказовъ графа Толстого, относилась къ русской военной жизни съ величавостью долговязаго младенца, нахватавшагося верховъ по книжкамъ и силящагося судить о предметахъ, ему вовсе незнакомыхъ. Бытъ русскаго воина, его интересы и подвиги, его достоинства и слабости, его возвышенныя и темныя стороны—все это было незнакомо рѣдкимъ изъ нашихъ писателей, изрѣдка выводившихъ военнаго человѣка въ своихъ разсказахъ. Такіе писатели дѣйствовали двумя путями: или жили на счетъ Лермонтова, передѣлывая его типы на свой ладъ, или, что еще хуже, не зная ни военнаго быта, ни военныхъ людей, составляли военнаго человѣка, подобно нѣмцу-критику, рисовавшему верблюдовъ не съ натуры, но изъ сокровенной глубины своего самосознанія! Но сокровенная глубина самосознанія вела лишь къ пустой дидактикѣ и карающему юмору, не каравшему ровно никого и ничего на свѣтѣ. Подъ вліяніемъ этой скудости и развелись въ нашихъ романахъ нигдѣ не существующіе типы юношей, непремѣнно усатыхъ и самодовольныхъ, комическихъ безъ комизма, очертанныхъ безъ знанія дѣла. Старосвѣтскіе литераторы въ офицерѣ изображали непремѣнно красавца и удальца, перваго любовника, Вельскаго или Лидина; повѣствователи новаго поколѣнія бросались въ противоположную крайность. Каждый рисовалъ не съ натуры, а *отъ себя*, по мастерскому выраженію Брюллова, и эта рисовка *отъ себя* происходила отъ того, что изъ художниковъ никто не изучалъ натуры, а бродилъ въ сумракѣ своего сокровеннаго самосознанія. Намъ говорятъ, что военные люди всегда щекотливы на сатиру, и что это обстоятельство связывало руки у нравоописателей, но мы смѣемъ сказать, что, по странной игрѣ случая, эта дѣйствительная или воображаемая щекотливость принесла пользу словесности, избавивъ ее отъ цѣлаго ряда нелѣпыхъ созданій, цѣлой сотни ложныхъ типовъ. Кто изъ новыхъ писателей, послѣ Лермонтова и отчасти Гоголя, могъ знать и описывать военнаго русскаго человѣка? Кто изъ нихъ могъ бы сочинить хотя одну страницу изъ *Набѣга* и *Рубки лѣса?* А между тѣмъ поползновеніе

писать военныя сцены было у многихъ, только сцены эти писались бы отъ себя, изъ сокровенной глубины литераторскаго самосознанія. Нѣтъ, мы отъ души радуемся, что такихъ сценъ у насъ писалось немного.

Въ такомъ отношеніи находилась русская литература наша къ военному быту, когда графъ Толстой сталъ печатать свои военные разсказы, нынѣ собранные въ одну книгу и уже получившіе въ этомъ новомъ видѣ весь успѣхъ, какой мы имъ предсказывали. Первымъ появился *Набѣгъ*, разсказецъ хорошенькій и какъ будто набросанный съ небрежностью, но разсказецъ до такой степени исполненный поэзіи военной жизни, что многіе знатоки литературы, наслаждаясь поэзіей *Набѣга*, почти не отдали справедливости другимъ сторонамъ произведенія. Дѣйствительно, въ *Набѣгѣ* есть что-то особенно опьяняющее, волнующее душу и не дающее возможности остановиться на прозаической, вседневной сторонѣ разсказа. Эта картина выступленія войскъ, приготовленій къ бою, ночлеговъ подъ открытымъ небомъ, ощущеній подъ первыми пулями, картина смерти и веселости, рыцарства и беззаботности, удальства и унылыхъ минутъ послѣ набѣга, была дѣйствительно плѣнительна, но не менѣе плѣнительны и вѣрны были лица военныхъ людей, выведенныхъ въ набѣгѣ. Розенкранца и капитана Хлопова еще не бывало въ нашей повѣствовательной литературѣ. Съ появленіемъ *Рубки лѣса* слава образцоваго военнаго разскащика окончательно утвердилась за графомъ Толстымъ, въ то же самое время печатавшимъ свои *Очерки Севастополя*. Сильный талантъ, наблюдатель и мастеръ, военный человѣкъ, истинный воинъ по службѣ и призванію,—сказались читателю самому недальновидному.

Намъ, пишущимъ людямъ, стало радостно думать, что одинъ изъ нашихъ талантливѣйшихъ сверстниковъ присутствуетъ съ русскими войсками на сценѣ дивныхъ севастопольскихъ подвиговъ, не только въ качествѣ зрителя и живописца, но въ качествѣ настоящаго воина, до тонкости знающаго военныхъ людей и военный бытъ, военныя радости и горести военнаго званія. Русская литература не могла имѣть въ стѣнахъ Севастополя лучшаго и надежнѣйшаго представителя. И когда осада кончилась, и когда авторъ *Рубки лѣса* вернулся къ намъ не только цѣлый и здоровый, но еще съ *Севастополемъ въ августѣ* для декабрьской книжки „Современника“, онъ былъ встрѣченъ въ Москвѣ и Петербургѣ, какъ одинъ изъ первыхъ русскихъ писателей и чуть-ли не единственный знатокъ поэзіи военнаго быта. Рукопись, имъ привезенная, не обманула ожиданій нашихъ, и послѣдній очеркъ Севастополя вышелъ едва-ли не лучше двухъ первыхъ. Послѣ братьевъ Козельцовыхъ, Вланга, совѣстно вспоминать о военныхъ типахъ, когда-то выводимыхъ въ нашей литературѣ.

Передъ знаніемъ дѣла совершенно разрушились всѣ фантастическія понятія о военной жизни, такъ какъ они описывались до сихъ поръ въ литературѣ нашей. И что до крайности поучительно: у графа Толстого, въ его разсказахъ изъ военнаго быта, знаніе дѣла всегда идетъ объ руку съ несомнѣнной поэзіею. Тутъ-то и видна справедливость стараго сравненія поэзіи съ вѣковымъ и сильнымъ деревомъ. Чѣмъ глубже сидятъ корни дерева, тѣмъ выше вздымается къ небу его вершина. У насъ многіе поэты думаютъ противное. Не давши своей житейской опытности пустить корень въ глубину родной почвы, они

думаютъ, что ихъ поэзія вознесется къ небу изъ глубины самосознанія и грубыхъ дидактическихъ теорій. Не заложивъ прочнаго фундамента, они уже придаютъ изукрашенный видъ крышѣ своей постройки. Оттого ихъ зданіе валится на-бокъ, оттого ихъ дерево чахнетъ и хирѣетъ и гнется къ землѣ, а они тому радуются. Это великое несчастіе дидактиковъ, утверждающихъ намъ, что верхушка вѣкового дуба должна стлаться по землѣ, а не возноситься къ небу. Въ землѣ долженъ сидѣть корень дерева; если же оно не возноситъ къ небу свои вершины, значитъ дерево или гнило, или еще очень молодо... *).

3.

„Чрезвычайная наблюдательность, тонкій анализъ душевныхъ движеній, отчетливость и поэзія въ картинахъ природы, изящная простота—отличительныя черты таланта графа Толстого". Такой отзывъ вы услышите отъ каждаго, кто только слѣдитъ за литературою. Критика повторяла эту характеристику, внушенную общимъ голосомъ, и, повторяя ее, была совершенно вѣрна правдѣ дѣла.

Но неужели ограничиться этимъ сужденіемъ, которое, правда, замѣтило въ талантѣ графа Толстого черты, дѣйствительно ему принадлежащія, но еще не показало тѣхъ особенныхъ оттѣнковъ, какими отличаются эти качества въ произведеніяхъ автора „Дѣтства", „Отрочества", „Записокъ Маркера", „Метели", „Двухъ Гусаровъ" и „Военныхъ Разсказовъ"? Наблюдательность, тонкость психологическаго анализа, поэзія въ картинахъ природы, простота и изящество,—все это вы найдете и у Пушкина, и у Лермонтова, и у г. Тургенева,—опредѣлять талантъ каждаго изъ этихъ писателей только этими эпитетами было бы справедливо, но вовсе недостаточно для того, чтобы отличить ихъ другъ отъ друга; и повторить то же самое о графѣ Толстомъ еще не значитъ уловить отличительную физіономію его таланта, не значитъ показать, чѣмъ этотъ прекрасный талантъ отличается отъ многихъ другихъ столь же прекрасныхъ талантовъ. Надобно было охарактеризовать его точнѣе.

Нельзя сказать, чтобы попытки сдѣлать это были очень удачны. Причина неудовлетворительности ихъ отчасти заключается въ томъ, что талантъ графа Толстого быстро развивается, и почти каждое новое произведеніе обнаруживаетъ въ немъ новыя черты, конечно, все, что сказалъ бы кто нибудь о Гоголѣ послѣ „Миргорода", оказалось бы недостаточнымъ послѣ „Ревизора", и сужденія высказавшіяся о г. Тургеневѣ, какъ авторѣ „Андрея Колосова" и „Хоря и Калиныча", надобно было во многомъ измѣнять и дополнять, когда явились его „Записки Охотника", какъ и эти сужденія оказались недостаточными, когда онъ писалъ новыя повѣсти, отличающіяся новыми достоинствами. Но если прежняя оцѣнка развивающагося таланта непремѣнно оказывается недостаточною при каждомъ новомъ шагѣ его впередъ, то, по крайней

*) „Библ. для Чтенія" 1856 г., т. 140.

мѣрѣ, для той минуты, какъ является, она должна быть вѣрна и основательна: мы увѣрены, что не дальше, какъ послѣ появленія „Юности“, то, что мы скажемъ теперь, будетъ уже нуждаться въ значительныхъ пополненіяхъ: талантъ графа Толстого обнаружитъ передъ нами новыя качества, какъ обнаружилъ онъ севастопольскими разсказами стороны, которымъ не было случая обнаружиться въ „Дѣтствѣ“ и „Отрочествѣ“, какъ потомъ въ „Запискахъ Маркера“ и „Двухъ Гусарахъ“ онъ снова сдѣлалъ шагъ впередъ. Но талантъ этотъ, во всякомъ случаѣ, уже довольно блистателенъ для того, чтобы каждый періодъ его развитія заслуживалъ быть отмѣченъ съ величайшею внимательностью. Посмотримъ же, какія особенныя черты онъ уже имѣлъ случай обнаружить въ произведеніяхъ, которыя извѣстны читателямъ нашего журнала.

Наблюдательность у иныхъ талантовъ имѣетъ въ себѣ нѣчто холодное, безстрастное. У насъ замѣчательнѣйшимъ представителемъ этой особенности былъ Пушкинъ. Трудно найти въ русской литературѣ болѣе точную и живую картину, какъ описаніе быта и привычекъ большого барина старыхъ временъ въ началѣ его повѣсти „Дубровскій“. Но трудно рѣшить, какъ думаетъ объ изображаемыхъ имъ чертахъ самъ Пушкинъ. Кажется, онъ готовъ былъ бы отвѣчать на этотъ вопросъ: „можно думать различно; мнѣ какое дѣло, симпатію или антипатію возбудитъ въ васъ этотъ бытъ? я и самъ не могу рѣшить, удивленіе или негодованіе онъ заслуживаетъ“. Эта наблюдательность — просто, зоркость глаза и памятливость. У новыхъ нашихъ писателей такого равнодушія вы не найдете; ихъ чувства болѣе возбуждены, ихъ умъ болѣе точенъ въ своихъ сужденіяхъ. Не съ равною охотою наполняютъ они свою фантазію всѣми образами, какіе только встрѣчаются на ихъ пути; ихъ глазъ съ особеннымъ вниманіемъ всматривается въ черты, которыя принадлежатъ сферѣ жизни, наиболѣе ихъ занимающей. Такъ, напримѣръ, г. Тургенева особенно привлекаютъ явленія, положительнымъ или отрицательнымъ образомъ относящіяся къ тому, что называется поэзіею жизни, и къ вопросу о гуманности.

Вниманіе графа Толстого болѣе всего обращено на то, какъ однѣ чувства и мысли развиваются изъ другихъ; ему интересно наблюдать, какъ чувство, непосредственно возникающее изъ даннаго положенія или впечатлѣнія, подчиняясь вліянію воспоминаній и силѣ сочетаній, представляемыхъ воображеніемъ, переходитъ въ другія чувства, снова возвращается къ прежней исходной точкѣ и опять и опять странствуетъ, измѣняясь, по всей цѣпи воспоминаній; какъ мысль, рожденная первымъ ощущеніемъ, ведетъ къ другимъ мыслямъ, увлекается дальше и дальше, сливаетъ грезы съ дѣйствительными ощущеніями, мечты о будущемъ съ рефлексіею о настоящемъ. Психологическій анализъ можетъ принимать различныя направленія: одного поэта занимаютъ всего болѣе очертанія характеровъ; другого — вліяніе общественныхъ отношеній и житейскихъ столкновеній на характеры; третьяго — связь чувствъ съ дѣйствіями; четвертаго—анализъ страстей; графа Толстого всего болѣе— самъ психическій процессъ, его формы, его законы,—діалектика души, чтобы выразиться опредѣлительнымъ терминомъ.

Изъ другихъ замѣчательнѣйшихъ нашихъ поэтовъ болѣе развита эта сторона анализа у Лермонтова; но и у него она все-таки играетъ слишкомъ второстепенную роль, обнаруживается рѣдко, да и то почти

въ совершенномъ подчиненіи анализу чувства. Изъ тѣхъ страницъ, гдѣ она выступаетъ замѣтнѣе, едва ли не самая замѣчательная—памятныя всѣмъ размышленія Печорина о своихъ отношеніяхъ къ княжнѣ Мери, когда онъ замѣчаетъ, что она совершенно увлеклась имъ, бросивъ кокетничанье съ Грушницкимъ для серьозной страсти. (Далѣе слѣдуетъ выписка изъ „Героя нашего времени", которая начинается словами: „я часто себя спрашиваю"... и кончается: „и надѣюсь, сумѣю умереть безъ крика и слезъ"... и т. д.).

Тутъ яснѣе, нежели гдѣ-нибудь у Лермонтова, уловленъ психическій процессъ возникновенія мыслей, — и, однакожъ, это все-таки не имѣетъ ни малѣйшаго сходства съ тѣми изображеніями хода чувствъ мыслей въ головѣ человѣка, которыя такъ любимы графомъ Толстымъ. Это вовсе не то, что полумечтательныя, полурефлективныя сцѣпленія понятій и чувствъ, которыя растутъ, движутся, измѣняются передъ нашими глазами, когда мы читаемъ повѣсть графа Толстого, — это не имѣетъ ни малѣйшаго сходства съ его изображеніями картинъ и сценъ, ожиданій и опасеній, проносящихся въ мысли его дѣйствующихъ лицъ: размышленія Печорина наблюдены вовсе не съ той точки зрѣнія, какъ различныя минуты душевной жизни лицъ, выводимыхъ графомъ Толстымъ,—хотя бы, напримѣръ, это изображеніе того, что переживаетъ человѣкъ въ минуту, предшествующую ожидаемому смертельному удару, потомъ въ минуту послѣдняго сотрясенія нервъ отъ этого удара: (Приводится выписка, которая начинается словами: „Только что Праскухинъ, идя рядомъ съ Михайловымъ, разошелся съ... „Она кончается словами:" Онъ былъ убитъ на мѣстѣ осколкомъ въ середину груди").

Это изображеніе внутренняго монолога надобно, безъ преувеличенія, назвать удивительнымъ. Ни у кого другого изъ нашихъ писателей не найдете вы психическихъ сценъ, подмѣченныхъ съ этой точки зрѣнія. И, по нашему мнѣнію, та сторона таланта графа Толстого, которая даетъ ему возможность уловлять эти психическіе монологи, составляетъ въ его талантѣ особенную, только ему свойственную силу. Мы не то хотимъ сказать, что графъ Толстой непремѣнно и всегда будетъ давать намъ такія картины: это совершенно зависитъ отъ положеній, имъ изображаемыхъ, и наконецъ просто отъ воли его. Однажды написавъ „Метель", которая вся состоитъ изъ ряда подобныхъ внутреннихъ сценъ, онъ въ другой разъ написалъ „Записки Маркера", въ которыхъ нѣтъ ни одной такой сцены, потому что ихъ не требовалось по идеѣ разсказа. Выражаясь фигуральнымъ языкомъ, онъ умѣетъ играть не одной этой струной, можетъ играть или не играть на ней, но самая способность играть на ней придаетъ уже его таланту особенность, которая видна во всемъ постоянно. Такъ, пѣвецъ, обладающій въ своемъ діапазонѣ необыкновенно высокими нотами, можетъ не брать ихъ, если то не требуется его партіей, — и все-таки, какую бы ноту онъ ни бралъ, хотя бы такую, которая равно доступна всѣмъ голосамъ, каждая его нота будетъ имѣть совершенно особенную звучность, зависящую собственно отъ способности его брать высокую ноту, и въ каждой нотѣ его будетъ обнаруживаться для знатока весь размѣръ его діапазона.

Особенная черта въ талантѣ графа Толстого, о которой мы говорили, такъ оригинальна, что нужно съ большимъ вниманіемъ всматри-

ваться въ нее, и тогда только мы поймемъ всю ея важность для художественнаго достоинства его произведеній.

Психологическій анализъ есть едва-ли не самое существенное изъ качествъ, дающихъ силу творческому таланту. Но обыкновенно онъ имѣетъ, если такъ можно выразиться, описательный характеръ, — беретъ опредѣленное, неподвижное чувство и разлагаетъ его на составныя части,—даетъ намъ, если такъ можно выразиться, анатомическую таблицу. Въ произведеніяхъ великихъ поэтовъ мы, кромѣ этой стороны его, замѣчаемъ и другое направленіе, проявленія котораго дѣйствуютъ на читателя или зрителя чрезвычайно поразительно: это — уловленіе драматическихъ переходовъ одного чувства въ другое, одной мысли въ другую. Но обыкновенно намъ представляются только два крайнія звена этой цѣпи, только начало и конецъ психическаго процесса, — это потому, что большинство поэтовъ, имѣющихъ драматическій элементъ въ своемъ талантѣ, заботятся преимущественно о результатахъ, проявленіяхъ внутренней жизни, о столкновеніяхъ между людьми, о дѣйствіяхъ, а не о таинственномъ процессѣ, посредствомъ котораго вырабатывается мысль или чувство; даже въ монологахъ, которые повидимому чаще всего должны бы служить выраженіемъ этого процесса, почти всегда выражается борьба чувствъ, и шумъ этой борьбы отвлекаетъ наше вниманіе отъ законовъ и переходовъ, по которымъ совершается ассоціація представленій,—мы заняты ихъ контрастомъ, а не формами ихъ возникновенія,—почти всегда монологи, если содержатъ не простое анатомированье неподвижнаго чувства, только внѣшностью отличаются отъ діалоговъ: въ знаментальныхъ своихъ рефлексіяхъ Гамлетъ какъ бы раздвояется и споритъ самъ съ собою; его монологи въ сущности принадлежатъ къ тому же роду сценъ, какъ и діалоги Фауста съ Мефистофелемъ или споры маркиза Позы съ Донъ-Карлосомъ. Особенность таланта графа Толстого состоитъ въ томъ, что онъ не ограничивается изображеніемъ результатовъ психическаго процесса: его интересуетъ самый процессъ, — и едва уловимыя явленія этой внутренней жизни, смѣняющіяся одно другимъ съ чрезвычайною быстротою и неистощимымъ разнообразіемъ, мастерски изображаются графомъ Толстымъ. Есть живописцы, которые знамениты искусствомъ уловлять мерцающее отраженіе луча на быстро катящихся волнахъ, трепетаніе свѣта на шелестящихся листьяхъ, переливы его на измѣнчивыхъ очертаніяхъ облаковъ: о нихъ по преимуществу говорятъ, что они умѣютъ уловлять жизнь природы. Нѣчто подобное дѣлаетъ графъ Толстой относительно таинственнѣйшихъ движеній психической жизни. Въ этомъ состоитъ, какъ намъ кажется, совершенно оригинальная черта его таланта. Изъ всѣхъ замѣчательныхъ русскихъ писателей онъ одинъ мастеръ на это дѣло.

Конечно, эта способность должна быть врождена отъ природы, какъ и всякая другая способность; но было бы недостаточно остановиться на этомъ слишкомъ общемъ объясненіи; только самостоятельною дѣятельностью развивается талантъ, и въ этой дѣятельности, о чрезвычайной энергіи которой свидѣтельствуетъ замѣченная нами особенность произведеній графа Толстого, надобно видѣть основаніе силы, пріобрѣтенной его талантомъ. Мы говоримъ о самоуглубленіи, о стремленіи къ неутомимому наблюденію надъ самимъ собою. Законы человѣ-

ческаго дѣйствія, игру страстей, сцѣпленіе событій, вліяніе обстоятельствъ и отношеній мы можемъ изучать, внимательно наблюдая другихъ людей; но все знаніе, пріобрѣтаемое этимъ путемъ, не будетъ имѣть ни глубины, ни точности, если мы не изучимъ сокровеннѣйшихъ законовъ психической жизни, игра которыхъ открыта передъ нами только въ нашемъ общественномъ самосознаніи. Кто не изучилъ человѣка въ самомъ себѣ, никогда не достигнетъ глубокаго знанія людей. Та особенность таланта графа Толстого, о которой говорили мы выше, доказываетъ, что онъ чрезвычайно внимательно изучалъ тайны жизни человѣческаго духа въ самомъ себѣ; это знаніе драгоцѣнно не только потому, что доставило ему возможность написать картины внутреннихъ движеній человѣческой мысли, на которыя мы обратили вниманіе читателя, но еще, быть можетъ, больше потому, что дало ему прочную основу для изученія человѣческой жизни вообще, для разгадыванія характеровъ и пружинъ дѣйствія, борьбы страстей и впечатлѣній. Мы не ошибемся, сказавъ, что самонаблюденіе должно было чрезвычайно изострить вообще его наблюдательность, пріучить его смотрѣть на людей проницательнымъ взглядомъ.

Драгоцѣнно въ талантѣ это качество, едва ли не самое прочное изъ всѣхъ правъ на славу истинно замѣчательнаго писателя. Знаніе человѣческаго сердца, способность раскрывать передъ нами его тайны—вѣдь это первое слово въ характеристикѣ каждаго изъ тѣхъ писателей, творенія которыхъ съ удивленіемъ перечитываются нами. И, чтобы говорить о графѣ Толстомъ, глубокое изученіе человѣческаго сердца будетъ неизмѣнно придавать очень высокое достоинство всему, что бы ни написалъ онъ и въ какомъ бы духѣ ни написалъ. Вѣроятно, онъ напишетъ много такого, что будетъ поражать каждаго читателя другими, болѣе эффектными качествами: глубиною идеи, интересомъ концепцій, сильными очертаніями характеровъ, яркими картинами быта— и въ тѣхъ произведеніяхъ его, которыя уже извѣстны публикѣ, этими достоинствами постоянно возвышался интересъ,—но для истиннаго знатока всегда будетъ видно—какъ очевидно и теперь—что знаніе человѣческаго сердца— основная сила его таланта. Писатель можетъ увлекать сторонами болѣе блистательными; но истинно силенъ и проченъ его талантъ только тогда, когда обладаетъ этимъ качествомъ.

Есть въ талантѣ г. Толстого еще другая сила, сообщающая его произведеніямъ совершенно особенное достоинство своею чрезвычайно замѣчательною свѣжестью—чистота нравственнаго чувства. Мы не проповѣдники пуританизма; напротивъ, мы опасаемся его: самый чистый пуританизмъ вреденъ уже тѣмъ, что дѣлаетъ сердце суровымъ, жестокимъ; самый искренній и правдивый моралистъ вреденъ тѣмъ, что ведетъ за собою десятки лицемѣровъ, прикрывающихся его именемъ. Съ другой стороны, мы не такъ слѣпы, чтобы не видѣть чистаго свѣта высокой нравственной идеи во всѣхъ замѣчательныхъ произведеніяхъ литературы нашего вѣка. Никогда общественная нравственность не достигала такого высокаго уровня, какъ въ наше благородное время,— благородное и прекрасное, несмотря на всѣ остатки ветхой грязи, потому что всѣ силы свои напрягаетъ оно, чтобы омыться и очиститься отъ наслѣдныхъ грѣховъ. И литература нашего времени, во всѣхъ замѣчательныхъ своихъ произведеніяхъ, безъ исключенія, есть благород-

ное проявленіе чистѣйшаго нравственнаго чувства. Не то мы хоте сказать, что въ произведеніяхъ графа Толстого чувство это сильн нежели въ произведеніяхъ другого какого-нибудь изъ замѣчательны нашихъ писателей: въ этомъ отношеніи, всѣ они равно высоки и б городны; но у него это чувство имѣетъ особенный оттѣнокъ. У ины оно очищено страданіемъ, отрицаніемъ, просвѣтлено сознательны убѣжденіемъ, является уже только какъ плодъ долгихъ испытаній, чительной борьбы, быть можетъ, цѣлаго ряда паденій. Не то у гра Толстого; у него нравственное чувство не возстановлено только р лексіею и опытомъ жизни, оно никогда не колебалось, сохранилось всей юношеской непосредственности и свѣжести. Мы не будемъ ср нивать того и другого оттѣнка въ гуманическомъ отношеніи, не демъ говоритъ, который изъ нихъ выше по абсолютному значенію это дѣло философскаго или соціальнаго трактата, а не рецензіи — здѣсь говоримъ только объ отношеніи нравственнаго чувства къ д тоинствамъ художественнаго произведенія, и должны признаться, въ этомъ случаѣ непосредственная, какъ бы сохранившаяся во в непорочности отъ чистой поры юношества, свѣжесть нравственн чувства придаетъ поэзіи особенную, трогательную и граціозную о ровательность. Отъ этого качества, по нашему мнѣнію, во многс зависитъ прелесть разсказовъ графа Толстого. Не будемъ доказыва что только при этой непосредственной свѣжести чувства можно бы бы разсказать „Дѣтство“ и „Отрочество“ съ тѣмъ чрезвычайно вѣрны колоритомъ, съ тою нѣжною граціозностью, которыя даютъ истинн жизнь этимъ повѣстямъ. Относительно „Дѣтства“ и „Отрочества“ о видно каждому, что безъ непорочности нравственнаго чувства не в можно было бы не только исполнить эти повѣсти, но и задумать и Укажемъ другой примѣръ — въ „Запискахъ Маркера“: исторію паде души, созданной съ благороднымъ направленіемъ, могъ такъ пора тельно и вѣрно задумать и исполнить только талантъ, сохраниві первобытную чистоту.

Благотворное вліяніе этой черты таланта не ограничивается тѣ разсказами или эпизодами, на которыхъ она выступаетъ замѣтны образомъ на первый планъ: постоянно служитъ она оживительниц освѣжительницею таланта. Что въ мірѣ поэтичнѣе, прелестнѣе чис юношеской души, съ радостною любовью откликающейся на все, представляется ей возвышеннымъ и благороднымъ, чистымъ и прекр нымъ, какъ сама она? Кто не испытывалъ, какъ освѣжается его ду просвѣтляется его мысль, облагораживается все существо присутствіі дѣвственнаго душею существа, подобнаго Корделіи, Офеліи или Дез монѣ? Кто не чувствовалъ, что присутствіе такого существа навѣва поэзію на его душу, и не повторялъ вмѣстѣ съ героемъ г. Турген (въ „Фаустѣ“):

Своимъ крыломъ меня одѣнь,
Волненье сердца утиши,
И благодатна будетъ сѣнь
Для очарованной души.

Такова же сила и нравственной чистоты въ поэзіи. Произведен въ которомъ вѣетъ ея дыханіе, дѣйствуетъ на насъ освѣжительно ми творно, какъ природа, — видъ и тайна поэтическаго вліянія прир

едва ли не заключается въ ея непорочности. Много зависитъ отъ того же вліянія нравственной чистоты и граціозная прелесть произведеній графа Толстого.

Эти 2 черты—глубокое знаніе тайныхъ движеній психической жизни и непосредственная чистота нравственнаго чувства, придающія теперь особенную физіономію произведеніямъ графа Толстого, останутся существенными чертами его таланта. какія бы новыя стороны ни выказались въ немъ при дальнѣйшемъ его развитіи.

Само собой разумѣется, что всегда останется при немъ и его художественность. Объясняя отличительныя качества произведеній графа Толстого, мы до сихъ поръ не упоминали объ этомъ достоинствѣ, потому что оно составляетъ принадлежность, или, лучше сказать, сущность поэтическаго таланта вообще, будучи собственно только собирательнымъ именемъ для обозначенія всей совокупности качествъ, свойственныхъ произведеніямъ талантливыхъ писателей. Но стоитъ вниманія то, что люди, особенно много толкующіе о художественности, наименѣе понимаютъ, въ чемъ состоятъ ея условія. Мы гдѣ-то читали недоумѣніе относительно того, почему въ „Дѣтствѣ“ и „Отрочествѣ“ нѣтъ на первомъ планѣ какой нибудь прекрасной дѣвушки лѣтъ восемнадцати или двадцати, которая бы страстно влюблялась въ какого-нибудь также прекраснаго юношу... Удивительныя понятія о художественности! Да вѣдь авторъ хотѣлъ изобразить дѣтскій и отроческій возрастъ, а не картину пылкой страсти, и развѣ вы не чувствуете, что если бъ онъ ввелъ въ свой разсказъ эти фигуры и этотъ патетизмъ, дѣти, на которыхъ онъ хотѣлъ обратить ваше вниманіе, были бы заслонены, ихъ милыя чувства перестали бы занимать васъ, когда въ разсказѣ явилась бы страстная любовь,—словомъ, развѣ вы не чувствуете, что единство разсказа было бы разрушено, что идея автора погибла бы, что условія художественности были бы оскорблены? Именно для того, чтобы соблюсти эти условія, авторъ не могъ выводить въ своихъ разсказахъ о дѣтской жизни ничего такого, что заставило бы насъ забыть о дѣтяхъ, отвернуться отъ нихъ. Далѣе, тамъ же мы нашли нѣчто въ родѣ намека на то, что графъ Толстой ошибся, не выставилъ картинъ общественной жизни въ „Дѣтствѣ“ и „Отрочествѣ“; да мало ли и другого чего онъ не выставилъ въ этихъ повѣстяхъ? въ нихъ нѣтъ ни военныхъ сценъ, ни картинъ итальянской природы, ни историческихъ воспоминаній, нѣтъ вообще ничего такого, что можно было бы, но неумѣстно и не должно было бы разсматривать; вѣдь авторъ хочетъ перенесть насъ въ жизнь ребенка,—а развѣ ребенокъ понимаетъ общественные вопросы, развѣ онъ имѣетъ понятіе объ обществѣ? Весь этотъ элементъ столь же чуждъ дѣтской жизни, какъ лагерная жизнь, и условія художественности были бы точно такъ же нарушены, если бы въ „Дѣтствѣ“ была изображена общественная жизнь, какъ и тогда, если бъ изображена была въ этой повѣсти военная или историческая жизнь..... Въ „Дѣтствѣ“ и „Отрочествѣ“ умѣстны только тѣ элементы, которые свойственны тому возрасту,—а патріотизму, геройству военной жизни будетъ свое мѣсто въ „Военныхъ разсказахъ“, страшной нравственной пытки—въ „Запискахъ Маркера“, изображенію женщины въ „Двухъ гусарахъ“. Помните ли вы эту чудную фигуру

дѣвушки, сидящей у окна ночью, помните ли, какъ бьется ея сердце, какъ сладко томится ея грудь предчувствіемъ любви?

(Выписка: „Простясь съ матерью Лиза одна пошла въ бывшую дядину комнату..... Послѣднія слова ея: „выбѣжала изъ комнаты?) Графъ Толстой обладаетъ истиннымъ талантомъ. Это значитъ, что его произведенія художественны, то есть въ каждомъ изъ нихъ очень полно осуществляется именно та идея, которую онъ хотѣлъ осуществить въ этомъ произведеніи. Никогда не говоритъ онъ ничего лишняго, потому что это было противно условіямъ художественности, никогда не безобразитъ онъ свои произведенія примѣсью сценъ и фигуръ, чуждыхъ идеѣ произведенія. Именно въ этомъ и состоитъ одно изъ главныхъ требованій художественности. Нужно имѣть много вкуса, чтобы оцѣнить красоту произведеній графа Толстого; но за то человѣкъ, умѣющій понимать истинную красоту, истинную поэзію, видитъ въ графѣ Толстомъ настоящаго художника, то есть поэта съ замѣчательнымъ талантомъ.

Этотъ талантъ принадлежитъ человѣку молодому, съ свѣжими жизненными силами, имѣющему передъ собою еще долгій путь—многое новое встрѣтится ему на этомъ пути, много новыхъ чувствъ будетъ еще волновать его грудь, многими новыми вопросами займется его мысль, — какая прекрасная надежда для нашей литературы, какіе богатые новые матеріалы жизнь даетъ его поэзіи! Мы предсказываемъ, что все, данное донынѣ графомъ Толстымъ нашей литературѣ,—только залоги того, что совершитъ онъ впослѣдствіи; но какъ богаты и прекрасны эти залоги! *).

---

*) „Современникъ“ 1856 г., № 12.

КРИТИКА ШЕСТИДЕСЯТЫХЪ ГОДОВЪ.

1862.

Дѣятельность Толстого, какъ она до сихъ поръ обозначалась, можно раздѣлить собственно на три категоріи: 1) чисто аналитическія произведенія, каковы „Дѣтство и отрочество“, „Юность“; 2) художественные этюды, свидѣтельствующіе о необыкновенной силѣ и особенности таланта, но имѣющіе совсѣмъ характеръ этюдовъ, характеръ чисто внѣшній, каковы „Мятель“ и „Два гусара“, и 3) на результаты анализа, болѣе или менѣе удачные и полные, въ которыхъ художникъ стремится уже къ созданію самостоятельныхъ типовъ, къ воплощенію въ образы того, что добыто имъ посредствомъ анализа. Это или попытки, хотя и удивительныя, но нѣсколько голыя, догматическія, каковы „Записки маркера“, „Встрѣча въ отрядѣ“, „Альбертъ“, „Люцернъ“, „Три смерти“ или совершенно органическія, живыя созданія: „Военные разсказы“ и „Семейное счастіе“.

Разумѣется, такое раздѣленіе справедливо только по отношенію къ общему характеру этихъ произведеній. Элементъ органическій, элементъ художественнаго творчества, присутствуетъ, и притомъ присутствуетъ въ замѣчательной степени въ произведеніяхъ совершенно аналитическихъ; элементы анализа и притомъ самаго смѣлаго входятъ и въ этюды, ибо вся дѣятельность Толстого, вмѣстѣ взятая, есть живая, органическая дѣятельность. Раздѣленіе принято здѣсь только, какъ руководная нить для разъясненія нравственно-художественнаго процесса.

Толстой кинулся прежде всего всѣмъ въ глаза своимъ безпощаднымъ анализомъ. Анализъ поразилъ всѣхъ какъ въ „Дѣтствѣ“ и „Отрочествѣ“, такъ и въ самыхъ „Военныхъ разсказахъ“,—первомъ и полномъ художественномъ выраженіи психическаго процесса.

Какого же свойства этотъ анализъ? съ чего онъ начинается, какъ выражается, куда ведетъ и чѣмъ онъ различенъ отъ анализа другихъ художниковъ-аналитиковъ? Вотъ вопросы, которые должна поставить себѣ для разрѣшенія критика.

У художника, если онъ дѣйствительно художникъ, анализъ не можетъ быть голый: онъ облекается непремѣнно въ поэтическіе образы, онъ приковывается даже иногда къ одному образу, преслѣдующему художника во все продолженіе его дѣятельности и видоизмѣняющемуся сообразно съ ея различными фазисами. Иногда этотъ образъ, этотъ нравственный идеалъ самого художника, раздвояется, какъ напримѣръ у Пушкина—на Онѣгина и Ленскаго, у Лермонтова—на Арбенина и Звѣздича, на Печерина и Грушницкаго. Раздвоеніе образа есть конечно всегда признакъ движенія впередъ самого художника, становящагося въ критическое отношеніе къ преслѣдующему его образу, и результатами своими оно, это раздѣленіе, гораздо богаче мрачно-сосредоточенной односторонности, которая могла вполнѣ узакониться, можетъ быть, только разъ, въ лицѣ Байрона,—да и у того типъ нѣсколько двоится, по крайней мѣрѣ, по отношенію къ краскамъ—на Гарольда и Донъ-Жуана.

Во всякомъ случаѣ у самыхъ объективныхъ, равно какъ у самыхъ субъективныхъ художниковъ, можно доискаться одного главнаго, преслѣдующаго ихъ образа. Чѣмъ художникъ по натурѣ шире, тѣмъ шире и его идеалъ, его любимый образъ, тѣмъ онъ народнѣе; но что нравственная жизнь художника воплощается въ извѣстномъ, видоизмѣняющемся и часто двоящемся образѣ,—это не подлежитъ сомнѣнію.

У Толстого точно также есть этотъ преслѣдующій его образъ, къ которому приковался его анализъ, то лицо, отъ имени котораго разсказываетъ онъ „Дѣтство", „Отрочество" и „Юность" и которое въ „Семейномъ счастьѣ" мѣняетъ только полъ и является женщиной. Образъ этотъ раздвояется—но раздвояется только внѣшне—въ „Запискахъ маркера", въ „Люцернѣ", являясь княземъ Нехлюдовымъ и представляя только крайнія, послѣднія грани того анализа, который отличаетъ героя „Дѣтства, отрочества и юности" отъ другихъ современныхъ героевъ... Онъ и Нехлюдовъ—вовсе не то, что Онѣгинъ и Ленскій, что съ другой стороны Пушкинъ—лирикъ и Пушкинъ—Бѣлкинъ; не то, что Арбенинъ и Звѣздичъ, изъ сліянія которыхъ является Печоринъ, и не то, что Печоринъ и Грушницкій, т. е. идеалъ и пародія. Нехлюдовъ—крайняя грань цѣльнаго психическаго процесса, и мало того,—жизненное послѣдствіе той особенной обстановки такъ называемаго аристократическаго мірка, въ которой онъ заключенъ какъ въ раковинѣ и изъ которой выбивается, очевидно, герой „Дѣтства, отрочества и юности"... Во всякомъ случаѣ психическій процессъ не раздвояется, а только доходитъ до своихъ крайнихъ граней...

Основная черта, поразившая всѣхъ въ психическомъ процессѣ, раскрывавшемся въ произведніяхъ Толстого, была—повторяю еще разъ—анализъ необыкновенно новый и смѣлый, анализъ такихъ душевныхъ движеній, которыхъ еще никто не анализировалъ. Не „пошлость пошлаго человѣка" обличалъ Толстой подобно Гоголю; не смѣялся онъ болѣзненнымъ смѣхомъ Гамлета щигровскаго уѣзда надъ несостоятельностію такъ называемаго развитаго человѣка, какъ Тургеневъ; не противополагалъ онъ, какъ Писемскій, здоровый, хотя и грубоватый, хотя и нѣсколько низменный взглядъ на жизнь мишурѣ сдѣланныхъ, заказныхъ или подогрѣтыхъ чувствованій; не относился, какъ Гончаровъ, къ идеализму во имя узкой практичности, къ праздной мысли во имя

узкаго и условнаго дѣла, но вмѣстѣ съ тѣмъ чувствовалось всѣми, что у него есть что то общее со всѣми, исчисленными стремленіями, что онъ — разумѣется полусознательно, полубезсознательно, какъ всякій художественный талантъ — разработываетъ одну и ту же съ поименованными художниками задачу эпохи. Близкій къ Тургеневу поэтическою нѣжностію чувства и глубокою симпатіею къ природѣ, но діаметрально противоположный ему своей трезвостью взгляда, безпощадною ко всѣмъ мало-мальски необыденнымъ ощущеніямъ, своей враждою ко всякой фальши, какъ бы она ни была блестяща, — онъ этими послѣдними качествами былъ бы всего ближе къ Писемскому, еслибы этотъ реализмъ былъ ему *прирожденъ*, а не *порожденъ* анализомъ. Своимъ внѣшнимъ, враждебно недовѣрчивымъ отношеніемъ къ идеализму, онъ былъ бы сходенъ съ Гончаровымъ, если бы заказнымъ образомъ поставилъ себѣ идеальчикъ въ практичности. Съ другой стороны, своей безпощадностью къ пошлости, таящейся не только въ пошломъ, но и во всякомъ человѣкѣ, онъ какъ будто развиваетъ задачи Гоголя, но онъ не плачетъ ни о какомъ разбитомъ кумирѣ, ни о какомъ условно-прекрасномъ человѣкѣ. Общаго у него со всѣми этими задачами эпохи одно: отрицаніе.

Отрицаніе чего?

Да всего наноснаго, напускнаго въ нашемъ фальшивомъ развитіи. Отрицаніемъ онъ по происхожденію и воспитанію разъединенный съ почвою, старается, какъ всѣ, дорыться до почвы, до простыхъ основъ, до первоначальныхъ словъ. Особенность его въ томъ, что онъ роется глубже всѣхъ другихъ. Онъ не удовлетворяется, какъ Тургеневъ, тѣмъ, чтобы издали благоговѣйно увидѣть почву и поклониться ей въ восторгѣ Моисея, узрѣвшаго обѣтованную землю. Ему (для ясности позволю себѣ сказать примѣромъ) мало того, чтобы почувствовать только черноземную силу въ Уварѣ Иванычѣ, — онъ хотѣлъ бы разгадать и въ самомъ себѣ поднять эту сиднемъ сидящую силу. Онъ не можетъ также, смахнувши слои фальшиваго идеализма, принять, какъ Гончаровъ, за слои настоящіе — столь же наносные, но гораздо болѣе грязные слои практичности и формализма; онъ не останавливается и на тѣхъ, повидимому, прочныхъ, но въ сущности только загрубѣлыхъ слояхъ, на которыхъ твердою ногою стоитъ Писемскій; онъ такъ-же мало способенъ симпатизировать, положимъ хоть Задоръ - Мановскому или даже Павлу Бешметеву, какъ Ельчанинову и Бахтіарову, такъ же мало тетушкѣ ипохондрика Соломонидѣ, какъ и Дурнопечину... Съ идеалами же на воздухѣ, со всякимъ созиданіемъ сверху, а не снизу, съ тѣмъ, что погубило нравственно и даже физически самого Гоголя, онъ способенъ помириться всего менѣе... Онъ только роется въ глубь, добросовѣстно роется, руководимый своимъ необычайнымъ анализомъ, и еще не дорывшись, кончаетъ пантеистическою скорбію „Люцерна“, скорбію за жизнь и ея идеалы, отчаяніемъ за все сколько нибудь искусственное и сдѣланное въ душѣ человѣческой, отчаяніемъ очевиднымъ въ „Трехъ смертяхъ“, изъ которыхъ самою нормальною является смерть дуба, суровою покорностью судьбѣ, нещадящей цвѣта человѣческихъ чувствъ въ „Семейномъ счастьи“, и затѣмъ — апатіею, безъ сомнѣнія временною и переходною.

Апатія ждала непремѣнно на срединѣ такого глубоко-искренняго психическаго процесса, но что она не конецъ его, — въ этомъ, вѣроятно, никто изъ вѣрующихъ въ силу таланта вообще и понявшихъ силу таланта Толстаго даже и не сомнѣвается. Недавно еще такое явленіе, какъ „Мертвый домъ", доказало намъ, что силы не умираютъ, не забываются судьбою, а встаютъ могучѣе послѣ добровольной или принужденной инерціи.

Начала того отрицательнаго процесса, котораго Толстой является вмѣстѣ съ другими представителемъ и вмѣстѣ съ тѣмъ современною жертвою, лежатъ не въ Гоголѣ, а въ Пушкинѣ. Гоголь вмѣстѣ съ другими, хотя и глубже всѣхъ другихъ доводилъ до извѣстныхъ граней задачи, указанныя Пушкинымъ.

Говоря о Толстомъ, какъ объ одномъ изъ самыхъ значительныхъ представителей нашего отрицательнаго процесса, не минуешь нѣкотораго повторенія того, что уже нѣсколько разъ высказывалъ я о началѣ, объ исходной точкѣ этого процесса.

До сихъ поръ еще только въ цѣльной натурѣ Пушкина, въ ея борьбѣ съ различными тревожившими ее и пережитыми ею идеалами, заключается для насъ слово разгадки нашихъ стремленій. . Типъ Ивана Петровича Бѣлкина былъ почти любимымъ типомъ поэта въ послѣднюю эпоху его дѣятельности. Какое же—спрошу я опять, но послѣ многихъ толковъ моихъ во „Времени" спрошу настоятельнѣе—какое душевное состояніе выразилъ намъ поэтъ въ этомъ типѣ и каково его собственное душевное отношеніе къ этому типу, влѣзая въ кожу котораго, принимая жизненныя воззрѣнія котораго, онъ разсказываетъ намъ множество добродушныхъ исторій, на первый разъ даже неправящихся своимъ добродушіемъ и простотою, но въ сущности таящихъ въ себѣ задачи весьма глубокія?...

Въ типѣ Бѣлкина, который такъ полюбился нашему поэту, выразились начала нашего отрицательнаго (въ отношеніи къ нашему напряженному развитію) процесса.

Что же такое этотъ пушкинскій Бѣлкинъ,—тотъ самый Бѣлкинъ, который проглядываетъ потомъ подъ другими формами въ повѣстяхъ Тургенева, — которому въ произведеніяхъ Писемскаго страшно хотѣлось взять верха надъ фальшиво-блестящимъ и фальшиво-страстнымъ типомъ, которому съ излишкомъ, черезъ мѣру даетъ права Толстой, — котораго нѣсколько иронически, но съ невольною симпатіею повторяетъ даже Лермонтовъ въ Максимѣ Максимычѣ.

Бѣлкинъ пушкинскій есть простой здравый толкъ и простое здравое чувство, кроткое и смиренное, толкъ, вопіющій противъ всякой блестящей фальши, чувство, возстающее законно на злоупотребленія нами нашей широкой способности понимать и чувствовать. Стало быть, въ сущности это начало только отрицательное, и право оно только, какъ отрицательное, ибо представьте его самому себѣ,—оно способно перейти въ застой, мертвящую лѣнь, хамство Фамусова и добродушное взяточничество Юсова.

Посмотрите на этотъ отрицательный типъ у самого Пушкина вездѣ, гдѣ онъ у него самолично является, или гдѣ поэтъ повѣствуетъ въ его тонѣ, съ его взглядомъ на жизнь. Запуганный страшнымъ призракомъ Сильвіо, его мрачной сосредоточенностью въ одномъ дѣлѣ, въ одной

мстительной мысли, онъ еще не сомнѣвается въ томъ, что Сильвіо *можетъ* существовать. Онъ знаетъ только, что онъ самъ вовсе не Сильвіо, и боится этого типа. „Нѣтъ ужъ - говоритъ онъ — лучше пойду къ людямъ попроще!“ и первый опускается въ простые, такъ называемые низменные слои жизни...

Читатели помнятъ, вѣроятно, мѣсто въ отрывкахъ главы, не вошедшей въ поэму Онѣгина и нѣкогда предназначавшейся поэтомъ на то, чтобы привести существованіе Онѣгина въ многообразныя столкновенія съ русской жизнью и почвой (какъ свидѣтельствуютъ уцѣлѣвшія строфы), привести эту праздную, тяготящуюся собою жизнь на разныя очныя ставки съ дѣятельною, сурово-хлопотливою, дѣйствительною жизнью. Эти отрывки, хотя они и отрывки, въ высшей степени знаменательны для уразумѣнія нашего отрицательнаго процесса.

Въ этихъ отрывочныхъ строфахъ Онѣгинъ является для насъ съ совершенно новой стороны, какъ личность, которой, несмотря на всю бурно-прожитую, тревожную жизнь, все-таки некуда дѣвать своихъ силъ, своего здоровья, своей жизненности.

Зачѣмъ, какъ тульскій засѣдатель,
Я не лежу въ параличѣ?
Зачѣмъ не чувствую въ плечѣ
Хоть ревматизма? Ахъ, создатель!
Я молодъ, жизнь во мнѣ крѣпка...
Чего мнѣ ждать? Тоска, тоска!

И, разумѣется, тоскою о томъ, что много еще силъ, много еще здоровья и крѣпости жизни долженъ былъ кончить Онѣгинъ, какъ отраженіе извѣстнаго момента нашего нравственнаго развитія процесса, но не тоскою только, а поворотомъ къ почвѣ кончаетъ живая, многообъемлющая натура самого поэта:

Порой дождливою намедни
Я завернулъ на скотный дворъ ..
Тьфу! прозаическія бредни,
Фламандской школы пестрый соръ!
Таковъ ли былъ я расцвѣтая?
Скажи фонтанъ Бахчисарая,
Такія ль мысли мнѣ на умъ
Взводилъ твой безконечный шумъ?

Эта выходка поэта—не столько негодованіе на прозаизмъ и мелочность окружающей его жизненной обстановки, сколько невольное сознаніе того, что этотъ прозаизмъ имѣетъ неотъемлемыя права надъ душою, что онъ въ душѣ остался какъ отсадокъ послѣ всего кипучаго броженія, послѣ всѣхъ напряженій и тщетныхъ попытокъ окаменѣть въ байроновскихъ формахъ. И тщета этой борьбы съ собственною душею, и негодованіе на то, что послѣ борьбы остался такой отсадокъ, негодованіе, подъ которымъ уже кроется любовь къ почвѣ—одинаково знаменательны:

Какія-бъ чувства не таились
Тогда во мнѣ,—теперь ихъ нѣтъ.
Они прошли иль измѣнились....
Миръ вамъ, тревоги прошлыхъ лѣтъ!
Въ ту пору мнѣ казались нужны
Пустыни, водъ края жемчужны,

И моря шумъ и груды скалъ,
И гордой дѣвы идеалъ,
И безыменныя страданья...
Другіе дни, другіе сны!...
Смирились вы моей весны
Высокопарныя мечтанья,
И въ поэтическій бокалъ
Воды я много подмѣшалъ...
Иныя нужны мнѣ картины:
Люблю песчаный косогоръ,
Передъ избушкой двѣ рябины.
Калитку, сломанный заборъ,
На небѣ сѣренькія тучи,
Передъ гумномъ соломы кучи
Да прудъ подъ сѣнью ивъ густыхъ,
Раздолье утокъ молодыхъ...
Теперь милый мнѣ балалайка,
Да пьяный шепотъ трепака
Передъ порогомъ кабака;
Мой идеалъ теперь хозяйка,
Мои желанія — покой
Да щей горшокъ, да самъ большой

Поразительна эта простодушнѣйшая смѣсь ощущеній самыхъ разнородныхъ, — негодованія и желанія набросить на картину колоритъ самый сѣрый, съ невольной любовью къ картинѣ, съ чувствомъ ея особенной, самобытной красоты... Это чувство — наше родное, такъ сказать, наше типовое чувство.. Оно только что очнулось отъ тревожно лихорадочнаго сна, только что вырвалось изъ кипящаго страшнымъ броженіемъ омута. Оно оглядывается на божій свѣтъ, встряхиваетъ кудрями, чувствуетъ, что все вокругъ его тоже, такое же, какъ было до сна; чувствуетъ вмѣстѣ съ тѣмъ, что и само оно то же, такое же, какимъ было до борьбы съ призраками и юношески недовольно тѣмъ, что оно свѣжо и молодо послѣ всѣхъ схватокъ съ подводными чудовищами....

И вотъ, когда поэтъ въ эпоху зрѣлости самосознанія привелъ для самого себя въ очевидность всѣ повидимому противоположныя стремленія собственной своей натуры, то прежде всего правдивый и искренній, онъ умалилъ, принизилъ самого себя, когда-то „Плѣнника“, у котораго

на челѣ его высокомъ
Не измѣнилось ничего,

когда-то „Алеко“, который говоритъ про себя:

Я не таковъ .. нѣтъ! я не споря
Отъ правъ своихъ не откажусь, и проч.

до смиреннаго типа Бѣлкина.

Въ этомъ типѣ узаконилось—но только на время, только отрицательно, какъ критическій отсадокъ—стремленіе къ почвѣ, поворотъ къ ея требованіямъ. Въ этотъ образъ пошла далеко не вся великая личность поэта, ибо Пушкинъ вовсе не думалъ отрекаться отъ прежнихъ своихъ сочувствій или считать ихъ противозаконными, какъ это иногда готовы дѣлать мы въ порывахъ усердія къ почвѣ. Да и трудно, конечно, представить себѣ, дѣйствительно, Иваномъ Петровичемъ Бѣлкинымъ натуру, которая и прежде мѣрялась, да и потомъ не переста-

вала мѣряться своими силами съ самыми могучими типами, ибо въ то же самое время геній поэта проникалъ въ мрачно-сосредоточенную душу Сальери и въ вѣчно жаждущую жизни натуру Донъ-Жуана, стало быть вовсе не замыкался исключительно въ существованіе Бѣлкина.

Бѣлкинъ для Пушкина вовсе не герой его, а больше ничего, какъ критическая сторона души. Мы были бы народъ, весьма нещедро надѣленный природою, если бы героями нашими были пушкинскій Бѣлкинъ, лермонтовскій Максимъ Максимычъ и даже честный кавказскій капитанъ въ «Рубкѣ лѣса» Толстого. Значеніе всѣхъ этихъ типовъ въ томъ, что они критическіе контрасты блестящаго и, такъ сказать, хищнаго типа, котораго величіе оказалось на нашу душевную мѣрку несостоятельнымъ, а блескъ—фальшивымъ. Значеніе ихъ, кромѣ того, въ протестѣ,—протестѣ всего смиреннаго, загнаннаго, но между тѣмъ, основаннаго на почвѣ, на нашей природѣ - противъ гордыхъ и страстныхъ до необузданности началъ, противъ широкаго размаха силъ, оторвавшихся отъ связи съ почвою.

Придать этой сторонѣ души нашей исключительное, героическое, значитъ, впасть въ другую крайность, ведущую къ застою и закиси. Максимъ Максимычъ и капитанъ Толстого, конечно, люди очень честные и безъ всякой похвальбы храбрые; они нисколько не рисуются, нисколько не натягиваютъ своей простой природы на сильныя страсти и глубокія страданія,—но вѣдь, согласитесь, что съ ними немыслима никакая исторія. Изъ нихъ не выйдутъ, конечно, Стеньки Разины, да зато не выйдутъ и Минины. Увы! на однихъ добрыхъ и смирныхъ людяхъ, умѣй они даже и умирать такъ, какъ умираетъ солдатъ Веленчукъ у Толстого, будь они благодушны до пантеистической любви ко всей твари, какъ старикъ Агаѳонъ у Островскаго,—далеко не уѣдешь. Для жизни страстное начало нужно, закваска нужна.

Глубоко понималъ это геніальнымъ чутьемъ своимъ Пушкинъ, и потому до сихъ поръ даже, послѣ Максима Максимыча, къ которому самъ Лермонтовъ относится, впрочемъ, съ ироніею послѣ однодворца Савелья Писемскаго, послѣ капитана Храброва Толстого—его Бѣлкинъ все-таки единственно правильное узаконеніе критической стороны нашей души..

Типъ простого и смирнаго человѣка, впервые художественно выдвинутый на сцену Пушкинымъ въ лицѣ его Бѣлкина, съ тѣхъ поръ подъ различными формами является въ нашей литературѣ: то въ лицѣ простого, тоже смирнаго, но храбраго и честнаго, хотя нѣсколько ограниченнаго по натурѣ человѣка, каковъ Максимъ Максимычъ Лермонтова; то въ лицѣ загнаннаго судьбой человѣка, который постоянно спасуетъ передъ хищнымъ и блестящимъ типомъ—у Тургенева; то въ лицѣ простого же, но страстнаго человѣка, надѣленнаго сильной, но неразвитой природою, который тоже пасуетъ въ жизни передъ внѣшне-блестящимъ, но внутренно-пустымъ типомъ—у Писемскаго, то въ лицѣ человѣка наконецъ, котораго глубокій анализъ довелъ до сознанія исключительной законности типа простого человѣка передъ блестящимъ, но постоянно поднимающимся на моральныя ходули типомъ, до невѣрія даже въ возможность реальнаго бытія такого ходульнаго типа—какъ у Толстого. Пушкина Бѣлкинъ еще вѣритъ въ существованіе мрачнаго, сосредоточеннаго Сильвіо; Лермонтовъ еще иронически сочувствуетъ своему Максиму Максимычу и, къ сожалѣнію, еще вѣритъ

въ своего Печорина; Тургеневъ, сочувствуя глубоко и болѣзненно своему загнанному человѣку, не только вѣритъ въ блестящіе и страстные типы, но самъ ими увлекается; Писемскій явно негодуетъ на торжество фальшиво-блестящаго надъ простымъ и безыскуственнымъ. Толстой анализируетъ, и анализомъ доходитъ до положительнаго невѣрія во всякое сколько-нибудь *приподнятое* чувство. Между тѣмъ его невѣріе— не прозаизмъ, нѣсколько грубоватый, Писемскаго, и съ другой не та искусственая практичность, которая заставляетъ Гончарова предпочесть Штольца романтику Обломову. Невѣріе Толстого - результатъ глубокаго анализа, часто доходящаго до крайностей, часто разбивающаго свои собственныя основы, но никогда почти не увлекающагося извѣстными сочувствіями и антипатіями.

Прежде чѣмъ разъяснить значеніе анализа Толстого, я долженъ предупредить о томъ, почему исчисляя различныя отношенія нашихъ писателей къ двумъ типамъ, я не сказалъ ни слова о ярко-замѣчательномъ отношеніи къ нимъ Островскаго и Ѳ. Достоевскаго? То и другое отношеніе, какъ это будетъ объяснено въ свое время и въ своемъ мѣстѣ, совершенно оригинально. Въ идеалахъ чуждой намъ жизни искали Пушкинъ и Тургеневъ блестящихъ типовъ; въ глубинѣ народной жизни ищутъ какъ Островскій, такъ и Достоевскій—и широкихъ типовъ, какъ напримѣръ типъ Петра Ильича и многія изъ лицъ „Мертваго дома", такъ ровно и смирныхъ. Смирные ихъ типы нельзя назвать, въ противоположность типамъ широкимъ, простыми, потому что и широкіе ихъ типы взяты изъ народной жизни.

Сдѣлавши эту необходимую оговорку, возвращаюсь къ Толстому.

Анализъ Толстого дошелъ до глубочайшаго невѣрія во всѣ „приподнятыя", „необыденныя" чувства души человѣческой. Въ этомъ его высокое значеніе, въ этомъ же и его односторонность. Анализъ разбилъ готовые, сложившіеся, *отчасти* чужіе намъ идеалы силы, страсти, энергіи. Въ русской жизни онъ, какъ и всѣ, видитъ—только отрицательный типъ простаго и смирнаго человѣка — и привязался къ нему всей душою. Вездѣ слѣдитъ онъ идеалъ простоты душевныхъ движеній; въ горести няни («въ Дѣтствѣ и Отрочествѣ») о смерти матери героя,— горести, противополагаемой имъ нѣсколько эффектной, хотя и глубокой скорби старой графини; въ смерти солдата Веленчука, въ честной и простой храбрости капитана Храброва, явно превосходящей въ его глазахъ несомнѣнную же, но крайне эфектную храбрость, одного изъ кавказскихъ героевъ à la Марлинскій; въ покорной смерти простого человѣка, противопоставленной смерти страдающей, но капризно страдающей барыни.... Но во первыхъ, несмотря на свою глубокую искренность, можетъ быть, именно вслѣдствіе задачи, поставленной въ искренности анализа, Толстой иногда и пересаливаетъ въ своей строгости къ „приподнятымъ" чувствамъ. Не многіе, напримѣръ, будутъ съ нимъ согласны, насчетъ большой глубины горя няни передъ горемъ старухи-графини. Во-вторыхъ этотъ анализъ, дошедшій до любви къ смирному типу, преимущественно по невѣрію въ блестящій и хищный типъ, въ концѣ концовъ, не опираясь на почву, дающую оба типа, ведетъ къ какому-то пантеистическому отчаянію, очевидному въ „Люцернѣ", „Альбертѣ" и выразившемуся еще прежде въ „Запискахъ маркера". Въ третьихъ, наконецъ, этотъ анализъ обращается въ какой-то безсодер-

жательный, въ анализъ анализа, своею безсодержательностію приводящій къ скептицизму и къ подрыву всякихъ душевныхъ чуствъ. Ключъ къ концамъ этого анализа — это смерть, дуба въ „Трехъ смертяхъ", смерть, поставленная сознаніемъ выше смерти не только развитой барыни, но и выше смерти простого человѣка. Вѣдь отсюда одинъ шагъ къ нигилизму.

Правъ этотъ анализъ только въ казни, безпощадно совершаемой имъ надъ всѣмъ фальшивымъ, чисто сдѣланнымъ въ ощущеніяхъ современнаго человѣка, котораго Лермонтовъ суевѣрно обоготворилъ въ своемъ Печоринѣ. А правъ онъ вотъ почему.

Въ стремленіи къ идеалу или на пути духовнаго совершенствованія, всякаго стремящагося ожидаютъ два подводныхъ камня: отчаяніе отъ сознанія своего собственнаго несовершенства, изъ котораго есть еще выходъ, и неправильное, непрямое отношеніе къ своему несовершенству, которое почти совершенно безвыходно. Что человѣку непріятно и тяжело сознавать свои слабыя стороны, это, конечно, не подлежитъ ни малѣйшему сомнѣнію; задача здѣсь заключается преимущественно въ томъ, чтобы къ этимъ слабымъ сторонамъ своимъ отнестись съ полною, безпощадною справедливостью. Самое обыкновенное искушеніе въ этомъ случаѣ—уменьшить въ собственныхъ глазахъ свои недостатки. Но есть искушеніе несравненно болѣе тонкое и опасное, именно—преувеличить свои слабости до той степени, на которой онѣ получаютъ извѣстную значимость и, пожалуй даже, по извращеннымъ понятіямъ современнаго человѣка, величавость и обаятельность зла. Мысль эта станетъ совершенно понятна, если я напомню обаятельную атмосферу, которая разлита вокругъ образовъ—не говорю уже Манфреда, Лары, Гяура—но Печорина и Ловласа: психологическій фактъ, весьма нерѣдкій съ тѣхъ поръ какъ

Британской музы небылицы
Тревожатъ сонъ отроковицы.

Возьмите какую угодно страсть и доведите ее въ вашемъ представленіи до извѣстной степени энергіи, поставьте ее въ борьбу съ окружающею ея обстановкою,—ваше трагическое воззрѣніе закроетъ отъ васъ всѣ мелкія пружины ея дѣятельности. Эгоизму современнаго человѣка несравненно легче помириться въ себѣ съ крупнымъ преступленіемъ, чѣмъ съ мелкой и пошлой подлостью; гораздо пріятнѣе вообразить себя Ловласомъ, чѣмъ гоголевскимъ Собачкинымъ, скупымъ рыцаремъ, чѣмъ Плюшкинымъ, Печоринымъ, чѣмъ Меричемъ; даже ужъ если на то пошло, Грушницкимъ, чѣмъ Милашинымъ Островскаго, потому что Грушницкій хоть умираетъ эффектно! Сколько лягушекъ надуваются по этому случаю въ воловъ въ насъ самихъ и вокругъ насъ! сколько людей *желаютъ* показаться себѣ и другимъ *преступными*, когда они сдѣлали только *пошлость!* сколько гаденькихъ чувственныхъ поползновеній стремятся принять въ насъ размѣры колосальныхъ страстей! Хлестаковъ, даже Хлестаковъ, и тотъ зоветъ городничиху „удалиться подъ сѣнь струй"! Меричъ въ „Бѣдной невѣстѣ" самодовольно проситъ Марью Андреевну простить его, что онъ возмутилъ міръ ея невинной души! Тамаринъ радъ радехонекъ, что его зовутъ демономъ!

Такимъ образомъ даже и до наступленія той минуты, съ которої въ натурѣ нравственной должно начаться правильное, т. е. комическое отношеніе къ собственной мелочности и слабости, гордость вмѣсто спрямого поворота предлагаетъ намъ изворотъ. Изворотъ же заключается въ томъ, чтобы поставить на ходули безсильную страстность души, признать ея требованія все-таки правыми; переживши минуты презрѣнія къ самому себѣ и къ своей личности, сохранить однако вражду и презрѣніе къ дѣйствительности.

Вотъ въ казни этого-то психическаго изворота и правъ вполнѣ анализъ Толстого, правѣе, чѣмъ анализъ Тургенева, иногда и даже нерѣдко кадящій нашимъ фальшивымъ сторонамъ, и съ другой стороны—правѣе, чѣмъ анализъ Гончарова, ибо казнитъ во имя глубокой любви къ правдѣ и искренности ощущеній, а не во имя узкой, бюрократической практичности; правѣе и анализа Писемскаго, ибо онъ знаетъ глубоко, знаетъ какъ Лермонтовъ современнаго человѣка, Писемскій же рисуетъ его болѣе по наслышкѣ и наглядкѣ и потому часто не достигаетъ своей цѣли, утрируя его иногда до каррикатурности.

Неправъ же анализъ Толстого не только по вышеизложеннымъ причинамъ и не только потому, что не опирается на народную почву, но еще и потому, что не придаетъ значенія блестящему *дѣйствительно* и хищному *дѣйствительно* типу, который и въ природѣ и въ исторіи имѣетъ свое оправданіе, т. е. оправданіе своей возможности и реальности.

Не только мы были бы народъ не щедро одаренный природою, если бы мы видѣли свои идеалы въ однихъ смирныхъ типахъ—будь это Максимъ Максимычъ или капитанъ Храбровъ, даже и смирные типы Островскаго, – но пережитые нами съ Пушкинымъ и Лермонтовымъ типы—чужіе намъ только отчасти, только можетъ быть по своимъ формамъ и по своему такъ-сказать лоску. Пережиты они нами потому собственно, что къ воспринятію ихъ наша природа столь же способна, какъ и всякая европейская. Не говоря уже о томъ, что у насъ въ исторіи были хищные типы и не говоря о томъ, что Стеньку Разина изъ міра эпическяхъ сказаній народа не выживешь, — нѣтъ, самые въ чуждой намъ жизни сложившіеся типы не чужды намъ и у нашихъ поэтовъ облекались въ своеобразныя формы. Вѣдь тургеневскій Василій Лачиновъ—XVIII вѣкъ, но русскій XVIII вѣкъ, а ужъ его, напримѣръ, страстный и беззаботно прожигающій жизнь Веретьевъ—и подавно.

Стремленіе Пушкина къ блестящимъ, хотя повидимому чуждымъ намъ идеаламъ имѣетъ глубокія причины въ свойствахъ самой русской натуры. Потому-то, влѣзая въ кожу Бѣлкина, онъ все-таки не переставалъ быть ни Алеко, ни Донъ-Жуаномъ, хотя Толстой едва-ли повѣритъ напримѣръ жаждѣ мщенія, выражающейся въ извѣстной тирадѣ Алеко:

Я не таковъ... нѣтъ! я не споря
Отъ правъ моихъ не откажусь и проч.

И Толстой будетъ правъ, какъ и Писемскій, каррикатурно—зло, но вѣрно изображая Батманова и Хазарова, „драпирующійся плащемъ Ромео“, но правъ только по отношеніи къ пародіи на типъ страстнаго и сильнаго человѣка, а не по отношенію къ самому типу. Тѣмъ не

менѣе правы они будутъ, если русской натурѣ припишутъ только одинъ идеалъ „смирнаго человѣка“.....

Пока наша природа съ ея богатыми стихійными началами и съ безпощаднымъ здравымъ смысломъ живетъ еще сама по себѣ, т. е. живетъ безсознательно, безъ столкновенія съ другими живыми организмами, какъ то было до петровской реформы,—она еще спокойно вѣритъ въ свою стихійную жизнь, еще не разлагаетъ своихъ стихійныхъ началъ. Сложившійся типъ еще крѣпокъ. Еще онъ всецѣло поддерживается „Домостроемъ“ попа Сильвестра. Вы нисколько не возмутитесь тѣмъ, что напримѣръ посланникъ Алексѣя Михайловича во Франціи Потемкинъ, оскорбленный откупщикомъ „маршалка де-Граммона“, хотѣвшаго взять пошлину съ окладовъ св. иконъ, ругаетъ его: „врагомъ креста Христова и псомъ несытымъ“ и знать не хочетъ, что откупщикъ просто-на-просто дѣйствуетъ на основаніи *своихъ* правъ.

Вы не возмущаетесь и тѣмъ, что въ другую, еще только внѣшне-породнившуюся съ развитіемъ эпоху, Денису Фонвизину въ варшавскомъ театрѣ звуки польскаго языка кажутся *подлыми*, и скорѣе восхищаетесь злой оригинальностью его замѣчанія въ родѣ того, что «разсудка французъ не имѣетъ, да и имѣть его почелъ бы за величайшее несчастіе». Всѣ эти черты стараго, крѣпкаго, еще мало возмущеннаго въ коренныхъ своихъ основахъ типа вамъ не только понятны, но даже и любезны.

И вдругъ этотъ вѣками сложенный типъ, эта богатая, но еще нетронутая стихійная природа поставлена—и поставлена уже не случайно, не на время, а навсегда, въ столкновеніе съ иною, дотолѣ чуждою ей жизнью, съ иными, столь же крѣпко, но роскошно и полно сложившимися идеалами. Пусть на первый разъ она, какъ Фонвизинъ, отнеслась къ этимъ чуждымъ ей типамъ только критически... Неминуемо долженъ совершится другой процессъ.

Тронутыя съ мѣста стихійныя начала встаютъ, какъ морскія волны, поднятыя бурей; начинается страшная ломка, выворачивается вся внутренняя бездонная пропасть.

Оказывается, какъ только разложится старый, исключительный типъ,—что у насъ есть сочувствіе къ идеаламъ, т. е. существуютъ стихіи для созданія идеаловъ. Сущность наша—типовая мѣра, душевная единица разложилась, и на первый разъ дѣйствуютъ только многообразныя силы страшныя, дикія, необузданныя. Каждая изъ этихъ силъ хочетъ сдѣлаться центромъ души и, пожалуй, могла бы, если бы не было другой, третьей, многихъ, равно просящихъ работы, равно зиждительныхъ и, пожалуй, равно разрушительныхъ, и если бы, кромѣ того, въ ней самой, въ этой силѣ, какъ и во всѣхъ другихъ, не заключалась равномѣрная отрицательная сторона, неумолимо указывающая на всѣ неправильныя, чудовищныя или смѣшныя уклоненія, противныя типовой душевной мѣрѣ,—мѣрѣ, которая все-таки лежитъ на днѣ бурнаго процесса.

Способность силъ доходить до крайнихъ предѣловъ, соединенная съ типовою, болѣзненно-критическою отрыжкою, порождаетъ состояніе страшной борьбы. Въ этой борьбѣ неминуемо закруживаются натуры могущественныя, но не гармоническія. Такая борьба—періодъ русскаго романтизма...

Наши великіе умы, бывшіе доселѣ, рѣшительно представляются съ этой точки могучими заклинателями страшныхъ силъ, пробующими во всѣхъ направленіяхъ служебную дѣятельность совершенно выпустить на свободу эти грозныя порожденія бездны. Стоитъ только стихіи вырвется изъ центра на периферію, чтобы по общему закону организмовъ она стала обособляться, сосредоточиваться около собственнаго центра и наконецъ получила цѣльное, реальное бытіе.

И тогда горе заклинателю, который выпустилъ ее изъ центра, и это горѐ неминуемо ждетъ всякаго заклинателя, поскольку онъ человѣкъ... Пушкина скосила отдѣлившаяся отъ него стихія Алеко; Лермонтова—тотъ страшный образъ, который сіялъ передъ нимъ „какъ царь нѣмой и гордый“ и отъ мрачной красоты котораго самому ему „было страшно и душа тоскою сжималася“; Кольцова та раздражительная и начинавшая во всемъ сомнѣваться стихія, которую тщетно заклиналъ онъ своими „думами.“ А сколько могучихъ, но не гармоническихъ личностей закруживали стихійныя начала: Милонова, Кострова—въ прошломъ вѣкѣ, Полежаева, Мочалова—на нашей памяти.

Да не скажутъ, чтобы я здѣсь игралъ словами. Стихійное вовсе не то, что *личность*. Личность Пушкина не Алеко и вмѣстѣ съ тѣмъ не Иванъ Петровичъ Бѣлкинъ, отъ лица котораго онъ любилъ разсказывать свои повѣсти: личность Пушкинская—самъ Пушкинъ, заклинатель и властелинъ многообразныхъ стихій, какъ личность лермонтовская не самъ Арбенинъ и Печоринъ, а самъ онъ, еще невѣдомый избранникъ и, можетъ быть, по словамъ Гоголя, „будущій великій живописецъ русскаго быта“. Прасолъ Кольцовъ, умѣвшій ловко вести свои торговыя дѣла, спасъ бы намъ надолго жизнь великаго лирика Кольцова, если бы не пожрала его, вырвавшись за предѣлы, та раздражающаяся дѣйствительностью, недовольная, слишкомъ впечатлительная сила, которую не всегда заклиналъ онъ своей возвышенной и трогательной молитвою:

О гори лампада
Ярче предъ распятьемъ!
Тяжелы мнѣ думы,
Сладостна молитва.

Въ Пушкинѣ по преимуществу, какъ въ первомъ цѣльномъ очеркѣ русской натуры,—очеркѣ, въ которомъ обозначились и объемъ и границы ея сочувствій,—отразилась эта борьба, высказался этотъ моментъ нашей духовной жизни, хотя великій мужъ былъ и не рабомъ, а властелиномъ и заклинателемъ этого страшнаго момента.

Поучительна въ высшей степени исторія душевной борьбы Пушкина съ различными идеалами, борьбы,—изъ которой онъ выходитъ всегда самимъ собою, особеннымъ типомъ, совершенно новымъ. Ибо что напримѣръ общаго между Онѣгинымъ и Чайльдъ-Гарольдомъ Байрона? что общаго между пушкинскимъ и байроновскимъ или мольеровскимъ французскимъ или наконецъ испанскимъ Донъ-Жуаномъ?... Это типы совершенно различные, ибо Пушкинъ, по словамъ Бѣлинскаго, былъ *представителемъ міра русскаго*, *человѣчества русскаго*. Мрачный сплинъ и язвительный скептицизмъ Чайльдъ-Гарольда замѣнился въ лицѣ Онѣгина хандрою отъ праздности, тоскою человѣка, который внутри себя гораздо проще, лучше и добрѣе своихъ идеаловъ, кото-

рый надѣленъ критическою способностью здороваго русскаго смысла, т. е. прирожденною, а не пріобрѣтенною критической способностью, который—критикъ, потому что даровитъ, а не потому что озлобленъ, хотя самъ и хочетъ искать причинъ своего критическаго настройства въ озлобленіи, и которому та же критическая способность можетъ, того и гляди, указать средство выйти изъ ложнаго и напряженнаго положенія на ровную дорогу.

Съ другой стороны Донъ Жуанъ южныхъ легендъ—это сладострастное кипѣніе крови, соединенное съ демонски-скептическимъ началомъ, на которое намекаетъ великое созданіе Мольера и которымъ до опьяненія восторгается нѣмецъ Гофманъ. Эти свойства обращаются въ созданіи Пушкина въ какую-то безпечную, юную, безграничную жажду наслажденія, въ сознательное даровитое чувство красоты, въ способность «*по узенькой пятнѣ*» дорисовать весь образъ женщины, способность находить «странную пріятность» въ потухшемъ взорѣ и помертвѣлыхъ глазкахъ черноокой Инесы; типъ создается однимъ словомъ изъ южной, даже африканской страстности, но смягченной русскимъ тонко-критическимъ чувствомъ, — изъ чисто русской удали, безпечности,— какой-то дерзкой шутки прожигаемою жизнью, какой-то безусталой гоньбы за впечатлѣніями такъ что чуть впечатлѣніе принято душою,—душа уже далеко, и только «на снѣговой порошѣ» остался слѣдъ «не зайки, не горностайки», а Чурилы Пленковича, этого Донъ-Жуана миѳическихъ временъ, порожденія нашей народной фантазіи.

Эта поучительная для насъ борьба—и въ геніально-юношескомъ лепетѣ кавказскаго плѣнника, и въ Алеко, и Гиреѣ (не даромъ же печальной памяти „Маякъ" объявлялъ героевъ Пушкина уголовными преступниками!), и въ Онѣгинѣ, и въ ироническомъ, лихорадочномъ и вмѣстѣ сухомъ тонѣ «Пиковой дамы», и въ отношеніяхъ Ивана Петровича Бѣлкина къ мрачному Сильвіо въ повѣсти «Выстрѣлъ». На каждой изъ этихъ ступеней—борьба стóитъ подробнѣйшаго изученія.... Но что вездѣ особенно поразительно, такъ это постоянная непослѣдовательность живой и самобытной души, ея упорная непокорность усвоенному ей типу, при постоянной послѣдовательности умственной, послѣдовательности пониманія и усвоенія типа. Ясно видно, что въ типѣ есть для этой души что-то неотразимо влекущее и есть вмѣстѣ съ тѣмъ что-то такое, чему она постоянно измѣняетъ, чтò, стало—быть, рѣшительно не по ней.

Кружась въ водоворотѣ этого омута, наше сознаніе видѣло такіе сны, и образы этихъ сновъ такъ явно въ немъ отпечатлѣлись, что въ призрачной борьбѣ съ ними, или, лучше сказать, мѣряясь съ ними, оно ощутило въ себѣ силы необъятныя, силы на созданіе самобытныхъ идеаловъ. Какимъ же образомъ, извѣдавши «добрая и злая», можетъ оно остаться при однихъ чисто-отрицательныхъ типахъ?

Вопросъ объ отношеніи нашихъ писателей къ двумъ типамъ—вопросъ очень важный. Толстой представляетъ крайнюю грань односторонняго отношенія, грань замѣчательную не только по своей односторонности, но и потому еще, что любовь къ отрицательному смирному типу родилась у нашего автора не непосредственно, какъ у писателей народной эпохи литературы, а вслѣдствіе глубокаго анализа

Душевный процессъ, который раскрывается намъ въ «Дѣтствѣ и Отрочествѣ» и первой половинѣ «Юности» — процессъ необыкновенно оригинальный. Герой этихъ замѣчательныхъ психологическихъ этюдовъ родился и воспитался въ средѣ общества, столь искусственно сложившейся, столь исключительной, что она въ сущности не имѣетъ реальнаго бытія, въ сферѣ такъ называемой аристократической, въ сферѣ высшаго свѣта. Неудивительно, что эта сфера образовала Печорина — самый крупный свой фактъ — и нѣсколько болѣе мелкихъ явленій, каковы герои разныхъ великосвѣтскихъ повѣстей. Удивительно, а вмѣстѣ съ тѣмъ и знаменательно то, что изъ нея, этой узкой сферы, выходитъ, т. е. отрѣшается отъ нея посредствомъ анализа, герой разсказовъ Толстого. Вѣдь не вышелъ же изъ нея, несмотря на весь свой умъ, Печоринъ; не вышли же изъ нея герои графа Саллогуба и г-жи Евгеніи Туръ!... А съ другой стороны становится понятнымъ, когда читаешь этюды Толстого, какимъ образомъ, несмотря на ту же исключительную сферу, натура Пушкина сохранила въ себѣ живую струю народной широкой и общей жизни, способность и понимать эту живую жизнь, и глубоко ей сочувствовать и временами даже съ нею отождествляться.

Но натура Пушкина была натура по преимуществу синтетическая, одаренная непосредственностью пониманія и цѣльностью захвата. Ни въ какую крайность, ни въ какую односторонность не впадалъ онъ. Равно удивителенъ онъ и въ тонѣ Бѣлкина, и въ тонѣ своихъ поэмъ, и въ сухомъ свѣтскомъ тонѣ «Пиковой дамы».

Натура же героя „Дѣтства, Отрочества и Юности“ по преимуществу аналитическая. Анализъ развивается въ немъ рано и подкапывается глубоко подъ основы всего того условнаго, чѣмъ онъ окруженъ, того условнаго, что въ немъ самомъ. Доходя до явленій, ему не поддающихся, онъ передъ ними останавливается. Въ этомъ послѣднемъ отношеніи въ высокой степени замѣчательны главы о нянѣ, о любви Маши къ Василію и въ особенности глава о юродивомъ, въ которой сталкивается онъ съ явленіемъ, которое и въ самой народной простой жизни составляетъ нѣчто рѣдкое, исключительное, эксцентрическое. Всѣ эти явленія анализъ противопоставляетъ всему условному, его окружающему, въ которомъ пѣлѣетъ нетронутымъ одинъ только святой образъ, — образъ матери, нѣжно, любовно и граціозно нарисованный образъ. Ко всему другому анализъ безпощаденъ. И понятно: передъ нимъ уже стоятъ несокрушимою стѣною, о которую онъ разбился, иныя, противоположныя, совершенно безыскуственныя явленія иной, не условной, а непосредственной жизни.

Онъ пораженъ простотою, неразложимостью этихъ явленій. И вотъ простоты, неразложимости добивается онъ отъ самого себя, роется терпѣливо и безпощадно-строго въ каждомъ собственномъ чувствѣ, даже въ самомъ томъ, которое, по виду, кажется совершенно святымъ (глава „Исповѣдь“), уличаетъ каждое свое чувство во всемъ, что въ дѣтствѣ сдѣлано, даже напередъ, — ведетъ каждую мысль, каждую дѣтскую или отроческую мечту до ея крайнихъ граней. Вспомните, напримѣръ, мечты героя „Отрочества“, когда его заперли въ темную комнату за непослушаніе гувернеру.

Анализъ въ своей безпощадности заставляетъ душу признаваться самой себѣ въ томъ, въ чемъ не всякая душа себѣ признается, въ томъ, въ чемъ стыдно себѣ самому признаться. Мудрено ли, что при огромномъ талантѣ анализъ изощрился до того, что въ „Мятели“ способенъ влезть въ существо воробья, который „притворился, что клюнулъ“; въ „Военныхъ разсказахъ“ развертываетъ цѣлую ткань пустыхъ представленій, промелькнувшихъ передъ человѣкомъ въ минуту смерти, до поражающей, несомнѣнной правды.

Та же безпощадность анализа руководитъ героя и въ „Юности“. Поддаваясь своей условленной сферѣ, принимая даже ея предразсудки, онъ постоянно казнитъ самого себя и изъ этой казни выходитъ побѣдителемъ. Многіе находили растянутою первую половину „Юности“. Это неправда. Волоковы, Нехлюдовы должны были быть изображены съ такою мелочною подробностью, чтобы поразительнѣй вышло столкновеніе героя съ слоями иной жизни, съ даровитыми, хотя безумно кутящими личностями, полными силъ и высокихъ, неусловныхъ стремленій.

Столкновеніемъ съ этимъ живымъ міромъ кончается повидимому процессъ. Но только—повидимому. Слѣдить его можно и даже должно въ „Военныхъ разсказахъ“—въ разсказѣ: „Встрѣча въ отрядѣ“, въ «Двухъ гусарахъ». Анализъ продолжаетъ свое дѣло. Останавливаясь передъ всѣмъ, что ему не поддается, и переходя тутъ то въ пафосъ передъ всѣмъ громадно-грандіознымъ, какъ севастопольская эпопея, то въ изумленіе передъ всѣмъ простымъ и смиренно-великимъ, какъ смерть Веленчука или капитанъ Храбровъ, онъ безпощаденъ ко всему искусственному и сдѣланному, является ли оно въ буржуазномъ штабсъ-капитанѣ Михайловѣ, въ кавказскомъ ли героѣ à la Марлинскій, въ совершенно ли ломаной личности юнкера въ разсказѣ: „Встрѣча въ отрядѣ. Одинъ только типъ остается нетронутымъ, неподвергнутымъ сомнѣнію—типъ простого и смирнаго человѣка.

Между тѣмъ въ „Двухъ гусарахъ“ авторъ видимо увлекается старымъ гусаромъ съ его энергическимъ буйствомъ и размашистой удалью, въ противоположность гусару новыхъ временъ съ его мелочностью и пошлостью; между тѣмъ въ „Альбертѣ“ онъ явнымъ образомъ поэтизируетъ силу и страстность, хотя пропадающія въ неизлѣчимомъ безпутствѣ.

Толстой—поэтъ, поэтъ точно такъ-же, какъ Тургеневъ. Отрицаніе всѣхъ приподнятыхъ чувствъ души не ведетъ его ни къ мѣщанскому прозаизму Писемскаго, ни къ бюрократической практичности Гончарова. Всего же менѣе ведетъ его анализъ къ утилитаризму. На утилитаризмъ отвѣчаетъ онъ своимъ „Люцерномъ“, въ которомъ плачетъ о погибающемъ мірѣ искусства, страстей, исторіи,—„Люцерномъ“, который нежданно поразилъ всѣхъ въ эпоху своего появленія, хотя поражаться тутъ было нечѣмъ. Чего же хотѣли отъ Толстого?...

Прежде всего и паче всего онъ—поэтъ. „Приподнятыя“ чувства души человѣческой онъ казнилъ только тамъ, гдѣ они напряженно, насильственно приподняты,—тамъ, однимъ словомъ, гдѣ лягушка раздувается въ вола,—иногда впадая только въ крайности, какъ въ предпочтеніи глубокаго горя старухи-няни горю старухи-графини, какъ въ

изображеніи кавказскаго героя, который дѣйствительно герой, и герой нисколько не меньше *смирнаго* капитана Храброва, только герой своей эпохи, эпохи Марлинскаго.

Въ сущности поэтъ нашъ только скорбитъ о томъ, что не находитъ настоящихъ „приподнятыхъ“ чувствъ въ той сферѣ, которую онъ знаетъ, но не можетъ отречься отъ ихъ исканія.... Въ сферѣ же иной, въ простой народной сферѣ, ему доступны и понятны вполнѣ только смирные типы.... Да иначе и быть нельзя. Только непосредственно сжившись съ народною жизнью, нося ее въ душѣ, какъ Островскій, Кольцовъ и отчасти Некрасовъ, или спустившись въ подземную глубину „Мертваго дома“, какъ Ѳ. Достоевскій, можно узаконить равно два типа—и типъ страстный, и типъ смирный. Пушкинъ понималъ это синтезомъ—и синтезомъ создалъ „Русалку“, и Пугачева въ „Капитанской дочкѣ“, и старика Дубровскаго. Тургеневъ глубокимъ сочувствіемъ къ народу доходилъ иногда до того, что страстный типъ иногда являлся ему въ совершенно своеобразныхъ формахъ даже посреди такъ называемаго цивилизованнаго общества (Веретьевъ, Коротаевъ, Чартапхановъ) большею же частью облекалъ его въ условныя формы или въ формы историческія (Василій Лачиновъ). Толстого эти формы не удовлетворяли и онъ постоянно подкапывался подъ нихъ, какъ подъ всякія формы.

Доходя въ иныя минуты до отчаянія анализа и оставивши слѣдъ этого отчаянія въ образѣ князя Нехлюдова („Записки маркера“ и „Люцернъ“), утомленный работою анализа, Толстой, по натурѣ художникъ, рѣшился хоть разъ успокоиться въ разрѣшеніи психической задачи менѣе широкой,—и далъ намъ „Семейное счастіе“. О достоинствахъ этого тихаго, глубокаго, простого и высоко-поэтическаго произведенія, съ его отсутствіемъ всякой эффектности, съ его прямымъ и не ломаннымъ постановленіемъ вопроса о переходѣ чувства страсти въ иное чувство, пришлось бы писать еще цѣлую статью, если бы статьи чисто-эстетическія были возможны, т. е. читаемы въ настоящую, напряженную минуту.

Задача моя была по возможности опредѣлить смыслъ явленія столь замѣчательнаго какъ Толстой*).

А. Григорьевъ.

1863.

1.

... Точное опредѣленіе характера и значенія литературной дѣятельности Л. Н. Толстого не такъ легко, какъ напр. Тургенева или Островскаго. О двухъ послѣднихъ столько было у насъ писано въ теченіе ихъ долгой и плодовитой дѣятельности, каждое произведеніе ихъ было столько жевано критикой, что они стали теперь по зубамъ рѣ-

*) „Время“ 1862, № 9.

шительно каждому. Притомъ и содержаніе ихъ сочиненій всегда близко относится къ самымъ живымъ интересамъ времени, постоянно затрогиваетъ вопросы, стоящіе на виду у всѣхъ. О Толстомъ-же и писано сравнительно весьма мало, да и характеръ дѣятельности его какой-то особенный, еще не подошедшій подъ опредѣленія нашей критики. Оттого и произведенія его кажутся какъ будто случайно зародившимися, какъ бы приготовленіями къ какой-то опредѣленной и яркой дѣятельности, пробами таланта, еще не опредѣлившаго своего настоящаго призванія. Въ такомъ взглядѣ есть, пожалуй, своя доля справедливости, ибо нѣкоторыя сочиненія Толстого дѣйствительно порождены случайными обстоятельствами, напр. записки о Севастополѣ, или небольшой разсказъ изъ заграничной жизни, другія дѣйствительно представляютъ этюды, не имѣя глубокаго внутренняго содержанія, какова «Мятель». Если хотите, пожалуй, и направленія опредѣленнаго въ сочиненіяхъ нѣтъ, т. е. нѣтъ того яркаго направленія, какое можно указать въ Тургеневѣ, Островскомъ, еще болѣе въ Щедринѣ или напр. Успенскомъ. Вообще дѣятельность Л. Н. Толстого представляется какою-то разбросанною, какъ бы причудливою; по крайней мѣрѣ, внутренняя связь его произведеній, а тѣмъ менѣе развитіе идей въ преемственной связи его сочиненій никакъ уже не бросается въ глаза. А между тѣмъ несомнѣнно же, что въ каждомъ его сочиненіи виденъ умъ наблюдательный и испытующій, талантъ яркій и симпатичный, стремленіе къ истинѣ серьезное. Неужели же при такихъ богатыхъ данныхъ дѣятельность его остается безсвязною, т. е. не ведетъ къ какому-либо опредѣленному результату, а впечатлѣніе, производимое его сочиненіями на современное поколѣніе, остается безслѣднымъ? Или критика проглядѣла еще то и другое. Все дѣло, кажется, въ томъ, что въ нашей критикѣ, а отчасти и публикѣ установилось слишкомъ узкое понятіе о такъ называемомъ направленіи или, употребивъ болѣе громкое слово, міросозерцаніи въ писателѣ. Прежде всего, вслѣдствіе указаннаго уже выше съуженія задачъ нашей критики, подъ направленіемъ въ послѣднее время стали разумѣть по преимуществу соціальныя тенденціи автора, чуть-чуть не политическія убѣжденія его, очевидно смѣшивая поэта съ публицистомъ. Этого рода стремленій требовали прежде всего отъ писателя, даже навязывали ихъ ему, если они не оказывались, и по этимъ даннымъ судили его. Такъ Островскаго не разъ преслѣдовали за поощреніе будто-бы невѣжества и потомъ хвалили преимущественно за сатирическое отношеніе къ дѣйствительности; такъ Тургенева уже цѣлый годъ пилятъ за отсталость, противодѣйствіе прогрессу, выразившіяся будто-бы въ его послѣднемъ романѣ. Далѣе та же поверхность и односторонность критики пріучила насъ обращаться слишкомъ легко съ содержаніемъ, представляемымъ дѣятельностью какого-либо писателя. „Я люблю такихъ писателей, у которыхъ съ первой страницы видишь уже все дѣло и за тѣмъ знаешь, стоитъ ли книга чего-нибудь“, отвѣчалъ намъ одинъ господинъ, которому мы рекомендовали весьма серьезное ученое сочиненіе, предупреждая его, что нужно внимательно прочесть его все, чтобы понять и оцѣнить. Нѣсколько въ этомъ родѣ относится наша журналистика и къ современнымъ литературнымъ явленіямъ, добиваясь какъ можно скорѣе схватить общій смыслъ, видимыя или кажущіяся тенденціи ав-

тора и за тѣмъ, потолковавъ или поспоривъ объ этихъ тенденціяхъ, счесть дѣло съ авторомъ поконченнымъ. Очевидно, что при такомъ способѣ сужденія, писатели съ ярко опредѣленными тенденціями, какъ Марко-Вовчокъ напр., или Успенскій, выигрываютъ, а писатели съ направленіемъ, не столь легко поддающимся опредѣленію, должны проигрывать. Мы не осуждаемъ, впрочемъ, безусловно критиковъ, которыхъ, очевидно, интересуетъ въ литературныхъ явленіяхъ нѣчто постороннее, которые желаютъ прежде всего дать ходъ своимъ общественнымъ убѣжденіямъ и потому, конечно, не могутъ заниматься всѣмъ содержаніемъ того сочиненія, о которомъ пишутъ, а тѣмъ менѣе доискиваться этого содержанія: но насъ интересуетъ вопросъ, отчего только этого рода критики почти и остались у насъ въ литературѣ?

Но возвратимся къ Л. Н. Толстому. Если искать въ его сочиненіяхъ такого рода направленія или міросозерцанія, о какомъ мы сейчасъ говорили, то, конечно, его не окажется; но всматриваясь ближе въ его разнохарактерную на первый взглядъ дѣятельность, мы легко откроемъ въ ней нѣкоторую глубокую и общую основу, нѣчто твердое и постоянно выражающееся, нѣчто задушевнѣйшее и дорогое автору, чего онъ не навязываетъ конечно никому, но что само неотразимо вливается въ душу при чтеніи любого изъ его произведеній. Л. Н. Толстого очевидно не интересуютъ особенно какіе-либо классы русскаго общества, онъ не ищетъ въ немъ какихъ-нибудь курьезныхъ характеровъ или эксцентрическихъ положеній, онъ не гонится также и за созданіемъ характеровъ идеальныхъ; наконецъ, не встрѣтите также въ его сочиненіяхъ особаго сочувствія къ людямъ извѣстныхъ убѣжденій, онъ никого также и ничто не поражаетъ сатирою. Перечитывая его сочиненія, вы не переноситесь въ какой-нибудь особый идеальный міръ, но какъ будто продолжаете жить съ тѣми обыкновенными, будничными людьми, которыми окружены ежедневно: но въ то же время вы чувствуете, какъ эти обыкновенные, причастные многихъ слабостей люди, открывая предъ вами сокровеннѣйшія тайны своего сердца, обнаруживаясь всею полнотою своей души, становятся вамъ близкими и неотразимо влекутъ васъ къ себѣ, затягиваютъ въ волнующіе ихъ жизненные интересы. Л. Н. Толстой дѣйствительно не выбираетъ своихъ героевъ, не сочиняетъ ихъ; но онъ какъ будто владѣетъ даромъ, подойдя къ первому встрѣтившемуся человѣку, открыть въ немъ сразу самыя интересныя черты, показать именно тѣ стороны души, которыя заставятъ васъ узнать въ немъ родственное вамъ существо — брата вашего.

Настроеніе, производимое его сочиненіями, совершенно противоположно тому, какое возбуждается напр. голо-сатирическимъ направленіемъ. Кто не испытывалъ на себѣ послѣ чтенія какихъ-либо обличительныхъ очерковъ замашки подозрѣвать въ первомъ попавшемся незнакомомъ человѣкѣ всѣхъ только что описанныхъ пороковъ и не ставилъ мысленно съ нѣкоторою гордостью глубокой грани между нимъ и собой. Кто, напротивъ, послѣ чтенія графа Л. Н. Толстого не останавливался со вниманіемъ на людяхъ, повидимому ничтожныхъ, и не задумывался, глядя на нихъ, о той вѣчной безустанной работѣ ума и сердца, которая досталась на долю каждаго человѣка и которая по преимуществу и дѣлаетъ всѣхъ людей родственными между собою.

Графъ Л. Н. Толстой принадлежитъ у насъ къ числу тѣхъ немногихъ писателей, которые черпаютъ и задачи и самый матеріалъ своихъ сочиненій прямо изъ источника, изъ жизни; дѣятельность его возникла и развилась очевидно не потому, что онъ нашелъ готовымъ какое-либо направленіе въ литературѣ, за которымъ и послѣдовалъ, ни потому также, чтобы онъ предварительно выработалъ себѣ или взялъ готовыя убѣжденія извѣстнаго общественнаго оттѣнка, съ которыми и приступилъ къ жизни, отыскивая въ ней только данныхъ для своихъ готовыхъ уже задачъ; очевидно, что онъ постоянно, самостоятельно и упорно всматривался въ явленія жизни, ради ихъ самихъ; добросовѣстнѣйшимъ образомъ размышлялъ о множествѣ самыхъ мелкихъ отношеній, связывающихъ, а иногда и путающихъ людскую жизнь, и притомъ не спѣшилъ къ какимъ либо общимъ выводамъ, а главное ничемъ предвзятымъ не загораживалъ себѣ прямого и непосредственнаго взгляда на жизнь. Этимъ только и можно объяснить столь подробный, часто поразительно глубокій анализъ его, доходящій иногда до щегольства этою силою. Этимъ же объясняется и то обстоятельство, что среди нѣсколькихъ, довольно сильныхъ и увлекательныхъ направленій, существующихъ въ нашей литературѣ, Л. Н. Толстой умѣлъ найти свой особенный путь и добыть изъ своихъ наблюденій результаты, никѣмъ другимъ не добытые, но въ то же время не призрачные, а составляющіе несомнѣнное достояніе нашей литературы и общества. Мы даже увѣрены, что цѣнность этихъ результатовъ будетъ поднята въ будущемъ, и тогда имя гр. Л. Н. Толстого не будетъ столь рѣдко упоминаемымъ именемъ въ нашей критикѣ, какъ это мы заявили въ началѣ статьи.

Но постараемся объяснить еще ближе въ чемъ, по нашему разумѣнію, заключалось существенное дѣло гр. Л. Н. Толстого и какая именно задача выпала на долю его среди многихъ задачъ, разрѣшаемыхъ въ послѣднее время нашими литературными дѣятелями. Между тѣмъ, какъ наша обличительная литература совершала своего гражданское дѣло, не безъ основанія пренебрегая строгими литературными формами и спѣша поколебать какъ можно болѣе основъ стараго, дряхлаго порядка, расшевелить и вовлечь въ жизненную борьбу какъ можно болѣе интересовъ,—тихая, не столь трескучая, но болѣе глубокая дѣятельность нашихъ лучшихъ писателей продолжала свое непрерывное служеніе той же общей пользѣ, хотя и не отказывалась, да и не могла отказаться, по своей природѣ, отъ поэтическаго обаянія своихъ произведеній. Еще не такъ давно, въ жару перваго увлеченія обличительною литературой, это подвергалось со стороны нѣкоторыхъ критиковъ сомнѣнію, но теперь едва ли наша мысль встрѣтитъ съ чьей-либо стороны возраженіе. Что сочиненія Островскаго или Тургенева, напр., въ сильной степени содѣйствуютъ намъ на пути къ нашему самосознанію, а слѣдовательно, и помогаютъ развитію общества и притомъ самымъ прочнымъ образомъ, совершая переворотъ въ идеяхъ и взглядахъ — объ этомъ едва ли и стоитъ подробно говорить въ наше время. Относительно двухъ послѣднихъ дѣятелей критика сдѣлала даже довольно много, опредѣливъ обстоятельно характеръ ихъ дѣятельности и указавъ ту долю вліянія, какое каждый изъ нихъ имѣлъ на общественное сознаніе. Мы считаемъ необходимымъ повторить здѣсь вкратцѣ эти выводы критики, прежде нежели перейдемъ къ гр. Л. Н. Толстому.

Чуткое вниманіе ко всѣмъ переворотамъ мысли, ко всѣмъ броженіямъ, совершавшимся въ образованныхъ слояхъ нашего общества, внутренняя исторія въ лицахъ стремленій и идей лучшихъ людей послѣдняго времени; съ другой стороны страстное стремленіе къ идеалу, глубокій, тонкій и безпощадный анализъ и обличеніе всего того, что начинало принимать опредѣленную форму въ нашей жизни и старалось выдать себя за установившійся идеалъ—таковы главнѣйшія черты дѣятельности И. С. Тургенева, какъ истолкованы они нашей критикой. Нечего объяснять, конечно, послѣ сказаннаго ни широты задачъ автора, ни того огромнаго и плодотворнаго вліянія, какое должна была имѣть на все умственное и нравственное развитіе молодого поколѣнія поэтическая дѣятельность, захватывающая столь много самыхъ жизненныхъ и въ то-же время часто самыхъ тонкихъ вопросовъ.

Вѣрное воспроизведеніе коренной народной жизни въ безчисленныхъ типахъ, яркихъ по языку, ясно, смѣло и твердо очерченныхъ въ ихъ внутреннемъ складѣ; глубокое пониманіе тѣхъ общихъ основъ, которыми слагалось и на которыхъ держится понынѣ эта жизнь, туго поддающаяся цивилизаціи; мастерское изображеніе тѣхъ многихъ отношеній то комическихъ, то полныхъ драматизма, которыя условливаются внутреннимъ складомъ народнаго быта и его неизбѣжными столкновеніями съ цивилизаціею, врывающеюся въ эту замкнутую жизнь, то мародерскимъ образомъ, то явнымъ и справедливымъ протестомъ—таковы по указаніямъ нашей критики общія, самыя характеристическія черты дѣятельности А. Н. Островскаго. Нужду и пользу такой дѣятельности, конечно, также не стоитъ объяснять.

Такимъ образомъ, не говоря уже о сочиненіяхъ многихъ другихъ второстепенныхъ писателей, дѣйствующихъ съ бо́льшимъ или ме́ньшимъ успѣхомъ по одному изъ этихъ указанныхъ направленій, два передовыхъ нашихъ поэта, повидимому, захватили все поле литературной дѣятельности, взяли на себя всѣ задачи, которыя подлежатъ поэзіи, какъ силѣ цивилизующей. Въ самомъ дѣлѣ, народный бытъ, ярко возсоздаваемый и объясняемый, его столкновенія съ идущей мимо него или задѣвающей его цивилизаціей, движеніе этой самой цивилизаціи, тонко и мастерски анализированное, всѣ лучшія стремленія эпохи, вѣрно схваченныя и воплощенныя въ поэтическіе образы—развѣ здѣсь не всѣ задачи, которыми, при данномъ историческомъ положеніи нашемъ, поэзія можетъ и должна заниматься, не отказываясь отъ своего самостоятельнаго существованія? Какую же еще оригинальную поэтическую задачу можно найти у Л. Н. Толстого или у кого-либо другого?... Послѣ многихъ отступленій пора, наконецъ, отвѣчать прямо на вопросъ. Во первыхъ, два господствующія и только что нами очерченныя направленія, только повидимому исчерпываютъ всевозможныя отношенія поэзіи къ русской дѣйствительности. По силѣ своихъ главныхъ представителей и вслѣдствіе установившихся въ литературѣ и обществѣ извѣстныхъ взглядовъ на наше развитіе, два эти направленія представляются въ настоящее время дѣйствительно господствующими и, конечно, и въ будущемъ не потеряютъ своего значенія. Но, какъ читатель легко могъ замѣтить, оба они больше касаются метаморфозъ, которымъ подвергается наше общество въ настоящее время подъ вліяніемъ цивилизаціи, пока все еще чуждой намъ. Что еще до сего вре-

мени эта цивилизація остается намъ чуждою, видно изъ того, какъ быстро формируются и столь же быстро измѣняются оттѣнки убѣжденій въ образованныхъ слояхъ нашего общества, и изъ той глухой, часто полной драматизма, борьбы, которая ведется нашимъ народнымъ бытомъ съ различными представителями цивилизованнаго начала. Мы не хотимъ сказать, чтобы дѣятельность двухъ главныхъ направленій нашей литературы, и, въ особенности, двухъ главныхъ представителей этихъ направленій, вся исчерпывалась изображеніемъ преходящихъ явленій нашего общества; но по крайней мѣрѣ эти стороны ихъ дѣятельности болѣе всего на виду, они кажутся всѣмъ наиболѣе нужными въ настоящую минуту, они по преимуществу теперь интересуютъ критику и общество. Прогрессъ, во чтобы то ни стало, есть пока еще передовой и законный крикъ нашего пробужденнаго общества и онъ неизбѣжно будетъ нашимъ девизомъ, пока мы не получимъ полнаго и глубокаго убѣжденія въ томъ, что онъ сталъ неотразимою, безвозвратною силою. По этимъ соображеніямъ дѣйствуетъ наша литература, того же по преимуществу желаетъ видѣть критика въ нашихъ передовыхъ литературныхъ дѣятеляхъ. О прочныхъ основахъ для пересозданія жизни, о степени значенія въ этомъ дѣлѣ наличныхъ нравственныхъ силъ нашего народа и общества и о другихъ подобныхъ вопросахъ еще не пришло время разсуждать серьезно. Слышатся пока еще одинокіе голоса этого рода, да и тѣ еще сами смутно сознаютъ свою задачу.

Избравъ своей задачей не движущіяся начала и силы нашего общества, всматриваясь въ душу русскаго человѣка не съ тѣхъ сторонъ, которыми она сталкивается съ наступающимъ прогрессомъ, отдаваясь ли беззавѣтно его вліянію или упорно борясь противъ его требованій, Л. Н. Толстой, естественно, долженъ былъ очутиться какъ бы одинокимъ среди совершающагося движенія и живыхъ общественныхъ вопросовъ, имъ возбуждаемыхъ. Его по преимуществу интересуютъ тѣ прочныя, вѣчныя, можно сказать, отношенія, которыя, при какихъ бы то ни было общественныхъ переворотахъ, при какой бы то ни было формѣ цивилизаціи, продолжаютъ самымъ прочнымъ образомъ связывать людей, сплачивать ихъ въ одно общее цѣлое — это отношенія семейныя, супружескія, отношенія къ землѣ, къ близкимъ и т. п. И нужно сознаться, что отношенія этого рода, при недостаткѣ у насъ публичной жизни, при отсутствіи политическихъ партій, при особенномъ характерѣ нашей исторіи, заключавшемся, главнѣйшимъ образомъ, въ собираніи земли и отстаиваніи себя извнѣ — должны представлять едва ли не самый обильный матеріалъ для поэзіи, самыя характеристическія черты русскаго склада жизни. Нельзя сказать, конечно, чтобы отношенія этого рода вовсе не были затрогиваемы въ нашей литературѣ; но они по преимуществу разсматривались съ сатирической стороны, въ нихъ брали почти исключительно то, что въ нихъ устарѣло и отжило, и это отжившее и устарѣлое весьма справедливо казнили во имя разума и новыхъ гуманныхъ идей. Блестящее исключеніе составляетъ въ этомъ отношеніи г-жа Кахановская, но ея высоко талантливыя произведенія, озаривъ яркимъ поэтическимъ свѣтомъ многія черты нашего быта, потому однако и не возбуждаютъ всеобщаго сочувствія, что она какъ будто пристрастна къ старинѣ и старается выдать намъ свои сильные и яркіе народные типы чуть не за идеалы, а старую жизнь нашу пред-

ставляетъ уже слишкомъ исключительно поэтическою. Гр. Л. Н. Толстой вовсе ничего не проповѣдуетъ, онъ не пристрастенъ ни къ старой жизни, ни къ новымъ порядкамъ, онъ не идеализируетъ народа или чего бы то ни было. Но какого быта въ русской жизни ни коснется онъ, тотчасъ умѣетъ открыть въ немъ серьезную сторону, найти въ ней звуки, родные каждому русскому и въ то же время не узко-національные, а общечеловѣческіе, гуманные. Каждое лицо, которое онъ подвергаетъ анализу въ своихъ сочиненіяхъ, интересуетъ его не потому, велико ли оно или ничтожно, хорошо или дурно, такія или иныя убѣжденія имѣетъ оно, а по тѣмъ человѣческимъ движеніямъ, которыя живутъ въ каждомъ, по тѣмъ безчисленнымъ нравственнымъ нитямъ, какими каждый человѣкъ связанъ со всѣмъ его окружающимъ. Душа въ своихъ глубочайшихъ и вѣчныхъ проявленіяхъ и притомъ русская душа, жизнь, просто жизнь, какъ она есть, т. е. постоянное столкновеніе одной мыслящей и чувствующей души съ другими, отношенія всегда развивающіяся и, наконецъ, крѣпкимъ узломъ связывающія человѣка съ остальными людьми, радости и горести отсюда истекающія, обязанности этими отношеніями налагаемыя — вотъ главнѣйшее содержаніе сочиненій гр. Л. Н. Толстого. Идеалъ его — это здоровая, цѣльная жизнь души, это правда и искренность отношеній. Но если Л. Н. Толстой еще не успѣлъ найти, воплотить для насъ своего идеала—онъ успѣлъ однако собрать для него много матеріала, и этотъ разсѣянный по его сочиненіямъ матеріалъ, эти безчисленныя, добрыя и чистыя движенія, которыя авторъ видитъ повсюду, но которыя пока остаются какими-то разрозненными и потому безсильными—все это составляетъ именно то влекущее и отрадное, чѣмъ запечатлѣна большая часть выведенныхъ имъ лицъ. Мы старались опредѣлить, по крайнему нашему разумѣнію, существенный характеръ дѣятельности гр. Л. Н. Толстого. Но мы чувствуемъ, что сказанное до сихъ поръ можетъ подать поводъ къ нѣкоторымъ недоразумѣніямъ. Это можетъ случиться во-первыхъ по нѣкоторой неясности нашего опредѣленія, которая весьма возможна при первой попыткѣ свести всю дѣятельность писателя къ общимъ чертамъ; во-вторыхъ, потому, что дѣятельность гр. Л. Н. Толстого до сихъ поръ была по преимуществу какъ бы приготовительною, состояла по преимуществу какъ бы изъ этюдовъ, правда мастерскихъ, но не заключавшихъ въ себѣ однако явнымъ образомъ тѣхъ задачъ, которыя мы считаемъ его главнѣйшими задачами. Только въ нѣкоторыхъ его сочиненіяхъ эта задача, какъ мы ее понимаемъ, выразилась съ нѣкоторою опредѣленностію и полнотою, таковы: „Дѣтство и Отрочество“, „Семейное счастіе“, новая повѣсть „Казаки“; въ другихъ же сочиненіяхъ гр. Л. Н. Толстого или не было вовсе опредѣленнаго, ясно сознаннаго авторомъ направленія, или оно пробиралось наружу лишь отчасти, какъ бы безъ воли самого автора. Но какъ бы то ни было, успѣли ли мы опредѣлить до извѣстной степени сущность міросозерцанія Л. Н. Толстого, или ошиблись, это міросозерцаніе стройное, опредѣленное, оригинальное уже обозначилось, и мы съ полнымъ правомъ можемъ привѣтствовать въ нашей литературѣ живую струю, еще мало разработанную и авторомъ и критикой, но обѣщающую въ будущемъ весьма многое *) ....

*) Мы опускаемъ краткій разборъ повѣсти „Казаки“, появленіе которой вало предлагаемую статью г. Эдельсона.

Главная основная мысль новой повѣсти гр. Толстого очевидна. Это столкновеніе хорошей, но поломанной искусственною цивилизаціей души съ бытомъ грубымъ, но свѣжимъ, цѣльнымъ крѣпко сколоченнымъ,—при чемъ побѣда остается, конечно, на сторонѣ послѣдняго. Но какъ выраженная мысль повѣсти Л. Н. Толстого, безъ сомнѣнія, невѣрно передала бы ея содержаніе. Въ томъ-то и дѣло, что истинно художественныя произведенія не исчерпываются голыми сентенціями. Они подаютъ, правда, поводъ къ извѣстному направленію мыслей, но сами же въ себѣ содержатъ и данныя, которыя, если не упущены изъ виду, не дадутъ мысли уклониться въ сторону. Мы почти увѣрены, что у насъ найдутся критики, которые въ повѣсти гр. Толстого готовы будутъ увидѣть умышленное предпочтеніе быта грубаго и естественнаго быту цивилизованной жизни, но едва ли и стоитъ опровергать такое узкое и одностороннее пониманіе истинныхъ задачъ художественныхъ произведеній. Частный смыслъ, т. е. собственно ближайшее содержаніе новой повѣсти Л. Н. Толстого, составляетъ въ высшей степени интересный эпизодъ изъ жизни человѣка съ прекрасными природными качествами, съ серьезными взглядами на жизнь и отношенія къ людямъ, но человѣка нѣсколько мечтательнаго, слабаго волею, мало практическаго и не умѣвшаго найти истинныхъ интересовъ въ окружавшемъ его обществѣ.

Повѣсть Л Н. Толстого представляетъ намъ именно тотъ моментъ изъ жизни Оленина, когда, оставивъ добровольно общество, которое надоѣло ему, отчасти по его собственной винѣ, онъ въ первый разъ сталкивается почти съ первобытными людьми и съ дѣвственной, дикой природой. Болѣе широкое содержаніе повѣсти Л. Н. Толстого есть мастерской анализъ того обаянія, которое вообще въ неиспорченной до конца условными понятіями душѣ должна производить, полная, цѣльная, естественная жизнь—жизнь среди природы и сообразно требованіямъ природы. Дѣйствительно, какъ бы ни справедливо гордились мы успѣхами нашей цивилизаціи, какъ бы крѣпко ни стояли мы за тѣ высшія формы соціальной жизни, которыя трудно вырабатывались тысячелѣтними усиліями,—едва-ли найдется серьезный и добросовѣстный человѣкъ, который бы иногда не тосковалъ глубоко объ утратѣ той непосредственной, первобытной свѣжести и энергіи впечатлѣній и дѣйствій, которыя навсегда уничтожены въ немъ нашею искусственною цивилизаціей. Такого рода тоска по первобытной правдѣ и простотѣ жизни по временамъ овладѣвала цѣлыми народами и поколѣніями, и, если въ наше время она перестала уже являться эпидемически, то источникъ, причина ея постоянно существуетъ и проявляется, хотя временами, въ отдѣльныхъ лицахъ. Такимъ образомъ то состояніе духа, тотъ психологическій процессъ, который совершился на Кавказѣ въ душѣ Оленина и съ такою силою и обаяніемъ изображенъ намъ графомъ Толстымъ, не есть какое-либо патологическое явленіе — напротивъ, представляетъ нѣчто типическое, естественное. Поэтому-то въ письмѣ Оленина, хотя оно и представляетъ много задорнаго и слишкомъ юношескаго, много лично принадлежавшаго герою повѣсти, есть въ то же время и много правды безусловной правды, которую всѣ мы, по большей части, заглушаемъ, но которая иногда прорвется таки въ какомъ-

нибудь восторженномъ юношѣ, постановленномъ внѣ прямого и разнообразнаго вліянія благъ цивилизаціи. Пренебрегать этимъ рѣзкимъ голосомъ тоски по утраченной нами естественности и цѣлости жизни вовсе не слѣдуетъ, какъ можетъ быть подумаютъ нѣкоторые изъ людей, постоянно боящихся, чтобы человѣчество не возвратилось къ дикому состоянію. Напротивъ, это именно и есть тотъ глубокій внутренній голосъ, который постоянно стремится найти въ жизни смыслъ, истинныя, непризрачныя цѣли, полную правду отношеній и т. п. Безъ него, этого внутренняго голоса, человѣкъ часто является въ жизни какимъ-то диллетантомъ, жуиромъ, которому въ цивилизаціи нравятся только ея внѣшнія стороны и удобства, который результатомъ многовѣковой жизни человѣчества видитъ только—комфортъ въ различныхъ видахъ и ничего болѣе.

Художественная заслуга повѣсти графа Толстого заключается въ томъ, что для событія не совсѣмъ обыкновеннаго и имѣющаго, какъ мы сейчасъ показали, глубокій общій смыслъ, онъ умѣлъ найти обстановку, самую счастливую и въ то же время въ высочайшей степени естественную. Задача автора, т. е. анализъ одного изъ тѣхъ состояній души, которыя, будучи законными и естественными, рѣдко выражаются однако при обыкновенныхъ условіяхъ съ совершенною искренностью и яркостью,—эта задача способна была выразиться только столкновеніемъ двухъ извѣстныхъ началъ. Но разберите каждую изъ этихъ двухъ сталкивающихся сторонъ отдѣльно—обѣ онѣ изображены съ такою глубиною и правдою, какъ будто авторъ только и имѣлъ въ виду ихъ самое добросовѣстное и точное воспроизведеніе. Психологическій анализъ всѣхъ переворотовъ, совершавшихся въ душѣ Оленина до и по встрѣчѣ его съ кавказскою жизнью и Марьяною, есть сама по себѣ задача, достойная пера художника. Съ другой стороны, бытъ Кавказа, его природа, эти различные казацкіе и непріятельскіе типы, рядъ картинъ, изображенныхъ поэтически, съ любовью, но безъ малѣйшей тѣни пристрастія—есть другая задача, счастливое исполненіе которой сдѣлало бы честь любому писателю. Мысль, о которой мы говорили выше, есть уже какъ бы добавочный подарокъ читателю и нѣчто такое, о чемъ можетъ быть не думалъ прямо авторъ, но что само собой навѣвается въ голову человѣку, привыкшему размышлять надъ прожитымъ, видѣннымъ или прочитаннымъ. Мы сказали, что общая мысль, выше нами разъясненная, могла и не быть прямою задачею автора, но что она легко навѣвается его произведеніемъ. Точно также легко могутъ возбудиться повѣстью гр. Толстого и другія мысли. Л. Н. Толстой, собственно говоря, изобразилъ намъ мастерскою кистью событіе совершенно частное: борьбу чувствъ, страстей, сомнѣній—однимъ словомъ, отрывокъ изъ внутренней жизни одного молодого цивилизованнаго человѣка среди грубой, дикой, чуждой ему, но привлекательной жизни. Уже по одной глубинѣ и правдѣ анализа, по яркости каждой мелкой картины повѣсть заслуживаетъ полнаго нашего вниманія; но она имѣетъ для насъ и другой интересъ по близости ко всѣмъ намъ Оленина, по близости къ намъ той среды, которая породила его и изъ которой онъ бѣжалъ наконецъ. Мудрено ли, что повѣсть возбуждаетъ въ насъ многія мысли. Намъ лично, напр., невольно приходятъ въ голову слѣдующіе вопросы. Такъ-ли же бы отнесся цивилизованный ино-

странецъ къ той грубой и, очевидно, низшей средѣ, съ которою привелось столкнуться Оленину. А если нѣтъ, то какія же особенности отличаютъ цивилизованныхъ русскихъ людей отъ цивилизованныхъ нѣмцевъ, французовъ, англичанъ? Наконецъ, въ пользу или не въ пользу русской натуры, говоритъ эта легкость Оленина, съ которой онъ такъ скоро и безъ сожалѣнія рѣшается промѣнять блага высшей цивилизаціи, имъ уже испытанныя, на простую и грубую жизнь казаковъ? Принадлежитъ ли Оленинъ къ поколѣнію, уже отживающему свой вѣкъ, или мы можемъ возлагать надежды на людей этого склада? Въ другихъ повѣсть гр. Толстого можетъ возбудить и другіе вопросы. Но за всѣ эти мысли, къ какимъ бы результатамъ онѣ не привели, авторъ уже не отвѣчаетъ; критика можетъ осудить его повѣсть лишь въ томъ случаѣ, когда найдетъ что либо фальшивое въ самомъ содержаніи повѣсти, въ томъ простомъ фактѣ или событіи, которое изображено авторомъ. Такъ напр. повѣсть гр. Л. Н. Толстого подлежала бы обсужденію, или лучше сказать не имѣла бы никакого значенія, если бы можно было указать въ ней психологическія невѣрности, несообразности въ характерѣ дѣйствующихъ лицъ, пристрастное или умышленно-невѣрное представленіе изображаемаго быта.

По нашему крайнему убѣжденію, новая повѣсть графа Л. Н. Толстого безукоризненна въ этомъ отношеніи. Все, что сказано въ ней, можетъ быть принято безусловно, какъ фактъ изъ дѣйствительной жизни. Всѣ правильныя разсужденія о фактѣ, изображенномъ авторомъ, приведутъ непремѣнно и къ правильнымъ выводамъ, ибо, какъ всякое истинно художественное произведеніе, повѣсть гр. Толстого даетъ тѣмъ болѣе, чѣмъ глубже въ нее всматриваться. Въ фальшивыхъ выводахъ, которые можно сдѣлать изъ его повѣсти, авторъ, повторяемъ, не виноватъ.

Статья наша вышла бы черезъ мѣру длинною, если бы мы вздумали указать читателю на всѣ многочисленныя частныя достоинства новой повѣсти Л. Н. Толстого. Но о нѣкоторыхъ общихъ чертахъ его художественныхъ пріемовъ мы считаемъ себя не въ правѣ умолчать. Такъ напр. мы не можемъ не указать на его мастерскія изображенія природы, не расплывающіяся въ описаніяхъ и картинахъ, но въ двухъ, трехъ самыхъ типическихъ чертахъ сразу рисующія намъ характеръ мѣстности вмѣстѣ съ впечатлѣніемъ, какое оно неизбѣжно производитъ на душу. Еще болѣе цѣнимъ мы его высокоправдивыя, не жеманныя, но вмѣстѣ съ тѣмъ и сопровождаемыя чувствомъ глубокой мѣры изображенія всѣхъ вещей и отношеній. Кого, напр., можетъ оскорбить это почти античное благоговѣніе Оленина предъ молодою и свѣжею красотою Марьяны, или нѣкоторыя страстныя сцены между ними; а описаніе трупа убитаго черкеса! — Только такія художественныя изображенія помогаютъ намъ видѣть прямыми и ясными глазами жизнь и природу, а не загораживаютъ ихъ отъ насъ красивыми, но безъ толку расписанными ширмами.

Но довольно пока о „Казакахъ“; мы искренно желаемъ встрѣтиться поскорѣе съ новымъ произведеніемъ гр. Толстого и тогда будемъ имѣть случай вновь побесѣдовать о его дѣятельности съ читателями *).

Е. Э—нъ.

---

*) Библіотека для чтенія 1863 г., № 3.

2.

.... Цивилизація не удовлетворяетъ насъ. Не поискать-ли этого удовлетворенія въ простотѣ полудикой жизни, на лонѣ природы?—вотъ задушевная мысль, приводимая авторомъ (повѣсти „Казаки“).

Она не нова. Пушкинъ проводилъ ту же мысль въ своей поэмѣ „Цыгане“, но Пушкинъ, какъ высокій художникъ, выбралъ изъ среды кочующаго племени такіе идеалы и личности, что сравнительно съ образованнымъ Алеко они кажутся и человѣчнѣе, и даже глубже его въ пониманіи человѣческаго сердца. Утомленному борьбой или скучающему въ бездѣйствіи юношѣ сладко примкнуть къ такой широковольной, безмятежной жизни. У Пушкина мысль не расходится съ тѣми образами, которые возникаютъ у васъ въ душѣ при чтеніи его произведенія. Графъ Л. Н. Толстой остался вѣренъ природѣ, людямъ и будничной жизни; онъ не способенъ что-либо идеализировать и вывелъ на сцену далеко не такихъ людей, съ которыми легко на долго мириться человѣку сколько-нибудь развитому. Въ той средѣ, въ которую онъ переноситъ васъ вмѣстѣ съ своимъ героемъ, Оленинымъ, тѣ же условія, тѣ же мелкіе разсчеты, тѣ же награды за подвигъ. И не только читатель, самъ герой Оленинъ колеблется:—то при малѣйшемъ напоминаніи ему о московской жизни чувствуетъ, что на него пахнуло той гадостью, отъ которой онъ отрекся; то на самой станицѣ (напримѣръ въ обществѣ казачекъ, на именинахъ Устеньки) многое находитъ до того пошлымъ и отвратительнымъ, что ему бѣжать хочется.

Повѣритъ-ли послѣ этого читатель письму Оленина, въ которомъ онъ пишетъ къ своимъ на родину. „*Вы не знаете, что̀ такое счастье, что̀ такое жизнь! Надо испытать жизнь во всей ея безыскусственной красотѣ*“ и проч. Что это: минутный порывъ или фраза? Ни то, ни другое не заключаетъ въ себѣ силы, насъ убѣждающей, а между тѣмъ все, что говоритъ Оленинъ, вся его желчь и омерзеніе къ свѣту, къ полуобразованной московской средѣ, до такой степени противорѣчитъ всей его московской жизни, всему тому, что онъ чувствовалъ, покидая эту жизнь, тому, что самъ авторъ говоритъ о немъ въ началѣ повѣсти, что поневолѣ вообразишь, что за Оленина говоритъ самъ авторъ. Вѣдь могъ же авторъ сладить со всѣми остальными характерами, отчего же онъ не сладилъ только съ Оленинымъ? Не оттого-ли, что онъ менѣе равнодушенъ къ нему, чѣмъ ко всѣмъ остальнымъ?

У Пушкина Алеко—сильный характеръ, и читатель имѣетъ полную возможность подозрѣвать, отчего онъ не ужился съ обществомъ; у графа Толстого герой безъ всякой силы. Это маленькій себялюбецъ, скорѣе избалованный жизнью, чѣмъ огорченный ея противорѣчіями, маленькій Гамлетикъ, способный только на минутныя увлеченія. Отъ чего бы, кажется, ему бѣжать? Отъ самого себя? Но отъ себя убѣжать рѣшительно некуда. Куда ни приди, вездѣ будешь чужой. Авторъ, великій аналитикъ и тонкій психологъ, не довольно проникъ въ радости и страданія своего Оленина и не дорисовалъ его. Онъ ни разу не отнесся къ нему съ ироніей, ни разу не выдвинулъ на свѣтъ глав-

ную черту его характера. Это безпрестанный надзоръ его за собою ради страшнаго самолюбія и самооберегания; авторъ щадитъ его, какъ отецъ щадитъ ребенка, щадитъ, имѣя въ рукахъ своихъ тончайшее изъ орудій — анализъ.

Пушкинъ казнитъ своего Алеко; графъ Толстой также *хотѣлъ казнить* своего героя, но не договорилъ послѣдняго слова. Договорить его онъ бы не рѣшился, ибо повредилъ бы не только герою, но и къ собственной мысли своей сталъ бы въ противорѣчіе.

Если бы Алеко ужился между идеальными Пушкинскими цыганами, онъ могъ бы еще быть счастливъ: онъ самъ нарушилъ это счастье, самъ убилъ свою свободу, нарушая свободу другихъ. Но что сталось бы съ Оленинымъ, если бы онъ женился на казачкѣ Маріанѣ, какую роль сталъ бы онъ играть между казаками? Что бы сталъ дѣлать всю жизнь, если бъ его не убили абреки? Ревновать къ женѣ, ходить на охоту или отъ скуки пьянствовать? Авторъ хотѣлъ казнить героя своего за то только, что онъ не родился въ станицѣ, за то, что у него ничего нѣтъ съ казами общаго, за то, что не можетъ равнодушно убивать абрековъ, воровать ногайскихъ коней, лазить въ окошки къ дѣвкамъ и цѣловать ихъ, не думая: *что онъ и зачѣмъ онъ?* Словомъ, авторъ казнитъ его не за какое либо преступленіе противъ свободы, какъ казнитъ Пушкинъ своего Алеко, а просто за то только, что онъ развитѣе казаковъ. Но казня своего героя, авторъ въ сущности спасаетъ его отъ той несвойственной ему животной жизни, которая досталась бы ему на долю, если бъ онъ остался между казаками мужемъ *первобытной* женщины. Авторъ, какъ кажется, даже и не подозрѣваетъ, что холодность Маріаны спасла его Оленина.

Все, что нашелъ Оленинъ истинно прекраснаго въ станицѣ, все это есть и въ средѣ образованной: красота есть; свободолюбивыя, никакихъ условій не признающія, безкорыстныя дѣвушки есть;—хорошія, трудолюбивыя хозяйки, созидающія довольство — также есть. Людей, ничего не признающихъ кромѣ страстей своихъ, людей, непокоряющихся никакимъ свѣтскимъ условіямъ — также можно найти. Нашлись бы и такіе, которые никогда не гордились и не гордятся своимъ знакомствомъ съ аристократами и не чувствуютъ, подобно Оленину, ни малѣйшаго удовольствія, когда подходитъ къ нимъ на балѣ *князь Сергѣй* и говоритъ ласковыя рѣчи.

Оленинъ далеко не представитель лучшихъ людей нашего времени. Онъ человѣкъ ясно отживающаго поколѣнія, нѣчто въ родѣ блѣднаго отраженія лучшихъ людей пушкинской эпохи. Наши передовые люди, возставая на все, что есть ложно и гнило въ нашей цивилизаціи, не пойдутъ наслаждаться на лонѣ природы или искать отрады у дикихъ. Они лучше, подражая графу Л. Н. Толстому, будутъ учить крестьянскихъ мальчиковъ, чѣмъ гоняться за какимъ-то счастьемъ внѣ всякой цивилизаціи..... *)

Я. Полонскій.

*) „Время“, 1863 г. № 3 (Отд. „Современное Обозрѣніе“): По поводу послѣдней повѣсти гр. Л. Н. Толстого „Казаки“.

3.

Недавно мы имѣли случай говорить объ одномъ изъ представителей дѣловой беллетристики, Н. Щедринѣ, и замѣтить, что онъ до излишества предается искушенію растолковывать читателю каждое явленіе и каждый приводимый имъ фактъ съ одной постоянной точки зрѣнія, на которой онъ незыблемо утвердился. Иначе поступаетъ писатель, имѣющій подобную же любимую, неподвижную точку зрѣнія, но обладающій сильными художническими средствами. У гр. Л. Н. Толстого есть своя постоянная, предвзятая идея, какъ увидимъ ниже, но способы проводить эту идею въ литературу, относиться къ ней и выражать ее до того разнятся съ обыкновенными пріемами дѣловой беллетристики, что искать какой-либо солидарности или родственности между двумя родами литературнаго производства было бы совершенно напраснымъ дѣломъ.

Съ именемъ Толстого (Л. Н.) связывается представленіе о писателѣ, который обладаетъ даромъ чрезвычайно тонкаго анализа помысловъ и душевныхъ движеній человѣка и который употребляетъ этотъ даръ на преслѣдованіе всего того, что ему кажется искусственнымъ, ложнымъ и условнымъ въ *цивилизованномъ* обществѣ. Сомнѣніе относительно искренности и достоинства большей части побужденій и чувствъ, такъ-называемаго, образованнаго человѣка на Руси, вмѣстѣ съ искусствомъ передать нравственные кризисы, которые навѣщаютъ его постоянно,—составляетъ отличительную черту въ творчествѣ нашего автора. Еще въ первыхъ своихъ произведеніяхъ: „Дѣтствѣ и Отрочествѣ"—Толстой уже былъ психологомъ и скептикомъ; онъ уже и тогда показалъ публикѣ, до чего можетъ идти острый психическій анализъ, опирающійся на сомнѣнія въ человѣческой природѣ, которая испорчена прикосновеніемъ цивилизаціи.

Взрослые, уже кончившіе полный курсъ извращенія своихъ естественныхъ чувствъ и наклонностей, и молодые ихъ отпрыски, только еще начинающіе эту науку извращенія, - одинаково подпали его изслѣдованіямъ, разумѣется,—въ мѣру успѣховъ, полученныхъ ими на поприщѣ скрытности, лицемѣрной сдержанности и разладицы между настоящимъ чувствомъ и чувствомъ выражаемымъ. Онъ проникалъ, не разбирая пола и возраста, до дна тѣхъ кокетливыхъ и наружно-благообразныхъ душевныхъ порывовъ человѣка, которые прикрываютъ другой, тайный міръ его ощущеній и мыслей, исполненный страшилищъ или, по крайней мѣрѣ, каррикатуръ и пародій на то, что вышло къ свѣту, на фразу, идею, слезу, и проч. Тогда еще публика не угадала настоящихъ поводовъ автора къ этому разоблаченію, да и онъ самъ врядъ-ли ясно сознавалъ ихъ, слѣдуя только инстинктивно побужденіямъ своего таланта. Безъ всякаго дальновиднаго разсчета или намѣренія, онъ и скрылъ ихъ — выдвинувъ на первый планъ жизни богатаго, дворянскаго дома, проникнутую чувствомъ семейности картину, живыя, милыя лица дѣтей и подростковъ, которымъ ихъ почтенные родные служатъ какъ бы массивной, оттѣняющей рамой, и окруживъ еще всю эту картину разнообразными явленіями природы, сценами на-

роднаго и домашняго быта. И впослѣдствіи анализъ Толстого никогда не выражался сухо, самъ для себя или при помощи нарочно приготовленныхъ для него типовъ (за исключеніемъ одного или двухъ неудачныхъ соображеній въ родѣ „Люцерна“): наоборотъ, анализъ его всего болѣе нуждается въ полной жизни, хорошо растетъ только промежъ разнообразія формъ, въ средѣ свободныхъ людскихъ отношеній и при оригинальныхъ личностяхъ, раздражающихъ и вызывающихъ его. Онъ тогда прививался къ нимъ съ цѣпкостью льяны, но надо было нѣсколько времени для того, чтобъ настоящія свойства этого анализа уяснились какъ самому автору, такъ и его читателямъ. Только въ послѣднее время, Толстой самъ откровенно выдалъ себя за скептика и гонителя не только русской цивилизаціи, но и разслабляющей, причудливой, много требовательной и запутывающей цивилизаціи вообще.

Какой идеалъ общественнаго развитія желалъ бы онъ поставить на мѣсто заподозриваемаго и отвергаемаго имъ развитія—этого авторъ не сказалъ, и не только не сказалъ, но нигдѣ не видно, чтобъ онъ присоединился и къ тому, что говорили по этому поводу тѣ литературныя партіи наши, которыя гордятся обладаніемъ подобныхъ идеаловъ. Художническое чувство, вмѣстѣ съ привычкой къ сомнѣнію и анализу, не позволили ему остановиться ни на одной изъ существующихъ программъ лучшаго развитія, точно также какъ и составить свою собственную. Надо сказать, что эта привычка къ сомнѣнію и анализу воспитала въ немъ самомъ капризную и заносчиво-оригинальную мысль, которая уже не сноситъ какого бы то ни было посягательства на свою свободу, представляйся оно хоть въ формѣ дознаннаго историческаго закона, или въ формѣ несомнѣннаго, многолѣтняго опыта, или, наконецъ, въ видѣ лучезарнаго художническаго произведенія. Мысль эта начинаетъ тотчасъ же работать по своему надъ ними, не освѣдомляясь о прежде бывшихъ путяхъ изслѣдованія, всегда отыскивая свой собственный, одной ей принадлежащій, и часто кончая тѣмъ, что теряетъ изъ вида самый предметъ анализа со всѣми его реальными свойствами и уже разлагаетъ себя самое. Нѣкоторыя страницы „Ясной Поляны“ (возьмите хоть статью «Воспитаніе и образованіе» въ іюльской книжкѣ, 1862 г.) могутъ подтвердить наши слова. Въ этихъ случаяхъ капризно-оригинальная и независимая мысль эта становится похожа на станокъ, приведенный въ движеніе сильной паровой машиной, но лишенный матеріала производства: шумъ, стукъ, напряженная дѣятельность тутъ существуютъ, какъ и при настоящей работѣ, но станокъ собственно занятъ ускореніемъ своей порчи. Отсутствіе *„идеала цивилизаціи“* не оставляетъ, однако-же, у Толстого, пустого мѣста. Настоящій, опредѣленный идеалъ замѣщается у него, какъ уже было замѣчено прежде насъ—страстнымъ влеченіемъ къ простотѣ, естественности, силѣ и правдивости непосредственныхъ явленій жизни.

Душа его отдана всему, что еще не выдѣлилось вполнѣ изъ природнаго состоянія, изъ оковъ матеріи и изъ фатализма исторіи, всему, что развивается безсознательно, покоряясь съ одной стороны, врожденнымъ и, стало быть, искреннимъ побужденіямъ своего организма, а съ другой—удовлетворяя духовную свою природу только тѣми нравственными представленіями, только той наукой, поэзіей и философіей, которыя сложились въ теченіе вѣковъ невѣдомымъ образомъ и сами

собой вокругъ человѣка, какъ различные пласты его родной почвы. Здѣсь только и истина для Толстого. Въ этомъ увлеченіи кроются и источники его постоянной, предвзятой идеи, управляющей всей художественной его дѣятельностію. Но идеи объ естественности и природѣ, какъ критеріумахъ истины, не новость въ русской литературѣ, даже, просто въ образованномъ нашемъ обществѣ,—только они понимали ее различно. Русская литература всегда относилась къ ней чрезвычайно отвлеченно, что можно видѣть, напримѣръ, изъ геніальнаго очерка Пушкина—„Цыгане", гдѣ Алеко есть воображаемое лицо, не принадлежащее никакой странѣ и олицетворяющее, подобно Манфреду, права гордой, непокорной мысли, гдѣ сами цыгане возведены лирическимъ вдохновеніемъ до идеала свободнаго, бродящаго племени, мало отвѣчающаго дѣйствительности.

Но для Пушкина такъ и надо было, потому что задача его состояла не въ изображеніи извѣстнаго быта или извѣстнаго развитія, а только въ поэтическомъ воспроизведеніи одного изъ тѣхъ отчаянныхъ порывовъ души, которыми могли быть удержимы усталые и обманутые люди современной ему эпохи. По такимъ же и однороднымъ причинамъ идея эта выражается отвлеченно и въ дѣятельности Лермонтова. Всѣ его мцыри, демоны—дикіе и своевольные характеры, находящіе только въ самихъ себѣ законы для своего образа дѣйствій, очень прилично связаны съ бытомъ и преданіями Кавказа, но выражаютъ совсѣмъ не дѣйствительный Кавказъ, а политико-философское содержаніе авторской фантазіи, силу и сущность извѣстнаго поэтическаго созерцанія. Фантазія Пушкина и Лермонтова, какъ хотите, связана съ дѣйствительностію и можетъ быть принята за ея отраженіе, но только въ томъ смыслѣ, что сама есть произведеніе своей нервически-раздражительной и безпомощной эпохи, отъ нея отродилась. Что касается до общества, то идея эта, подхваченная у Руссо, осуществлялась у насъ разными курьезными личностями не иначе, какъ въ циническихъ продѣлкахъ, ползаніи на четвереньках и тому подобныхъ упражненіяхъ, причемъ, однакоже, личности не забывали своихъ политическихъ правъ, управляли людьми и безчинствовали надъ ними, по крайней мѣрѣ, столько же, сколько и надъ собой. Возвращаясь къ литературной судьбѣ идеи, мы находимъ, что у Толстого она впервые низведена въ реальный міръ и отъ реальнаго міра уже получила всѣ черты и краски, посредствомъ которыхъ выражается писателемъ. Воплощеніе идеи у Толстого разнообразно, но постоянно и безпрерывно. Идея глядитъ отовсюду въ его произведеніяхъ. Она уполномочиваетъ его живописать природу, мятель, напримѣръ, какъ дѣйствующее лицо, и смѣло говорить о впечатлѣніяхъ дерева, подсѣкаемаго топоромъ, и о вереницѣ мыслей и представленій, которыя носятся въ замирающемъ мозгу человѣка, раненаго на смерть; она подсказываетъ его поэтическія отступленія и его философскія размышленія о жизни и морали; она стоитъ невидимо за всѣми видами и формами его творчества и составляетъ именно тотъ ключъ, который необходимъ для разбора и правильнаго ихъ пониманія. Мы повторимъ только сказанное, если прибавимъ, что Толстой въ ней и почерпаетъ силу для того остраго разложенія самыхъ тонкихъ душевныхъ ощущеній, которое насъ удивляетъ въ его картинахъ изъ семейнаго и общественнаго быта.

Мы поставлены въ необходимость сказать при этомъ нѣсколько словъ и о педагогической дѣятельности Толстого, такъ какъ, по нашему мнѣнію, она есть ни болѣе, ни менѣе, какъ новый видъ его художническаго творчества. Разница можетъ состоять въ томъ, что страстное исканіе естественныхъ силъ и свѣжихъ зародышей ума и чувства перенесены здѣсь на практическую почву, на живое лицо изъ обширной области фантазіи, въ которой подвизались доселѣ. Толстой относится къ ребенку своей знаменитой школы съ тѣми же требованіями, какъ къ воображаемымъ лицамъ своихъ произведеній, и къ окружающему міру вообще. Онъ и за учительскимъ столомъ такой же психологъ, зоркій наблюдатель и фантастическій адептъ своей вѣры въ красоту всего прирожденнаго, какъ и за письменнымъ. Матеріалъ для работы измѣнился, но сама работа не измѣнилась—только анализъ его пріобрѣлъ уже положительный характеръ вмѣсто прежняго отрицательнаго. Анализъ Толстого уже не обличаетъ ребенка: онъ прославляетъ его. Иначе и быть не могло. Крестьянскій мальчикъ уже тѣмъ самымъ, что принадлежалъ къ простому неиспорченному быту, становился *дитятей правды* въ его глазахъ. Ни общество, ни литература наша, конечно, никогда не забудутъ великихъ педагогическихъ заслугъ Толстого по открытію цѣлаго міра богатой, внутренней жизни дѣтей, міра, существованіе котораго только предчувствовались до него немногими. Онъ проникъ въ самые скрытные уголки этого міра, и, вѣроятно, не одинъ разъ придется всякому учителю и наставнику, понимающему свое призваніе, справляться съ открытіями Толстого для того, чтобы провѣрить свои планы образованія и уяснить многія загадочныя проявленія дѣтской воли и души. Но логическія послѣдствія чисто художническихъ отношеній къ школѣ часто приводятъ къ сомнѣнію въ достоинствѣ послѣднихъ какъ средствъ и орудій педагогіи.

Намъ совершенно понятно, напримѣръ, отчего Толстой такъ рѣшительно и безпощадно преслѣдуетъ въ своемъ журналѣ всякую мысль о *„воспитаніи“* человѣка со стороны школы. Воспитаніе, по его опредѣленію, есть насильственное привитіе мнѣній, привычекъ ума и понятій одного взрослаго лица къ другому, слабѣйшему и беззащитному, на что никто не имѣетъ права, хотя собственно воспитаніе должно бы пониматься, какъ прямой, неизбѣжный результатъ духовнаго общенія между тѣмъ и другимъ. Но съ обычной точки зрѣнія Толстого на значеніе и достоинства непосредственныхъ явленій онъ совершенно правъ. Какая передача моральныхъ представленій, отвлеченныхъ идей и понятій можетъ быть допущена тамъ, гдѣ самъ мальчикъ, по происхожденію своему, есть вполнѣ нормальное существо, чистое и поэтическое отраженіе реальной, жизненной истины.

Его, наоборотъ, слѣдуетъ беречь отъ внушеній ложной, несостоятельной цивилизаціи, а не подчинять ея сомнительному кодексу и не только беречь, но изучать ростки его собственной мысли, способные привести къ открытію условныхъ, противоестественныхъ, слабыхъ сторонъ въ самыхъ началахъ образованности. По этой теоріи не только воспитаніе есть порча ребенка, который, благодаря ему, принимаетъ въ себя, вмѣстѣ съ пошлыми убѣжденіями своего наставника, ошибки и заблужденія исторіи, предразсудки и безмыслицы цѣлаго общества (мы бы сказали вообще грѣхи человѣчества, еслибы не боялись иска-

зить мысль Толстого преувеличеніемъ ея), но переходя къ образованію— оказывается, что и простая передача науки подчинена нормальному существу—крестьянскому мальчику. Она находитъ свои границы уже не въ себѣ, а въ своемъ ученикѣ и должна остановиться тотчасъ, какъ посягаетъ на лучшее его достояніе,—какъ начинаетъ перерабатывать его натуру. Знаніе не обязательно для всѣхъ, какъ, напримѣръ, вѣра. Прежде чѣмъ навязывать науку ученику, надо еще освѣдомиться, какую онъ науку хочетъ и насколько ее хочетъ или, другими словами, надо узнать насколько онъ, по совѣсти, можетъ принять работу чужой мысли, упражнявшейся задолго до него, безъ его вѣдома и нисколько не имѣя въ виду его свойствъ и потребностей. Главная задача народнаго образованія заключается по этой чисто-художнической теоріи въ томъ, чтобъ сдѣлать мальчика свѣдущимъ и не лишить его ни силы, ни простоты, ни ясности его врожденныхъ представленій, чтобъ вывести знаніе изъ городовъ въ поля и деревни и при этомъ сохранить имъ всѣ тѣ качества, которыми они отличаются отъ цивилизованнаго общества и его превосходятъ. *)

П. Анненковъ.

4.

....Покойный Бѣлинскій негодовалъ, что въ отечествѣ нашемъ не называютъ людей людскими именами, а выкликаютъ собачьими кличками. Это тоже была одна изъ привычекъ и особенностей крѣпостнаго права. Вотъ оно рушилось, наконецъ, а клички процвѣтаютъ и благоденствуютъ. Мало того: изъ переднихъ грязныхъ и невѣжественныхъ баръ онѣ перешли теперь въ литературу, не въ обличительную, а изящную литературу и, кажется, получаютъ въ ней право гражданства. Теперь пришла очередь воспѣвать и превозносить Ерошекъ, Лукашекъ, Назарокъ, и воспѣвать и превозносить ихъ при рукоплесканіяхъ почтеннѣйшей публики. И она, видно, согласна съ тѣмъ, что безграмотность, дикость и кулачное право ведутъ людей къ счастію и блаженству. Видно, не скоро еще намъ раздѣлаться не только съ кличками—это бы еще, пустячки—но съ строемъ жизни, при которомъ клички возможны, при которомъ не можетъ быть именъ, а могутъ быть только клички, и всѣ послѣдствія, изъ того вытекающія. Явились поэты этого строя жизни, которые выспѣваютъ на чарующихъ большинство лирахъ обаятельную прелесть грубой силы и посвящаютъ весь талантъ свой этимъ пѣснопѣніямъ. Не зарылъ въ землю гр. Толстой своего таланта, не совершилъ онъ этого преступленія, но напротивъ того совершаетъ великій подвигъ. Какъ древняя весталка въ храмѣ богини Весты, боясь, чтобы огонь не угасъ отъ наплыва дневнаго свѣта, гр. Толстой взялся его хранить и поддерживать. Рьяно и храбро онъ принялся поэтизировать пьянство, разбой, воровство и жажду крови. Поэзія особаго рода! Не злоупотребляетъ гр. Толстой своимъ талантомъ, не кланяется *модному прогрессу*, не служитъ двумъ

*) С.-Петербургскія Вѣдомости 1863, № 145 и 147.

господамъ. Всецѣльно, всенародно отдался онъ одному служенію, служенію иному, въ нашъ вѣкъ рѣдкостному, ибо тѣ, которые обрекаютъ себя ему, находятъ нужнымъ замаскироваться. Графъ Толстой не маскируется. Это—подвигъ своего рода и ему нельзя не отдать должной хвалы и чести!

Говорятъ, что ничто подъ луною неново. Это правда, но мы должны прибавить, что человѣкъ, взявъ чужую мысль, не довольствуется ею: онъ развиваетъ ее, прибавляетъ къ ней своего, ведетъ ее дальше и дальше. Тутъ прогрессъ тоже. Прогрессъ, но навыворотъ, Руссо проповѣдывалъ возвращеніе къ природѣ-матери; не отрицая образованія и его благодѣяній, онъ хотѣлъ только, чтобы люди жили проще, отказались бы отъ роскоши и довольствовались тѣмъ, что природа предлагаетъ имъ. Стоитъ только раскрыть „Эмиля“ „Contrat social“—вездѣ одна и та-же мысль. Гр. Толстой или его повѣсть (сознательно или безсознательно, это все равно) доказываетъ намъ то же самое, но проводитъ мысль дальше. Идеалъ его не состоитъ въ одномъ идиллическомъ созерцаніи природы, въ жизни простой посреди ея и съ нею, въ удовлетвореніи первыхъ нуждъ и потребностей физическихъ. Ему этого мало. Въ его идеальную жизнь посреди природы входятъ два новыхъ элемента: пьянство и рѣзня. Поэзія рѣзни и поэзія пьянства сопровождаютъ его героевъ, кто бы они ни были, Лукашка ли, Ерошка ли, или самъ Оленинъ. Правда, что этотъ на счетъ рѣзни скромнѣе, ибо жалѣетъ бѣднаго чеченца. Онъ даже говоритъ Лукашкѣ: „чему жъ ты радуешься? кабы твоего брата убили, развѣ бы ты радовался?“ Сказавъ это, онъ думаетъ про себя: человѣкъ убилъ другого и счастливъ, доволенъ, какъ будто сдѣлалъ самое прекрасное дѣло. Неужели ничто не говоритъ ему, что тутъ нѣтъ причины для большой радости?...

Но за то, какъ раскаивается самъ Оленинъ и, кажется, авторъ вмѣстѣ съ нимъ, что образованіе (проклятое образованіе, какая это чума!) внушаетъ ему такія глупыя мысли. Мы съ своей стороны оттого только и считаемъ Оленина выше Лукашки, что его полуобразованіе, хотя въ этомъ смыслѣ, отстранило его отъ Лукашки. Несмотря на то, мы не отрицаемъ, что извѣстнаго рода ухорской поэзіи больше при рѣзнѣ и пьянствѣ, чѣмъ безъ нихъ, но и въ этомъ не отдадимъ безусловно пальмы первенства гр. Толстому. Поэзіи пьянства несравненно больше въ стихахъ Д. Давыдова. Вспомнимъ только: „Бурцевъ ёра забіяка, собутыльникъ дорогой“... Всѣ герои Д. Давыдова, *съ красносизыми носами*, могутъ поспорить и превзойти героевъ графа Толстого, не исключая и старика охотника. Это тѣмъ досаднѣе и прискорбнѣе, что герои Д. Давыдова появились въ публику уже давненько. Жаль, что герои графа Толстого не могли, особенно въ отношеніи пьянства, перещеголять ихъ. Публика, во время оно, благосклонно приняла героевъ Д. Давыдова; она даже знала наизусть многіе стихи, гдѣ воспѣвался Бурцевъ; изъ нашего „далека“ *) мы слышимъ, что громадная часть нашей публики, съ легкой и просвѣщенной руки „Русскаго Вѣстника,“ приняла съ восторгомъ героевъ графа Толстого. Слава Богу! слишкомъ 40 лѣтъ отдѣляютъ Давыдова отъ графа Толстого. Давыдовъ воспѣвалъ особой родъ ухарства и гусаровъ въ

*) Письмо было прислано въ редакцію „Отеч. Зап.“ изъ-за границы.

20 годахъ, а графъ Толстой воспѣваетъ особый родъ ухарства и казаковъ въ 63 году! Но между обоими авторами мало разницы, скажемъ открыто, нѣтъ никакой существенной разницы въ воззрѣніяхъ. Въ большинствѣ публики принявшей такъ благосклонно произведенія того и другого автора, видно тоже очень мало существенной перемѣны впродолженіе этихъ 43 лѣтъ! можно кричать о прогрессѣ, печатать важныя статьи, но когда дойдетъ до пробы, до оселка, то и оказывается сущность дѣла.

. . . . . Какъ живутъ казаки? какъ живутъ заѣзжіе храбрецы и большинство лицъ на Кавказѣ? По свидѣтельству графа Толстого (мы тамъ не были и полагаемся на нашего автора), большинство играетъ въ штосъ, въ банкъ и другія душеспасительныя, но кошелекъ и умъ истощающія игры, напивается гдѣ хересомъ, гдѣ портеромъ, заводитъ интриги съ сосѣдними казачками. Другихъ препровожденій времени не имѣется, даже мысли, по яркому выраженію гр. Толстого, лежатъ въ головѣ по цѣлымъ суткамъ не шевельнувшись, какъ нетронутыя папиросы въ футлярѣ. Чего же лучше? а вотъ покойный генералъ Ермоловъ, человѣкъ умный и опытный, опредѣлилъ кратче, рельефнѣе, что дѣлается съ человѣкомъ, десять лѣтъ безвыѣздно пробывшемъ на Кавказѣ. Онъ сказалъ: „либо съ кругу сопьется, либо женится на распутной женщинѣ“. Мы видѣли, что этотъ приговоръ безъ аппеляціи и безъ смягчающихъ обстоятельствъ не пугаетъ гр. Толстого, или героя его Оленина. Но, признаемся, насъ онъ пугаетъ и мы должны оговориться, что, по нашему мнѣнію, не всѣ служащіе на Кавказѣ подвергаются этой печальной участи. . . .

. . . . . Къ сожалѣнію графъ Толстой . . . . . ограничился только простыми казаками Лукашкой и Назаркой, которые не доросли еще до того, чтобы вознести въ принципъ и вѣру грубую силу и только безсознательно пользуются ею и простодушно кичатся.

Отсюда крайне узкое поле для ихъ дѣятельности: она ограничивается убійствомъ одного или многихъ абрековъ и раздѣваніемъ ихъ *до нага*. Нѣтъ сомнѣнія, что если бы Лукашки сознательно поняли, что такое сила, то не ограничились бы добытіемъ шашки и бешмета съ убитаго чеченца, а съ упоеніемъ самонаслажденія опустошили бы цѣлый край по мановенію руки набольшаго урядника или есаула. Графъ Толстой не намекаетъ намъ на будущность Лукашекъ и Назарокъ; но если мы всмотримся въ нихъ внимательнѣе, то можемъ открыть въ нихъ начатки тѣхъ великихъ свойствъ, при которыхъ образуются настоящіе Тамерланы.

Что касается до Оленина, то чтобы ни сдѣлалъ онъ, ему не сложиться въ настоящаго кавказца, какъ онъ о томъ не плачется. Что дѣлать? ему мѣшаетъ одно.

Ученье — вотъ чума! ученость—вотъ причина! и такая чума, что захватилъ человѣкъ самую малую ея крупицу, какъ Оленинъ—глядь, и ужъ не годится въ казаки и кавказцы. Жаль, что гр. Толстой не взялъ этого стиха въ эпиграфы своей повѣсти. Быть можетъ, его ввело въ заблужденіе то, что Фамусовъ изрекъ эту истину тому назадъ довольно давно, и что она устарѣла. Напрасно. Истины не старѣются, и мы уже сказали, что ничто подъ луною не ново. Впрочемъ, бѣды

большой въ этомъ не оказалось, хотя гр. Толстой не поставилъ эпиграфомъ своей повѣсти знаменитый стихъ Фамусова.

„Ученье—вотъ чума! ученость--вотъ причина!“ За то краснорѣчиво и на всѣ лады написалъ варіаціи на стихъ этотъ и какъ искусный музыкантъ выполнилъ ихъ къ полному восторгу своего редактора и многихъ своихъ соотечественниковъ. Еще и прежде гр. Толстой пытался варьировать этотъ самый стихъ; мы, поискавъ, найдемъ варіаціи на эту тему въ нѣкоторыхъ статьяхъ „Ясной Поляны“ и въ повѣсти „Альбертъ“; но все это было слабо и поверхностно. Только теперь, только въ повѣсти: „Казаки“, гр. Толстой рѣзко и рѣшительно высказалъ свое сочувствіе Фамусову и блистательно развилъ его классическое восклицаніе: ученье — вотъ чума! ученость — вотъ причина! Переложивъ его на презрѣнную прозу, нашъ авторъ умѣлъ сохранить лиризмъ и поэзію, стихамъ свойственные. Публика, холодно принявшая повѣсть „Альбертъ“, отнеслась къ нѣкоторымъ статьямъ „Ясной Поляны“ благосклоннѣе. Многіе имѣли простодушіе вообразить себѣ, что эта благосклонность публики происходила изъ ея уваженія къ педагогическимъ трудамъ гр. Толстого и что она прощала ему его уклоненія ради его полезной дѣятельности. Признаемся, такъ думали и мы. Теперь мы совершенно сбиты съ толку. Намъ пишутъ, что большинство публики въ восторгѣ отъ „Казаковъ“—симптомъ много знаменательный; объяснить его приходится иначе, и есть надъ чѣмъ призадуматься! Какъ бы то ни было, нѣтъ сомнѣнія, что имя гр. Толстого займетъ почетное мѣсто не только на страницахъ „Русскаго Вѣстника“, но и на страницахъ исторіи русской литературы, которая должна будетъ обсудить, кто, какъ, когда, и въ какую именно минуту проводилъ свои убѣжденія и просвѣщалъ соотечественниковъ, кто и въ какую минуту предавался воинственному запалу и воспѣванію дикаго казачества. Въ плеядѣ русскихъ публицистовъ, романистовъ, историковъ и юристовъ, особенно блистательно дѣйствующихъ въ настоящую минуту, прибавилось еще одно имя, съ талантомъ несомнѣннымъ, давно всѣми признаннымъ. Съ сихъ поръ гг. Катковы, Павловы, Соловьевы и Чичерины, не говоря уже о многомъ множествѣ ихъ послѣдователей, которымъ имя легіонъ, могутъ причесть гр. Толстого къ своему полку, завербовать его въ свой лагерь. Правда, что они не совсѣмъ сходятся въ ученіи, но всѣ, съ трогательнымъ единодушіемъ, идутъ къ единой цѣли. Привѣтствуемъ гр. Толстого, ставшаго въ ряды этихъ соотечественниковъ нашихъ, и предрекаемъ ему тотъ же успѣхъ и тѣ же лавры (если онъ только не своротитъ съ этой дороги), какими увѣнчали себя сіи почтенные мужи, честь и слава нашего времени *).

Е. Туръ

---

*) „Отеч. Зап.“ 1863 г., № 6.

1865.

1.

Дядя Ерошка прежде всего *казакъ*. Какъ линейный казакъ, соперникъ и сосѣдъ чеченца, онъ проникнутъ насквозь духомъ молодечества; но его молодечество не чопорная бравура французскаго рыцаря, не дикое безстрашіе скандинавскаго бирзеркера; онъ не просто молодецъ, а *казакъ-молодецъ*, *джигитъ*, какъ онъ самъ любитъ называть подобныхъ себѣ. Джигиту, по догматамъ джигитовъ, великая честь подстеречь неосторожнаго врага и просадить ему пулей голову изъ потаеннаго мѣста; джигиту великая слава тайкомъ отправиться съ товарищемъ въ аулы мирныхъ нагайцевъ и угнать отъ нихъ въ горы табунъ или стадо, хотя бы пришлось для этого задушить спящихъ пастуховъ и разорить деревню. Искусно, а главное, *безнаказанно украсть* что-нибудь у чужого—даетъ джигиту такое же право на уваженіе товарищей, какое мы, цивилизованные люди, признаемъ за великими нашими дипломатами, умѣющими оттягать отъ иностранной державы лишнюю сотню миль или лишній милліонъ франковъ. Ему его воровство кажется столь же мало безчестнымъ, какъ англичанину плутни его дипломатіи.

Дядя Ерошка вѣритъ въ свои догматы, какъ въ свои пять пальцевъ; онъ обнаруживаетъ ихъ не только съ полною откровенностью, но даже съ хвастовствомъ и съ гордостью человѣка, сознающаго размѣръ своихъ заслугъ.

(Выписка: „Не засталъ ты меня въ мое золотое времечко“.... Послѣднія слова: „Глядѣть скверно“).

Къ людямъ, не понимающимъ его догматовъ—неодобреніе онъ можетъ считать только за непониманіе—дядя Ерошка относится какъ къ неразумнымъ ребятамъ полупрезрительно, полунасмѣшливо, полужалѣя. Онъ даже считаетъ за лишнее убѣждать ихъ тѣмъ болѣе, что по натурѣ своей исполненъ терпимости къ слабостямъ другихъ. Но за то онъ серьезно уважаетъ и отличаетъ истиннаго джигита, что значитъ: *истиннаго человѣка*, по идеалу дядей Ерошекъ. Лукашка, застрѣлившій абрека, Лукашка, воровавшій съ Гирей ханомъ, въ его глазахъ есть лучшій исполнитель своего призванія, своего долга. За его удаль онъ полюбилъ его какъ родного сына; онъ его учитъ, интересуется имъ, любуется на него, расхваливаетъ его другимъ; между ними устанавливается крѣпкая нравственная связь помимо разсчетовъ и внѣшней случайности. Эту черту слѣдовало бы разглядѣть критикамъ изъ-за циническихъ прибаутокъ сѣдого казака. Развѣ, собственно говоря, онъ не нравственъ? Развѣ онъ нигилистъ или скептикъ? Онъ вѣритъ въ *свой* долгъ, можетъ быть, крѣпче, чѣмъ мы въ свой; онъ *и на дѣлѣ исполняетъ* свой долгъ такъ же крѣпко. Но критика обидѣлась, *зачѣмъ его долгъ не нашъ долгъ*, его символъ вѣры не нашъ, имъ бы хотѣлось, чтобы пограничныя казацкая станица, устроенная съ цѣлью непрерывнаго надзора за горными хищниками—станица, жители кото-

рой каждую ночь подвергаются удовольствію проснуться съ перерѣзаннымъ горломъ или ограбленными до нитки, выработала для себя кодексъ морали, пригодный милымъ дѣтямъ въ разглаженныхъ манишечкахъ и голубенькихъ рубашечкахъ, которыхъ гувернантка-француженка водитъ по утрамъ къ ручкѣ мамаши, а въ полдень обучаетъ оксильерамъ. Имъ бы хотѣлось, чтобы юный казакъ Лукашка, просидѣвшій до зари въ холодной грязи камышей съ взведеннымъ куркомъ и, не смыкая глазъ, по утру явился бы чистенькимъ мальчикомъ и, преклонивъ колѣна, вознесъ бы вмѣстѣ съ пернатыми утренній гимнъ Творцу: Oh père qu'adore mon père. Toi, qu'on ne nomme qu'à genoux.... Не знаю-во что бы обратилась исторія народовъ отъ примѣненія къ ней плодотворнаго метода г-жи Туръ. Мы бы должны были послать въ монастырь на покаяніе 500 милліоновъ обитателей небесной имперіи за то, что они не соблюдаютъ постовъ, и посадить на съѣзжую всѣхъ бедуиновъ Іемена за проживаніе въ степи безъ предъявленія паспортовъ квартальному надзирателю.

Другая черта, усложняющая характеръ стараго казака —это то, что онъ охотникъ, бродяга. Охота придаетъ его физіономіи и его воззрѣніямъ болѣе личный колоритъ. Онъ дѣлаетъ его еще большимъ непосѣдою, чѣмъ обыкновено бываетъ казакъ. Она до такой степени осваиваетъ его съ зоологическою жизнью лѣсовъ, что онъ едва отличаетъ въ своихъ понятіяхъ дикую свинью отъ чужого человѣка. Онъ въ звѣрѣ видитъ живое существо съ разсудкомъ, чувствомъ, обычаями иными, чѣмъ у казака или чеченца, но иными въ томъ же смыслѣ, какъ у нѣмца въ сравненіи съ русскимъ, у татарина съ жидомъ.

Это придаетъ его міросозерцанію что-то пантеистическое и вмѣстѣ поэтическое, патфайндеровское. Тутъ онъ прячется не за общеказацкимъ догматомъ, а за плодомъ личныхъ наблюденій, за выводомъ своего многолѣтняго и внимательнаго общенія съ природою. Онъ втянулся въ нее совсѣмъ съ головою и инстинктивно чувствуетъ себя ея нераздѣльною частью, однимъ изъ тѣхъ ея созданій, которымъ нельзя счета найти, которыя наполняютъ непроходимые лѣса и камыши, и тайныя подземныя норы, и безграничныя травяныя степи. Съ зари и до зари, изъ году въ годъ сидитъ и бродитъ онъ въ этихъ камышахъ и подъ этими чинарами; онъ застаетъ своими собственными глазами всевозможные моменты животной жизни: слѣдитъ выдру подъ водой, подманиваетъ тетеревовъ, обходитъ лежку кабана. Передъ нимъ и они слѣдятъ и ловятъ другъ друга, употребляютъ то же насиліе и тотъ же обманъ, какъ человѣкъ; какъ онъ, требуютъ пищи и покоя, и удовлетворенія страстямъ; какъ онъ, родятся въ болѣзняхъ и сосутъ молоко матери, мужаютъ, укрѣпляясь тѣломъ и смысломъ, болѣютъ и умираютъ, скорбятъ и радуются. Какъ у него, у нихъ есть жены и семейства, и домашній кровъ, и родная земля, любовь и дружба, страхъ и гнѣвъ. Другіе могутъ этого не знать, могутъ искажать съ разными цѣлями представленія свои о животныхъ тваряхъ. Но дядѣ Ерошкѣ не знать звѣря нельзя, и унижать звѣря нѣтъ никакой причины. Онъ лучше всѣхъ знаетъ, что между нимъ и кабаномъ бездна не безмѣрно велика; знаетъ уже потому одному—какое напряженіе физическихъ силъ, энергіи и умственной изобрѣтательности необходимо ему употребить для одолѣнія этого звѣря, то есть для фактическаго доказатель-

ства своего превосходства надъ нимъ. Это напряженіе ощущается имъ слишкомъ осязательно и непосредственно, чтобы не быть сознаннымъ.

(Выписка: „Все сидишь думаешь. Да какъ заслышить...“ Послѣднія слова: „Эхма! глупъ человѣкъ, глупъ, глупъ, человѣкъ!“ повторилъ нѣсколько разъ старикъ и, опустивъ голову, задумался).

Отсюда прямо вытекаютъ религіозныя представленія дяди Ерошки. Онъ не въ силахъ раздѣлить свою судьбу отъ судьбы милліоновъ другихъ созданій, такъ близко къ нему подходящихъ, составляющихъ, такъ сказать, его домочадцевъ, знакомцевъ и соотечественниковъ. Я увѣренъ, что и Патфайндеръ не могъ бы помириться съ мыслію о томъ, что его собаки разстанутся съ нимъ послѣ его смерти; сдается мнѣ, что въ „Американскихъ степяхъ“, заключительномъ романѣ всей группы патфайндеровскихъ романовъ, старый охотникъ выражаетъ именно противоположную мысль по поводу смерти своего любимаго пса. Во всякомъ случаѣ, это совершенно въ духѣ Патфайндера, идеалиста, романтика.

У дяди Ерошки тоже приравненіе себя къ животному, но только болѣе реальное, основанное на опытѣ. Онъ видѣлъ, какъ умирали чеченцы, олени и казаки, и видѣлъ, что гдѣ они гнили—трава выростала. Старый казакъ когда-то сказалъ ему, что *все то фальшь, что уставщики говорятъ*; эта мысль и застряла у него въ головѣ, потому что она вполнѣ подтверждала его собственный опытъ. Удивительно-ли, что формальныя толкованія раскольничьихъ книгъ полуграмотными начётчиками, толкованія о какихъ-то неуловимыхъ, отвлеченныхъ предметахъ языкомъ нечеловѣчески-изломаннымъ—казались одною фальшью человѣку лѣса и поля, привыкшему не къ рѣчи, а къ дѣлу, не къ скучной книгѣ, а къ свѣжей природѣ.

Религіозныя воззрѣнія дяди Ерошки даже не кажутся намъ какимъ-нибудь исключительнымъ явленіемъ въ жизни простого народа. Это не какой нибудь Lucifer Бартолода Ауэрбаха, не какой-нибудь esprit fort, возстающій противъ старыхъ догматовъ во имя чего-либо новаго. Дядя Ерошка, по болтливости стараго кутилы и празднаго охотника, весь на распашку за кружкой чихиря. Оленинъ простъ, по его мнѣнію; онъ его не опасается, не стѣсняется имъ, а говоритъ по душѣ. Въ сущности же онъ и религіозенъ не болѣе большинства. Надо еще замѣтить, что дядя Ерошка даже и въ такомъ откровенномъ расположеніи духа боится формулировать свои сомнѣнія въ сколько-нибудь рѣшительный выводъ; онъ разомъ прекращаетъ разговоръ, когда замѣчаетъ соблазнительность его исхода.

(Слѣдуетъ выписка:.... „Я, бывало, со всѣми купакъ“... Послѣднія слова:—А ты какъ думаешь?—Пей! закричалъ онъ, смѣясь и подносия вино“.)

Въ этой мимолетной бесѣдѣ бродяги-старика сказалось многое хорошее, что есть у человѣка: безотчетная вѣра въ благость божію, сильное чувство своей связи съ природою, снисходительность къ людямъ, и крѣпкій здравый смыслъ, сопротивляющійся, по своему, антипатичному для него лжеученью.

Третья характерная черта дяди Ерошки—это его эпикуренизмъ на казацкій ладъ. Онъ не можетъ подчиниться условіямъ гражданской жизни, дисциплинѣ арміи, дисциплинѣ закона. Онъ не боится труда,

но не выноситъ принужденія. Вѣдь издыхаютъ же въ клѣткахъ самые сильные и здоровые звѣри. Рожденный въ лѣсахъ Терека, среди горъ, онъ не можетъ разстаться съ почвою, его вскормившей. Онъ питается корочкою хлѣба, когда нечего съѣсть, но онъ за то не работаетъ и не служитъ. Онъ всегда господинъ своего времени и своей воли: идетъ куда вздумаетъ, зачѣмъ вздумаетъ, къ кому вздумаетъ. Попробуйте назначить горному хищнику—орлу или коршуну—гдѣ и какъ онъ долженъ ловить свою добычу. Для дяди Ерошки жизнь есть свобода, иначе онъ не въ состояніи мыслить жизнь. День и ночь онъ шатается по камышамъ, по колючимъ кустарникамъ, по глухимъ лѣсамъ. Онъ едва спитъ: до зари уже съ ружьемъ. *Сидѣть въ хатѣ онъ просто не умѣетъ.*

„Что дома-то сидѣть? только нагрѣшишь, пьянъ надуешься. Еще бабы тутъ придутъ, тары да бары; мальчишки кричатъ, угоришь еще; толи дѣло на зоркѣ выйдешь?... и т. д.“

Но уже если разъ онъ дома, ему хочется побаловать себя, ему хочется веселой компаніи за бутылкой чихиря, и, конечно, чужого чихиря, потому что своего хозяйства у него нѣтъ. Поэтому онъ такъ любитъ простыхъ людей, въ родѣ Оленина, то-есть такихъ, у которыхъ можно выпить. Онъ ихъ по чутью узнаетъ, и сходится съ ними въ одну минуту. Но тутъ дѣйствуетъ не одно побужденіе выпивки и блюдолизничества. Дядя Ерошка не унижается чужимъ угощеніемъ и не считаетъ его за подачку, за милость. Онъ твердо убѣжденъ, что самъ понадобится не нынче—завтра, и что его услуга будетъ нисколько не меньше, хотя и въ другомъ родѣ. У него нѣтъ чихиря, но можетъ быть кабанья свѣжина, и тогда ему вся станица кланяется; нѣтъ пороха, но за то бываютъ фазаны. Оттого онъ за чужимъ столомъ, какъ за своимъ: посылаетъ Оленинскаго деньщика покупать чихирь на деньги Оленина, будто въ свой собственный погребъ, всѣмъ распоряжается безъ всякаго смущенія и стѣсненія. Но въ немъ чувствуется не безстыдникъ, не эксплуататоръ, а щедрая душа, привыкшая вездѣ раскошеливаться. Посмотрите, сколько привлекательнаго въ этомъ откровенномъ, безхитростномъ подступѣ его къ Оленину, въ минуту перваго знакомства. Это именно подступъ простой души, не знающей, и знать не желающей той условной лжи, которой сложная система стремится совсѣмъ замѣнить нашу жизнь.

Это подступъ не солдата къ офицеру, не работника къ чиновнику, а подступъ человѣка къ человѣку. (Выписка: „—Дѣдушка, казакъ! обратился онъ (Оленинъ) къ нему“... Послѣднія слова:—„И то зайти, сказалъ старикъ. Фазановъ-то возьми“...)

Эта доброта и прямота, эта откровенная нечуждость всему человѣческому—сразу привязываютъ читателя къ сѣдому дядѣ. Кромѣ выпивки, дядя любитъ поврать; во первыхъ—старикъ, во вторыхъ—охотникъ, втретьихъ—веселый, жизненный малый по природѣ своей. Надувшись чихирю, сидитъ онъ и болтаетъ понемножку, прихвастывая—то какою нибудь дѣвченкой изъ годовъ своей юности, то военною удалью, то стрѣлецкимъ искусствомъ. Какъ ему не имѣть въ своей біографіи той были, которую пословица не ставитъ *молодцу въ укоръ*? какъ не повѣрить всему, что онъ разсказываетъ про своихъ душенекъ?... Хорошо какому нибудь высохшему сыну цивилизаціи съ аневризмомъ въ сердцѣ, съ

хроническимъ кашлемъ въ легкихъ, возставать противъ неумѣренности и грубыхъ наслажденій! Какъ будто они и въ самомъ дѣлѣ существа одной природы съ дядями Ерошками? желалъ бы я видѣть, какъ заплясала бы его сморщенная душа, очутившись въ богатырскомъ организмѣ гребенскаго казака, способнаго многія сутки проводить въ лѣсахъ и камышахъ, могущаго на собственныхъ плечахъ дотащить до дому собственноручно убитаго кабана, и собственнымъ желудкомъ убрать отъ него полъ-окорока. Поневолѣ захочется чихирю, не въ рюмочкѣ и не на блюдечкѣ; поневолѣ не окажется достаточнымъ побесѣдовать съ грудастою казачкою о косвенныхъ налогахъ и судьбѣ пролетаріата. Эти маститые, роскошно разросшіеся организмы живутъ крѣпко и сильно, какъ дубъ лѣсной; могучій размѣръ ихъ плотской жизни народъ очень метко обозначилъ въ старинныхъ сказкахъ своихъ, гдѣ онъ заставляетъ своихъ богатырей, поднявъ за ушки, выпивать пивной котелъ браги, да такой же пива, да такой же меду; гдѣ спятъ его богатыри, *богатырскимъ сномъ* по трое сутокъ. Терскіе казаки—это тѣлеса человѣческія, не въ тератологическомъ состояніи, не для медицинскихъ музеевъ, а тѣлеса во всемъ величіи здоровья и правильнаго роста, спѣлыя, законченныя, какія нужны для жизни. Плоть ихъ вопіетъ, какъ голодный звѣрь, и ея буйства не удовлетворить гомеопатическими пріемами. Шекспиръ, величайшій изъ учителей и даже нравоучителей, удивительно понималъ эту особенность мощныхъ организмовъ, и удивительно умѣлъ видѣть человѣческое даже въ самыхъ бушеваніяхъ ихъ. Оттого у него вырывается столько задушевныхъ страницъ даже по отношенію къ такимъ людямъ, которыхъ ходячая мораль безъ затрудненія окрещиваетъ именемъ безнравственнымъ преступныхъ людей. Оттого въ жирномъ и пьяномъ циникѣ Фальстафѣ мы часто видимъ дорогого друга, видимъ даже черты самого великаго творца Юліи и Гамлета.

Что касается до нашего дяди Ерошки, то его такъ называемыя преступныя стороны рѣшительно не могутъ закрывать отъ непредупрежденныхъ глазъ всей человѣческой широты и доброты его натуры. Языкъ его часто циниченъ, но душа его чиста и пряма. Онъ никогда серьезно не думаетъ о подводѣ Марьянки Оленину, хотя повидимому такъ часто вызывается на это.

„—Красавица, сказалъ Оленинъ.—Позови ее сюда.

„—Ни-ни, проговорилъ старикъ. — Эту сватаютъ за Лукашку. Лука—казакъ молодецъ, джигитъ, намеднись абрека убилъ, я тебѣ лучше найду.“

Въ другой разъ Олеинъ напоминаетъ ему его обѣщаніе свести его съ Марьянкой

„—Ты бы за Марьянкой поволочился?

„—Ты смотри на собакъ-то, сурово отвѣчаетъ старикъ“.

Смыслъ его обѣщаній и хвастовства на счетъ дѣвокъ лучше всего видѣнъ въ одной мастерской сценѣ съ Марьянкою, когда она проходила мимо окна.

„Старикъ подмигнулъ, и толкнулъ локтемъ молодого человѣка.

„—Постой, проговорилъ онъ, и высунулся въ окно. Кхм! кхм, закашлялъ и замычалъ онъ. Марьянушка! а, нянюка Марьянка! полю-

меня. душенька! я шутникъ, прибавилъ онъ шепотомъ, обращаясь Оленину".

Черезъ минуту опять:

„Полюби меня, будешь счастливая! закричалъ Ерошка и, подмигая, вопросительно взглянулъ на офицера. Я молодецъ, я шутникъ. ıбавилъ онъ. Королева дѣвка? А?"

Стоитъ ли прибавить что-нибудь въ объясненіе наивно-добродушнхъ проказъ веселаго старика?

До какой степени онъ самъ не придаетъ значенія своимъ похвальцъ, рѣзче всего видно въ разговорѣ его съ Оленинымъ, во время сго- ›а Марьянки. Старикъ пьянъ, и жалуется на хозяевъ.

„Что̀, Лукашка! Ему наврали, что я тебѣ дѣвку подвожу, сказалъ ›рикъ шепотомъ. А что дѣвка? будетъ наша, коли захотимъ: денегъ ı больше, и наша! Я тебѣ сдѣлаю, право".

Чего, кажется, опредѣлительнѣе и убѣдительнѣе? Но Оленину ;ько стоило отвѣтить:

„Нѣтъ, дядя, деньги ничего не сдѣлаютъ, коли не любитъ; лучше говори про это".

И воззрѣніе дяди Ерошки во мгновеніе мѣняется, какъ будто ни-ıда и не бывало другого:

„Нелюбимыя мы съ тобой сироты! вдругъ сказалъ дядя Ерошки опять заплакалъ!"

Сцена высокая, по психологической правдѣ, по задушевному козму, и очень характерна для Ерошки.

Точно также спадаетъ съ этого жизненнаго типа иллюзія кровоıности, безсердечія, въ воспѣваніи которыхъ чуть не обвинили гра- Толстого. Ерошка, дѣйствительно, убивалъ на своемъ вѣку; онъ ›го и спокойно разсказываетъ о своихъ битвахъ и подвигахъ. Поıди надобность—онъ, конечно, и еще покажетъ чеченцамъ меткость ›ей флинты. Но это только одна черта, доступная близорукому гла- Въ эту грубую и простую черту вплетены тонкими, разноцвѣтны- шелковинками не столь замѣтныя, но болѣе дорогія черты.

„Это знаешь, кто поетъ? сказалъ старикъ, очнувшись. Это кашка-джигитъ. Онъ чеченца убилъ: то-то и радуется. И чему ра- ›тся, дуракъ, дуракъ!

— А ты убивалъ людей? спросилъ Оленинъ.

Старикъ вдругъ поднялся на оба локтя и близко придвинулъ ›е лицо къ лицу Оленина.

— Чортъ! закричалъ онъ на него. Что спрашиваешь? Говорить надо. Душу загубить мудрено, охъ. мудрено!"

Ему жаль и свиньи, какъ мы видѣли. хотя онъ ихъ бьетъ, ибодитъ въ этомъ необходимость, назначенье отъ Бога:

„Ты ее убить хочешь, а она по лѣсу живая гулять хочетъ. У бя такой законъ, а у нея такой законъ".

Онъ даже жалѣетъ убитаго абрека, врага своего, который нечне—завтра самъ бы прострѣлилъ его насквозь.

До этого чувства далеко не всякій возвышается. Лукашка убилъвшаго по рѣчкѣ абрека, и указываетъ на него дядѣ:

„—Видишь, что-ль?

— Чего не видать! съ сердцемъ сказалъ старикъ, и что-то серьезное и строгое выразилось въ лицѣ старика.—Джигита убилъ! сказалъ онъ, какъ будто съ сожалѣніемъ".

Нельзя не привести еще одну изъ множества прелестныхъ. высокохудожественныхъ сценъ, унизывающихъ романъ графа Толстого, какъ дорогія жемчужины. Эта сцена трогательна своимъ безыскуственнымъ сочетаніемъ грубой формы съ самымъ теплымъ и нѣжнымъ душевнымъ мотивомъ. Эта сцена составляетъ окончаніе того вечера, на крыльцѣ за самоваромъ, о которомъ мы уже упоминали.

„Очнувшись, Ерошка поднялъ голову и началъ пристально всматриваться въ ночныхъ бабочекъ, которыя вились надъ колыхавшимся огнемъ свѣчки и попадали въ него.

„— Дура. дура, заговорилъ онъ. Куда летишь? Дура, дура! Онъ приподнялся и своими толстыми пальцами сталъ отгонять бабочекъ.— Сгоришь, дурочка, вотъ сюда лети, мѣста много, приговаривалъ онъ нѣжнымъ голосомъ, стараясь своими толстыми пальцами учтиво поймать за крылышки и выпустить. Сама себя губишь, а я тебя жалѣю..."

Не знаю, какой же живой типъ можетъ пробудить симпатіи читателя, если типъ этого милаго старика кажется оскорбительнымъ для человѣчества, звѣрообразнымъ? Казакъ-охотникъ, всю жизнь свою проливающій кровь и живущій съ звѣрями, способенъ еще шутить съ бѣдными, какъ добрый дѣдушка, способенъ жалѣть бабочекъ, понапрасну гибнущихъ, любитъ своихъ и враговъ, казаковъ и солдатъ, одинаковою человѣческою любовью; способенъ рыдать, разставаясь съ заѣзжимъ юнкеромъ, у котораго провелъ нѣсколько веселыхъ вечеровъ—и его вдругъ признать циникомъ, атеистомъ, людоѣдомъ. Да дай Богъ, чтобы наша мораль, цивилизація и религія доводили душу каждаго человѣка до той внутренней нѣжности и правдивости.

(Выписка:—„По моему хоть ты и солдатъ"... Послѣднія слова ея: „ласково потрепалъ по плечу молодаго человѣка").

— Больше и говорить нечего: „я человѣкъ веселый, я всѣхъ люблю!" Это—результатъ до котораго радо бы добиться съ борьбою и неудачами все наше образованіе.

Въ чемъ же причина того дружнаго несочувствія, съ которымъ встрѣтили критики этотъ оригинальный типъ? Со стороны однихъ, сантиментальныя и реторическія представленія о страстяхъ человѣка, незнакомство съ темпераментами людей, составляющими основу всякой драмы: вслѣдствіе этого односторонняя, фальшивая мораль. Съ другой стороны теоретическое воззрѣніе на художественныя произведенія; сужденія объ нихъ на основаніи различныхъ внѣшнихъ тенденцій и партейныхъ догматовъ. а не на основаніи собственной жизненной силы, въ нихъ заключающейся *).....

* * *

..... За этого Оленина досталось-таки гр. Льву Толстому! Всѣ рецензенты „Казаковъ" накинулись именно на него. Ихъ несказанно дразнилъ и злилъ этотъ образъ цивилизованнаго человѣка, подавленнаго

*) От. Зап. 1865 № 1, кн. 1.

мощью природы, которымъ авторъ постоянно махалъ передъ ихъ глазами. Въ Оленинѣ нѣкоторые критики прежде всего старались уязвить личность автора.

Безъ дальнихъ справокъ, Оленинъ былъ признанъ портретомъ, его исторія—чуть не автобіографіею. Какое обильное поле для комизма, не считающаго своею обязанностью дружить съ приличіемъ. Оленинъ намъ не примѣръ; мало-ли такой недоученой дряни, какъ Оленинъ; только недоученость и ограниченность могутъ его брать въ образчики цивилизованнаго человѣка. Человѣкъ, способный хотя когда-нибудь наслаждаться сообществомъ *князь Сержа*, Сашки Б. и т. п.— уже не имѣетъ права на серьезныя отношенія къ жизни. Аристократъ, неплатящій своихъ долговъ портному—хорошъ гусь; знаемъ мы такихъ. Намеки подобнаго рода были подняты противъ Оленина; на слова: *аристократъ*, *недоученый* нѣкоторые напирали съ какою-то мѣщанскою пошлостью и хитро подмигивали другъ другу.

Нечего говорить, съ какимъ чувствомъ мы привыкли встрѣчать подобныя неприличныя критики, съ балаганнымъ остроуміемъ задѣвающія по носу автора, показывающія ему кукишъ и разсказывающія про него домашнія сплетни вмѣсто сужденій о его романѣ.

Типъ Оленина не есть одно бездушное олицетвореніе извѣстныхъ мыслей. Оленинъ—лицо очень живое и очень распространенное. Онъ дѣйствительно не очень образованъ школою, и въ этомъ отношеніи есть по преимуществу нашъ современный, русскій типъ. Его выработка предоставлена жизни; поэтому должна быть исполнена противорѣчій, рѣзкихъ перемѣнъ и неправильностей. Это - судьба и исторія всѣхъ насъ. „Всѣ мы учились понемногу чему-нибудь и какъ-нибудь“, но изъ насъ однако вырабатываются люди послѣ долгой житейской ломки. Оленинъ былъ трактирнымъ героемъ не по натурѣ, но, попавъ случайно въ компанію Сашекъ Б., молодой мальчишка увлекся этою стороною и заплатилъ ей неизмѣнную дань; онъ былъ на верху блаженства, прохаживаясь подъ-руку съ флигель-адъютантомъ и называя князя уменьшительнымъ именемъ. Оленинъ—человѣкъ обыкновенный по своей біографіи, по обстановкѣ, въ которой находится. Но онъ все-таки изъ лучшихъ людей. Въ немъ живетъ духъ, ищущій и стремящійся, въ его душѣ не потухаетъ то внутреннее пламя, которое особенно сообщаетъ человѣчность нашей жизни. Онъ не остался Сашкою Б. въ Москвѣ, не сдѣлался Бѣлецкимъ на линіи; онъ искалъ удовлетворенія своимъ позывамъ сначала въ данной обстановкѣ, потомъ, къ своему счастью, нашелъ новую сферу, гдѣ ему могло быть лучше, и за которую поэтому онъ ухватился. Оленинъ въ нашихъ глазахъ не есть типъ цивилизованнаго человѣка вообще, а напротивъ—человѣкъ весьма опредѣленнаго образованія и опредѣленнаго общественнаго слоя, принесшій на борьбу съ иными началами только силы и слабости одного своего слоя, одного своего воспитанія. Намъ нѣтъ пока дѣла до того—такую-ли ограниченную или болѣе обширную цѣль имѣлъ въ виду самъ авторъ, вводя въ романъ своего героя; обсуждая художественныя стороны его типовъ, мы имѣемъ право смотрѣть только на то, что онъ, дѣйствительно, сказалъ и изобразилъ, и нисколько не касаемся того, что онъ, можетъ быть, замышляетъ. Авторъ не представилъ намъ Оленина какимъ-нибудь Фаустомъ, познавшимъ сначала всю глубину

науки, потомъ все обаяніе власти, испытавшимъ огонь сильнѣйшихъ страстей и безуміе физическихъ наслажденій, и уже впослѣдствіи, на концѣ своего поприща, нашедшимъ себѣ счастіе въ тихой жизни на лонѣ природы. Оленинъ еще очень молодъ, и ему пока наскучила только пустая жизнь въ сообществѣ свѣтскихъ кутилъ, свѣтскихъ франтовъ и свѣтскихъ барышень. Въ немъ таились поэтическія задушевныя струны, которыя обнаружились особенно рѣзко послѣ жизни въ сферѣ, ихъ нисколько не удовлетворявшей. Случай бросаетъ его именно въ такую обстановку, гдѣ особенно много пищи этимъ его главнымъ, но еще неудовлетвореннымъ струнамъ. Онъ поддается вліянію новой обстановки просто шагъ за шагомъ, по мѣрѣ своего механическаго приближенія къ ней. *Чувство горъ*, охватившее его еще издали, завладѣваетъ имъ окончательно, когда онъ очутился среди этихъ горъ. Поэтъ, почуявъ годный ему воздухъ, очнулся внутри свѣтскаго франта и вздохнулъ во всю грудь; пошлыя черты лица московскаго хлыща преображаются подъ напіемъ могущественной свѣжести природы въ серьезный и теплый образъ естественнаго человѣка. Кому кажется страннымъ и исключительнымъ такое чарующее вліяніе природы на человѣка, кто видитъ въ этой перемѣнѣ только дидактическую уловку автора для униженія неодобряемыхъ имъ принциповъ—тотъ, значитъ, самъ никогда не ощущалъ въ своей груди могущественной власти горъ и лѣсовъ, тотъ лишенъ органа для воспріятія этого поразительнѣйшаго изъ всѣхъ впечатлѣній человѣка и для наслажденія этимъ чистѣйшимъ изъ всѣхъ наслажденій. Не только сама природа—однѣ уже картины ея, набросанныя такою живописною и тонкою кистью въ романѣ „Казаки", производятъ необыкновенное обаяніе. Какъ живая, встаетъ передъ нами эта глухая станица надъ бурными волнами Терека съ своими стройными казачками въ цвѣтныхъ бешметахъ, веселымъ хохотомъ казаковъ, мычаніемъ буйволовъ и коровъ на солнечномъ заходѣ. Слышишь скрипъ этихъ тяжелыхъ воротъ, сквозь которыя проламывается своими крутыми боками огромная буйволица; слышишь шлепанье по лужамъ и далекіе оклики на кордонѣ... И вдали надъ всѣмъ владычествующія горы, горы и лѣса.... Разумѣется, я не буду пытаться повторять глубоко-поэтическія картины ночей и утра, степей и лѣса, которыя непобѣдимо овладѣваютъ художественнымъ чувствомъ читателя въ романѣ гр. Толстого. Сторона описательная—одна изъ сильнѣйшихъ сторонъ романа, одно изъ главныхъ его достоинствъ. Кончая романъ, можно серьезно забыться и подумать, что самъ живалъ когда-то на линіи, самъ просиживалъ ночи съ веселымъ старикомъ на крылечкѣ за стаканомъ чихиря, бродилъ по лѣсамъ и садамъ, и любовался на шумные хороводы казацкихъ дѣвокъ. Я увѣренъ, что никакой этнографическій или географическій очеркъ, никакое описаніе путешествія не могли бы меня живѣе и полнѣе познакомить съ чуждою для меня жизнью и природою, какъ этотъ романъ гр. Толстого.

Мудрено ли же, что природа, до такой степени покоряющая насъ даже въ портретахъ своихъ, подавила Оленина, прикоснувшагося къ ея живью, посмотрѣвшаго ей прямо въ глаза. Казаки и казачки явились для него нераздѣльными частицами этой природы, такими же, какъ звѣри и деревья. На Терекѣ жили чинары и чеченцы, казаки, олени....
ъ всѣми надъ ними простирался одинъ и тотъ же голубой сводъ

неба, и сіяло всѣми своими красотами одно и то же утреннее, полдневное и вечернее солнце. Всѣхъ ихъ поила одна и та же вода, покрывалъ одинъ и тотъ же лѣсъ. Чуткая душа Оленина не могла устоять противъ этой простой, всеуравнивающей силы: Оленинъ понялъ бытъ казака и прелесть этого быта. Бѣлецкій, его пріятель, этого не понималъ и понимать не хотѣлъ, но зато гораздо скорѣе понялъ, что дѣвки въ станицахъ рослыя, веселыя, и гораздо удачнѣе ухаживалъ за этими веселыми дѣвками. Большинство изъ насъ, конечно, поступило бы, какъ Бѣлецкій. Мы приведемъ тутъ рядъ небольшихъ выдержекъ изъ различныхъ страницъ романа, въ которыхъ съ большою откровенностью и опредѣленностью авторъ изображаетъ намъ постепенно переходы душевныхъ настроеній своего героя; изъ этой постепенности и послѣдовательности особенно ясна необходимость и естественность этихъ настроеній.

„Ко всѣмъ его воспоминаніямъ и мечтамъ—говоритъ авторъ объ Оленинѣ—примѣшивалось строгое чувство величавой природы. Жизнь его началась не такъ, какъ онъ ожидалъ, уѣзжая изъ Москвы, но неожиданно хорошо. Горы, горы, горы чуялись во всемъ, что онъ думалъ и чувствовалъ“.

Это были первыя, еще неясныя впечатлѣнія; они принимаютъ мало по малу все болѣе и болѣе опредѣленный образъ:

„.... Ему было прохладно, уютно —продолжаетъ авторъ въ другомъ мѣстѣ о своемъ героѣ — ни о чемъ онъ не думалъ, ничего не желалъ. И вдругъ на него нашло также странное чувство безпричиннаго счастья и любви ко всему, что онъ, по старой дѣтской привычкѣ, сталъ креститься и благодарить кого-то.“

И потомъ далѣе:

„... И онъ сталъ вспоминать свою прошедшую жизнь, и ему стало гадко на самого себя. Онъ самъ представился себѣ такимъ требовательнымъ эгоистомъ, тогда какъ въ сущности ему для себя ничего не было нужно. И все онъ смотрѣлъ вокругъ себя на просвѣчивающую зелень, на спускающееся солнце и ясное небо, и чувствовалъ все себя такимъ же счастливымъ, какъ и прежде“....

Въ этихъ отрывкахъ осязательно видишь, какъ чувство покоя, правды, здоровья заглушаютъ мечты безпокойной и лживой жизни; новость положенія и ощущеній возвышаютъ это чувство въ Оленинѣ иногда до настоящаго восторга.

.... „Ежели-бы мысли въ головѣ лежали такъ же, какъ папиросы въ мѣшкѣ, то можно бы видѣтъ, что за всѣ эти 14 часовъ ни одна мысль не пошевелилась въ немъ, говоритъ, между прочимъ, авторъ по поводу времяпровожденія Оленина: онъ приходилъ домой морально свѣжій, сильный и совершенно счастливый“....

.... „Люди живутъ, какъ живетъ природа, думалъ онъ (Оленинъ), умираютъ, родятся, совокупляются, опять родятся, дерутся, пьютъ, ѣдятъ, радуются и опять умираютъ, и никакихъ условій, исключая тѣхъ неизмѣнныхъ, которыя положила природа солнцу, травѣ, звѣрю, нереву. Другихъ законовъ у нихъ нѣтъ.... И оттого люди эти въ сравненіи съ нимъ самимъ казались ему прекрасны, сильны, свободны, и, глядя на нихъ, ему становилось стыдно и грустно за себя. Часто ему

серьезно приходила мысль бросить все, приписаться въ казаки, купить избу, скотину, жениться на казачкѣ"....

Тутъ цѣлая исповѣдь Оленина; все его міросозерцаніе, всѣ его молитвы и планы здѣсь высказались кратко и ясно. Но скоро, однако, къ нимъ прибавился новый элементъ, весьма немаловажный, сообщающій новый оттѣнокъ его взглядамъ Оленинъ. влюбленный въ Кавказъ вообще, влюбляется мало по малу спеціально въ казачку Марьяну. Страсть окрашиваетъ въ его глазахъ всѣ предметѣ своимъ собственнымъ цвѣтомъ. Съ этихъ поръ онъ уже не просто спокойный, свободно—дышащій наблюдатель тихой лѣсной жизни; не просто человѣкъ, радующійся своему внезапно обрѣтенному счастію: онъ начинаетъ относиться съ чувствомъ какой-то мести и раздраженія къ своему прошлому, которое больше всего отдаляетъ его отъ Марьяны.

Приведемъ два маленькихъ отрывка изъ письма Оленина, въ которыхъ онъ далъ полную волю своей искренности, и которыя не назначались имъ ни для кого, кромѣ самого себя.

.... „Какъ вы мнѣ всѣ гадки и жалки! говоритъ онъ про своихъ прежнихъ друзей и соболѣзнователей.—Вы не знаете, что такое счастіе, и что такое жизнь! Надо разъ испытать жизнь во всей ея безыскусственной красотѣ. Надо видѣть и понимать, что я каждый день вижу передъ собой: вѣчные, неприступные снѣга горъ и величавую женщину въ той первобытной красотѣ, въ которой должна была выйти первая женщина изъ рукъ своего Творца, и тогда ясно станетъ, кто себя губитъ, кто живетъ въ правѣ или во лжи — вы или я? Коли бы вы знали, какъ мнѣ мерзки и жалки вы въ вашемъ обольщеніи! какъ-только представятся мнѣ вмѣсто моей хаты, моего лѣса и моей любви—эти гостиныя, эти женщины съ припомаженными волосами, надъ подсунутыми чужими буклями, эти неестественно шевелящіяся губки, эти спрятанные и изуродованные слабые члены, и этотъ лепетъ гостиныхъ, обязанный быть разговомъ и не имѣющій никакихъ правъ на это, мнѣ становится невыносимо гадко. Представляются эти тупыя лица, эти богатыя невѣсты съ выраженіемъ лица, говорящимъ: „ничего, можно, подходи, хоть я и богатая невѣста;эти усаживанія и пересаживанія, это наглое сводничаніе паръ, и эта вѣчная сплетня, притворство; эти правила — кому руку, кому кивокъ, кому разговоръ, и наконецъ эта вѣчная скука въ крови, переходящая отъ поколѣнія къ поколѣнію"...

.... „А я только одного и желаю, говоритъ онъ въ другомъ отрывкѣ: — совсѣмъ пропасть, въ вашемъ смыслѣ, желаю жениться на простой казачкѣ и не смѣю этого, потому что это былъ бы верхъ счастія, котораго я недостоинъ" ...

Влюбленный въ молодую казачку, Оленичъ возводитъ въ идеалъ совершенства не только саму Марьяну, но и весь бытъ, ее окружающій, всякую черту своего отличія отъ Марьяны онъ уже считаетъ несомнѣнною порчею, уродствомъ; понимая, что Лукашка подходитъ къ ней ближе, чѣмъ онъ самъ, онъ досадуетъ—почему онъ самъ не Лукашка и клянетъ въ этомъ опять свое прошедшее, опять свой бытъ. Видя безсиліе своихъ стремленій стать человѣкомъ непосредственнымъ и природнымъ, онъ считаетъ себя недостойнымъ Марьяны, отчаивается въ будущемъ.

„Я пробовалъ отдаваться этой жизни, признается онъ самому се-
:—и еще сильнѣе чувствовалъ свою слабость, свою изломанность.
не могъ забыть себя и своего сложнаго, негармоническаго, уродли-
:о прошедшаго“...

„Она никогда не пойметъ меня—записываетъ онъ въ своемъ дневкѣ въ самомъ энергическомъ разгарѣ своей страсти.—Она не пойгъ не потому, что она ниже меня, напротивъ, она не должна понитъ меня. Она счастлива; она, какъ природа, ровна, спокойна и сама себѣ. А *я*, исковерканное, слабое существо, хочу, чтобы она пола мое уродство и мое мученіе“!. .

Мы очертили вкратцѣ художественныя условія этого типа. Теперь смотримъ, какъ велика можетъ быть солидарность художника съ взглями, высказанными посредственно или непосредственно этимъ типомъ. . Л. Н. Толстой, подчиняясь общему закону художественной дѣяльности, вызвалъ на свѣтъ свои типы, чтобы выразить помощью ихъ ладѣвшее имъ настроеніе. Онъ не сдѣлалъ ихъ при этомъ бездушми и безличными вѣшалками для выставки своихъ мыслей: руку тиннаго художника направляетъ лучшій изъ всѣхъ учителей — прижденный талантъ,—а таланту трудно ошибиться такъ грубо. Настроее художника было причиною только того, что въ данную минуту бы: вызваны и разработаны именно эти, а не другіе типы, потому что существѣ этихъ типовъ лежитъ вражда къ презрѣннымъ сторонамъ ивилизаціи, возбуждающимъ ненависть автора. По свойству художнивъ, г. Л. Толстой, безъ сомнѣнія, съ сердечнымъ увлеченіемъ изобралъ антицивилизаціонный моментъ своихъ взглядовъ; въ увлеченіи вся ла поэта. Говорятъ, будто поэты и пророки подчиняются иногда риливамъ какого-то безумія, во время котораго они особенно могуественны. Безуміе это есть только высшая степень увлеченія и наывается *вдохновеніе*. Вдохновеніе не вредитъ реальности воззрѣнія и зданія; оно только удесятиряетъ обыкновенную силу и остроту поавательныхъ органовъ, позволяетъ глазу видѣть глубже, уху слыать дальше, разуму работать быстрѣе и мудрѣе. Вдохновеніе прониываетъ предметъ, какъ яркое солнечное освѣщеніе по всѣмъ жилкамъ суставчикамъ его, и дѣлаетъ яснымъ до очевидности то, чего нельзя римѣтить при буднечномъ освѣщеніи обыкновеннаго наблюденія. Вдохвеніе устремляетъ всѣ силы поэта на одинъ предметъ, возбудившій го, но оно совсѣмъ тѣмъ далеко неодностороннe; схваченный и потигнутый во всемъ своемъ живьѣ, этотъ одинъ предметъ обрисуетъ обою цѣлую сферу, изъ которой его взяли. Въ немъ будетъ во всей вѣжести сохранена ея краска, ея температура, ея очертанія. Но главое противоядіе односторонности увлеченія—это въ разнообразіи выора. Въ данную минуту художникъ, конечно, одинаково увлекается есятью разными мотивами, но за то онъ ихъ постоянно мѣняетъ. огда потухаетъ въ немъ пламя одного вдохновенія, оно можетъ вдругъ агорѣться отъ новой искры и запылать новымъ огнемъ. Шекспиръ пееходитъ отъ Лира къ Гамлету, отъ Ромео къ Ричарду III. Всѣ нагроенія для него равно законны, всѣ его образы равно любимы имъ, а всѣхъ истрачена одна и та же святая и искренняя сила, которая асто побѣждаетъ даже волю и цѣли поэта. Поэтому исповѣдь худож-

ника—его символъ вѣры—не одинъ какой-нибудь романъ его, а вся его художественная дѣятельность въ совокупности.

Многіе порицатели направленія гр. Толстого поставили себя въ довольно неудобное положеніе: они упустили изъ виду характеръ и условія художественныхъ произведеній, вздумавъ анализировать романъ какъ какое-нибудь вѣроученіе или научную систему. Необходимое поэту увлеченіе, которое есть первое условіе его разнообразія и силы, они приняли за фанатическую односторонность сектанта и вооружились на нее съ нетерпимостью сектантовъ. Съ другой стороны, ставъ безусловными противниками взглядовъ автора, они какъ бы отказываются видѣть въ современной цивилизаціи какія-нибудь темныя стороны.

Оленинъ гр. Толстого во всякомъ случаѣ негодуетъ на вещи, стоющія этого негодованія, даже не съ исключительной точки зрѣнія гр. Толстого. Мы всѣ, люди болѣе практичные и терпѣливые, чѣмъ юнкеръ Оленинъ, не можемъ хладнокровно переносить тѣхъ безплодныхъ и досадныхъ шалостей, которыхъ только отчасти касается раздраженное перо гр. Толстого, и которыя портятъ на каждомъ шагу нашу, безъ того скудную и скучную, жизнь. Позывы и стремленія въ родѣ тѣхъ, которые заставили гр. Толстого такъ сочувственно отнестись къ несложному быту казацкой станицы, во всякомъ случаѣ— благородные, вѣчно присущіе человѣку позывы. Они свойственны лучшимъ и искреннѣйшимъ людямъ разныхъ временъ, людямъ нѣжной душевной конструкціи, у которыхъ сердечныя клавиши отзываются на малѣйшее прикосновеніе жизни. Этихъ позывовъ ни одинъ разумный человѣкъ никогда не понималъ буквально и не судилъ ихъ ябеднически, придираясь къ каждой фразѣ. Въ нихъ постоянно отыскивали и находили только голосъ правды, возмущенный только тѣмъ или другимъ зломъ, и возмущающейся противъ этого зла со всею энергіею и жаромъ, свойственными правдѣ.....

***

..... Графъ Толстой въ своихъ „Казакахъ“ выбрасываетъ насъ изъ глубокой и наѣзженной колеи нашей цивилизаціи далеко въ степные луга, къ оленямъ и казакамъ. Васъ охватываетъ, какъ волна моря, могучая и свѣжая жизнь прямо на сыромъ лонѣ природы, гдѣ еще дается мѣсто звѣрю рядомъ съ человѣкомъ, гдѣ еще во всей дѣвственности своей живутъ и шумятъ лѣса и текутъ грозныя рѣки. Тамъ нѣтъ надломанности, тамъ невозможно рефлектерство, тамъ не знаютъ мученій мысли. Тамъ только живутъ, посягаютъ и плодятся. Только вамъ тамъ неловко и страшно; вы—отыскиватель цѣльности и непосредственности, вы слишкомъ далеки отъ природы, чтобы выдержать ея могучее, неподдѣльное вѣяніе. Она раздавливаетъ васъ въ своихъ объятіяхъ; вамъ слишкомъ не по плечу такая любовница; оттого вы такъ непріятно поражены открывшейся передъ вами перспективою и увѣряете себя, что не того искали. Вамъ сподручнѣе въ книгѣ, у которой листы подымаются нѣсколько легче, и которой рѣчь нѣсколько тише. Природа и тяжела, и буйна....

Я болѣе всего въ романѣ „Казаки“ удивляюсь отвагѣ мысли гр. Толстого. Онъ не задумавшись освобождается отъ преданій нашей моды и воспитанія; онъ твердо и сразу сталъ обѣими ногами на точку зрѣнія совершенно самобытную и, пожалуй, рискованную. Это не обыденное міросозерцаніе, сдѣлавшееся догматомъ всѣхъ людей, образованныхъ на извѣстный ладъ; здѣсь нѣтъ обычныхъ героевъ, всесторонне развитыхъ, съ университетскимъ образованіемъ, нѣтъ современно-настроенныхъ женщинъ, измѣняющихъ мужьямъ по принципу. У гр. Толстого *для вина новаго взяты мѣхи новые*, чего еще не сдѣлалъ до него ни одинъ изъ нашихъ писателей. Гр. Толстой понялъ, что изъ сферы, болѣе или менѣе искусственной, не выйдетъ безъискусственный, чисто-почвенный человѣкъ, какихъ Болгаръ не выбирай для этого. Отличіе всѣхъ вообще взглядовъ гр. Толстого, какъ педагогическихъ, такъ и соціальныхъ—это, какъ мы уже не разъ говорили, проведеніе ихъ до крайности; онъ всегда старается дойти до того мѣста, *гдѣ бабы на небо бѣлье вѣшаютъ*, всякій другой горизонтъ его не удовлетворяетъ. Ему нужна была природа, и онъ черпнулъ ее полнымъ ковшемъ въ самое живье, со всего размаху своей руки; и изъ его руки за то, дѣйствительно, полилась природа, а не иллюминованныя картиночки. Этою вѣрностью себѣ онъ, мнѣ кажется, стоитъ выше Руссо, къ которому вообще близокъ по общей тенденціи. Руссо тоже ненавидѣлъ и отвергалъ цивилизацію; онъ взывалъ къ золотому вѣку простоты и младенчества и сочинилъ себѣ этотъ золотой вѣкъ, произвольно замѣсивъ его на одномъ чувствѣ любви и братства.

Гр. Толстой, конечно, не могъ впасть въ ту же ошибку. Онъ человѣкъ XIX вѣка, то-есть, реалистъ, человѣкъ русскій, а главное—большой художникъ. Его взгляды поэтому выразились въ реальныхъ и живыхъ образахъ. Явленія цивилизаціи, при настоящемъ его настроеніи, ему показались искусственными, беззаконными, глупыми и вредными. Отвѣтственность за эти взгляды пусть беретъ онъ на себя: какъ художникъ, онъ имѣетъ право воспроизводить все, что считаетъ достойнымъ своего вдохновенія. Онъ здѣсь не педагогъ, не законодатель, чтобы мы имѣли право требовать у него отчета въ его воззрѣніяхъ. Это все равно, что осудить Канову за нехристіанскій сюжетъ его статуй. Однако критики наши сдѣлали съ романомъ гр. Толстого совершенно то же самое; съ катехизисомъ въ рукахъ доказывали, что нимфы—языческія существа, и что поклоняться имъ—большой грѣхъ. Жизнь кабана и буйволицы показались графу Толстому отраднѣе и выше жизни какихъ-нибудь губернскихъ барышень. И онъ съ чистотою душевною, съ прямотою древнихъ германцевъ, плюетъ на вашихъ франтовъ и барышень и указываетъ намъ на Ерошку, говорящаго кабана, на Марьянку—красивую, молоденькую буйволицу съ горячими глазами. Онъ не прячется за преувеличеніями и украшеніями, не пытается дѣлать никакихъ натяжекъ. „*Человѣкъ есть и ничто человѣческое мнѣ не чуждо*“, у него просто на-просто передѣлывается въ „*скотъ есмь и ничто скотское мнѣ не чуждо*“; и этотъ зоологическій языкъ графъ Л. Толстой откровенно прибиваетъ надъ главнымъ входомъ своего романа, чтобы всѣ сразу видѣли—кто живетъ и какъ живетъ. *)

А. Марковъ.

*) Отеч. Зап. 1865, № 2. „Народные типы въ нашей литературѣ“.

2.

Изъ всѣхъ графовъ Толстыхъ, подвизающихся на поприщѣ россійской словесности, гр. Л. Н. Толстой пользуется наибольшей извѣстностью въ публикѣ и наибольшимъ почетомъ со стороны эстетическихъ критиковъ въ родѣ гг. Эдельсона и Григорьева. Литературное имя этого писателя составилось давно — именно съ появленія его „Дѣтства и Отрочества"; съ тѣхъ поръ гр. Толстой считался уже многими въ числѣ корифеевъ русской беллетристики, а нынѣ извѣстный *издателя-собственникъ* (Ѳ. Стелловскій. Сочиненія гр. Л. Н. Толстого. Двѣ части. Спб. 1864—65. Изданіе и собственность Ѳ. Стелловскаго), воздвигающій посильные монументы нашимъ литературнымъ знаменитостямъ (въ томъ числѣ и Вс. Крестовскому), собралъ и издалъ въ двухъ томахъ всѣ произведенія гр. Л. Н. Толстого, какъ беллетристическія, такъ и педагогическія, изъ „Ясной Поляны". Итакъ, стало быть, физіономія этого писателя очертилась передъ нами вполнѣ; гр. Толстой сказалъ нынѣ свое послѣднее слово, и намъ остается только подвести итогъ его дѣятельности, опредѣлить въ короткихъ словахъ его авторскую profession de foi.—Чтобы уяснить себѣ характеръ литературныхъ произведеній, лежащихъ передъ нами, ихъ слѣдуетъ разсматривать съ двухъ разныхъ сторонъ — объективной и субъективной, т. е. со стороны непосредственнаго художественнаго таланта и личнаго настроенія, личнаго взгляда автора. Художественный талантъ гр. Т—го, его наблюдательность и тонкій психическій анализъ достаточно выразились въ его первомъ произведеніи („Дѣтство и Отрочество"); этимъ качествомъ и обязаны нѣкоторыя его повѣсти своимъ несомнѣннымъ успѣхомъ въ большинствѣ читающей публики. Въ тѣхъ случаяхъ, когда гр. Толстой не задается никакой предвзятой идеей, не силится произвести нѣчто новое и имѣющее удивить всю вселенную — онъ вполнѣ удовлетворяетъ своего читателя вѣрностью наблюденій и мастерскими штрихами въ обрисовкѣ изображаемыхъ имъ лицъ. Однимъ словомъ, чѣмъ скромнѣе задача, тѣмъ больше удаляетъ отъ себя авторъ всякое лукавое мудрованіе и преднамѣренную подтасовку своихъ художественныхъ изображеній—тѣмъ лучше и для него, и для публики. Къ этому разряду произведеній, представляющихъ вѣрную и безыскуственную комбинацію разныхъ житейскихъ фактовъ, относятся „Дѣтство и Отрочество", Севастопольскія воспоминанія, Кавказскіе очерки („Рубка лѣса", „Набѣгъ"), „Записки Маркера" и повѣсть „Поликушка". Мы бы отнесли сюда и романъ „Семейное счастье", если-бъ въ немъ не сквозила нѣкоторая задняя мысль, состоящая въ идеализаціи извѣстнаго быта, весьма, впрочемъ, буржуазнаго свойства. Мы напомнимъ вкратцѣ сюжетъ этого романа. Въ одной деревнѣ живетъ молодая дѣвушка, только что лишившаяся своей матери. Къ ней является въ качествѣ опекуна старый знакомый ихъ дома и вскорѣ овладѣваетъ ея вниманіемъ. Молодая дѣвушка влюбляется, наконецъ, въ своего пожилаго опекуна—и завязка романа готова.... Свадьба сыграна, но послѣ свадьбы обнаруживается все различіе въ лѣтахъ и симпатіяхъ обоихъ супруговъ: мужъ, немного

флегматикъ, спокойно взираетъ на жизнь, и его не волнуютъ суетныя страсти; молодая жена, напротивъ, ищетъ шума, блеска — чувства, болѣе пылкаго и увлекательнаго, чѣмъ то, которые находила она въ своемъ пожиломъ супругѣ. Начинается семейная драма, которую гр. Толстой весьма неловко подтасовываетъ къ моральному концу. Юная жена, почувствовавъ на своей щекѣ преступные поцѣлуи какого-то итальянскаго маркиза (драма эта разыгрывается, конечно, за-границей, на минеральныхъ водахъ), внезапно сознала свое паденіе и вернулась, благо еще не поздно, на стезю добродѣтели. „Мой мужъ и ребенокъ— говорила она—вспомнились мнѣ какъ давно бывшія дорогія существа, съ которыми у меня все кончено. Жизнь моя показалась мнѣ такъ несчастна, будущее такъ безнадежно, прошедшее такъ черно. Л. М. (ея подруга) говорила со мной, но я не понимала ея словъ. Мнѣ казалось, что она говорила со мной только изъ жалости, чтобы скрыть презрѣніе, которое я возбуждаю въ ней. Во всякомъ словѣ, во всякомъ взглядѣ мнѣ чудилось это презрѣніе и оскорбительная жалость. *Поцѣлуй стыдомъ жегъ мнѣ щеку*".

Бѣдная женщина начинаетъ даже въ эту минуту пенять на своего мужа: „зачѣмъ онъ не остановилъ ее? Зачѣмъ не употребилъ свою *власть любви надъ ней*?" т. е., говоря проще, зачѣмъ повезъ ее заграницу, а просто не оставилъ въ деревнѣ, гдѣ бы она навѣрное не встрѣтилась съ подобными искушеніями. Преступный поцѣлуй разыгралъ здѣсь роль фатума въ греческихъ трагедіяхъ, и раскаявшаяся жена сама просится назадъ въ деревню, въ которой происходитъ ея окончательное примиреніе съ мужемъ. Разсудительный читатель, конечно, замѣтитъ, что различіе въ характерахъ и темпераментахъ далеко не всегда ведетъ къ такому дешевому соглашенію, но всѣ подобныя замѣчанія будутъ излишними послѣ того, что сказали мы выше о личныхъ сочувствіяхъ и воззрѣніяхъ автора. Еще болѣе пострадали отъ тенденцій и лирическихъ вставокъ повѣсть „Люцернъ" и романъ „Казаки". Главное дѣйствующее лицо въ этой повѣсти князь Дмитрій Нехлюдовъ, выходящій впервые въ разсказахъ „Отрочество" и „Юность". Этотъ Нехлюдовъ, правда, нѣсколько развился и поумнѣлъ послѣ того, какъ онъ ѣздилъ въ гости къ Ивану Яковлевичу Корейшѣ и былъ радъ случаю познакомиться съ этимъ замѣчательнымъ человѣкомъ; (см. „Юность", стр. 109); но это развитіе также не очень высокой пробы, и люцернскій Schweizerhof пріютилъ въ себѣ частицу того же духа, который виталъ въ оны дни надъ Сивцевымъ-Вражкомъ. Дѣло въ томъ, что кн. Нехлюдовъ, блуждая по люцернской набережной, наткнулся на бѣднаго пѣвца, который долго распѣвалъ передъ окнами гостинницы и не получилъ за это ни одного франка въ награду отъ накрахмаленныхъ лордовъ и леди. Нехлюдовъ, который еще въ юности положилъ себѣ за правило сочувствовать „всему прекрасному и высокому", выходитъ изъ себя по этому поводу и дѣлаетъ глупѣйшій скандалъ, въ которомъ личность пѣвца употребляется, какъ стѣнобитное орудіе противъ англійской чопорности и высокомѣрія. Пѣвецъ, какъ и слѣдовало ожидать, не поблагодарилъ русскаго князя за медвѣжью демонстрацію, и Нехлюдовъ переноситъ свой гнѣвъ на весь люцернскій кантонъ, на всю швейцарскую республику, на всѣ республики въ мірѣ, гдѣ пѣвцы умираютъ съ голоду, а живутъ только чернорабочіе

съ трудовыми мозолями на рукахъ. Глубокомысленнѣйшіе вопросы приходятъ въ голову Нехлюдову; они идутъ все crescendo и разрѣшаются наконецъ удивительными политико-нравственными сентенціями („Отчего это развитые, гуманные люди, способные въ общемъ на всякое честное дѣло....“ и т. д. Выписка оканчивается словами: „Одинъ, только одинъ есть у насъ непогрѣшимый руководитель, Всемірный Духъ, проникающій насъ всѣхъ вмѣстѣ и каждаго какъ единицу, влагающій въ каждаго стремленіе къ тому, что должно“).

Эта краснорѣчивая лирическая тирада озадачиваетъ и сбиваетъ съ толку читателя; но онъ долженъ помнить неукоснительно, что графъ Толстой весьма плохъ въ отвлеченныхъ вопросахъ и попалъ тутъ не въ свою колею. Вся философская премудрость, изложенная здѣсь, называется просто квіэтизмомъ, и съ ней, кажется, нечего знакомить публику. „Не знаю, дескать, что хуже, что лучше; можетъ быть то и другое“. Какъ видитъ читатель, премудрость эта недалеко отстоитъ отъ философіи русскаго самородка и прорицателя Корейши, къ которому смолоду ѣздилъ на поклонъ князь Нехлюдовъ; только все облечено въ цвѣтистыя фразы, способныя отуманить недальновиднаго человѣка. Между тѣмъ вся бѣда произошла здѣсь отъ того, что гр. Толстой не ограничился изображеніемъ портрета Нехлюдова,—избалованнаго барича,—какихъ много, а задумалъ возвести его въ типъ всероссійскій, придать ему какія-то мудреныя заботы, которыя рѣшительно не лѣзутъ подъ этотъ узкій черепъ. Покуда шла рѣчь о московскомъ бытѣ Нехлюдова, гр. Толстой былъ вѣренъ своему таланту; онъ описывалъ очень вѣрно и юношескую любовь своего героя, и его дружбу съ Иртеньевымъ, такимъ же выродкомъ крѣпостнаго права и московскаго общества; но вотъ Нехлюдовъ подросъ и захотѣлъ фигурировать въ жизни—ему стало тѣсно въ классной комнатѣ, въ аудиторіи, и онъ пожелалъ выйти на болѣе открытую дорогу. Такимъ образомъ мы застаемъ его въ Люцернѣ нападающимъ на республиканскій строй жизни и въ деревнѣ („Утро помѣщика“), гдѣ онъ, какъ нѣкій добродѣтельный халифъ, обходитъ всѣ избы и благодѣтельствуетъ бѣднякамъ, при чемъ бѣдняки,—конечно, по глупости,—не цѣнятъ ни мало барской доброты.

Въ обоихъ послѣднихъ случаяхъ гр. Толстой могъ бы отнестись къ предмету юмористически; но онъ, какъ видно, очень любитъ своего героя и потому не даетъ его въ обиду читателямъ. Нехлюдовъ, въ доказательство своей умственной силы, извергаетъ изъ себя весь тотъ младенческій вздоръ, который мы привели выше.

Впрочемъ, замѣтимъ кстати, этотъ младенческій вздоръ, такъ же какъ и всѣ прочія мудреныя выходки Нехлюдова, привелъ въ восторгъ критика „Русскаго Слова“ 1864 г. (№-XII,—который сейчасъ же нашелъ поводъ измѣрить Нехлюдова Базаровымъ,) такой ужъ у этого критика аршинъ зевелся!). Въ Нехлюдовѣ критикъ, конечно, увидалъ цѣлый типъ и началъ объяснять: почему, дескать, князь побилъ Ваську и какъ бы слѣдовало поступить, чтобы не впасть въ такую продерзость (слѣдовало только начать говорить Васькѣ *вы*); почему набережная въ Люцернѣ не понравилась Нехлюдову, зачѣмъ нужно человѣку знаніе вообще, и прочее, и все въ такомъ же глубокомысленномъ родѣ. Насчетъ своей любимой базаровщины критикъ говоритъ: ,,Иртеньевъ Нехлюдовъ какъ по своему возрасту (возрастъ даже опредѣлилъ по

ъ догадкамъ), такъ и по характеру занимаютъ средину между ыми съ одной стороны и Базаровыми съ другой. Рудины—чистые уны, не имѣющіе даже понятія о возможности какой-нибудь дѣности, кромѣ дѣятельности языка. Базаровы—чистые работники, кающіе дѣятельность языка только въ томъ случаѣ, когда она ствуетъ успѣху работы. А Иртеньевы и Нехлюдовы—ни рыба, ни Они за все хватаются, вездѣ хотятъ произвести что-нибудь изу- ьно хорошее и въ то же время совсѣмъ ничего не знаютъ и рѣ- ьно ничего не умѣютъ сдѣлать, какъ слѣдуетъ". Не знаемъ, на- ко правъ критикъ, найдя для Нехлюдова такую фантастическую ку, но мы, съ своей стороны, находимъ, что если ужъ искать Іехлюдова и Иртеньева удобнаго помѣщенія, то всего лучше рас- ировать ихъ между... ну хоть между Ильей Муромцемъ (когда це ,,сидѣлъ сиднемъ" въ Карачаровѣ) и Васильемъ Буслаевичемъ, родскимъ богатыремъ. Илья Муромецъ не имѣлъ еще понятія о жности какой-нибудь дѣятельности; онъ чистый сидень и леже- Василій Буслаевичъ—чистый работникъ, который работаетъ все- льше руками, какъ напр. въ схваткѣ на Волховскомъ мосту, и о въ крайнемъ случаѣ допускаетъ дѣятельность языка, какъ напр. сѣдѣ съ матерью послѣ того, какъ онъ перекрошилъ новгород- мужиковъ. А Нехлюдовъ - ни рыба, ни мясо; онъ и дома по- ь любилъ и подраться не прочь (см. случай съ Васькой), такая лель, если она и не очень глубокомысленна то во всякомъ случаѣ и оригинальнѣе критическихъ измышленій „Русскаго Слова". Романъ „Казаки" являетъ въ себѣ тѣ же достоинства и недо- и, какъ и повѣсти, въ которыхъ дѣйствуетъ Нехлюдовъ. Карти- ɔироды и очерки кавказской жизни замѣчательны по своей худо- ɜенной отдѣлкѣ; впечатлѣнія героя романа, испытанныя имъ по здѣ въ эту полудикую страну, переданы вѣрно; но самый характеръ ина слабъ до нельзя, а движущая идея романа еще того хуже. ɜоей основной идеи „Казаки" ничуть ни выше тѣхъ байроничe- произведеній русской литературы, гдѣ наши цивилизованные ɜейцы отправлялись искать отдыха и забвенія въ страны, „гдѣ чахъ прячутся скалы, гдѣ люди вольны, какъ орлы". „Оленинъ ɜорится въ романѣ—былъ такъ свободенъ, какъ только бывали дны русскіе богатые молодые люди, съ молодыхъ лѣтъ оставшіе- зъ родителей. Для него не было никакихъ ни физическихъ, ни ьныхъ оковъ; онъ все могъ сдѣлать и *ничего ему не нужно было ито его не связывало*. У него не было *ни семьи, ни отечества, ры, ни нужды. Онъ ни во что не вѣрилъ и ничего не признавалъ*. ɜ признавая ничего, онъ *увлекался постоянно* (ч. II, 153 стр.). это напоминаетъ незабвеннаго „Кавказскаго плѣнника", про ко- о Пушкинъ говорилъ:

Людей и свѣтъ извѣдалъ онъ
И зналъ невѣрной жизни цѣну,
Въ сердцахъ людей нашелъ измѣну,
Въ мечтахъ любви—безумный сонъ.
Наскучивъ жертвой быть привычной
Давно презрѣнной суеты...
Отступникъ свѣта, другъ природы,
Покинулъ онъ родной предѣлъ
И въ край далекій полетѣлъ
Съ веселымъ призракомъ свободы.

Но что было привлекательно и своевременно въ двадцатыхъ годахъ нашего столѣтія, то пахнетъ анахронизмомъ въ шестидесятыхъ. Поздненько вздумалъ г. Толстой реставрировать старыя картины. Впрочемъ онъ, вѣроятно, раздѣляетъ мнѣніе Нехлюдова, что и „цивилизація не есть благо, а варварство не есть зло", и что можно, при случаѣ, промѣнять одно на другое? О педагогическихъ понятіяхъ гр. Т-го также было достаточно говорено въ „Современникѣ". Съ одной стороны, онѣ представляютъ лишь слабыя попытки „дойти своимъ собственнымъ умомъ" до тѣхъ истинъ, которыя давнымъ давно высказаны и даже частью осуществлены въ западно-европейской педагогической практикѣ. Такъ гр. Толстой думаетъ, что онъ открылъ Америку, сказавъ: „дѣтей не слѣдуетъ лишать и въ школѣ главнаго удовольствія — свободнаго движенія", а между тѣмъ на этомъ именно и построена цѣлая фребелевская система дѣтскихъ садовъ, которая успѣла даже проникнуть и къ намъ. Что же касается до удивительныхъ откровеній гр. Толстого, что онъ „не знаетъ и не можетъ знать, въ чемъ должно состоять образованіе народа", что воспитаніе и обученіе, хотя бы самыя раціональныя, „суть нравственный деспотизмъ и зиждуется только на гордости человѣческаго духа" (ч. II, стр. 276 и 286), то мы можемъ только пожалѣть объ извращенномъ мышленіи автора. Онъ очевидно смѣшиваетъ деспотизмъ съ естественнымъ вліяніемъ развитой мысли, а по части своего невѣжества, гдѣ добро и гдѣ зло въ жизни, - сильно напоминаетъ намъ люцернскаго Нехлюдова *).

1866.

.... Въ заключеніе одной изъ мастерскихъ своихъ повѣстей (*Севастополь въ Маѣ 1855*) гр. Л. Н. Толстой какъ-бы невольно высказалъ глубочайшій мотивъ своей поэзіи.

«Герой моей повѣсти — говоритъ онъ — котораго я люблю всѣми силами души, котораго старался воспроизвести во всей красотѣ его и который всегда былъ, есть и будетъ прекрасенъ — *правда*» (Ч. II, стр. 61) **).

Тутъ разомъ высказывается и то, что поэтъ ищетъ героя, ищетъ прекрасныхъ явленій жизни, и то, что онъ приступаетъ къ жизни съ требованіями неподкупной правды, и то, что въ своемъ строгомъ исканіи онъ не находитъ героя, не находитъ прекрасной жизни. Ему остается одно—признать свое исканіе за прекрасную черту, свои требованія за нормальное явленіе. Такъ онъ и сдѣлалъ, восхваляя свою правдивость.

Поэтъ въ своихъ поискахъ за жизнью и красотою приходилъ на бастіоны Севастополя во время его обороны. И что же? Повидимому, онъ и тутъ не нашелъ героическихъ чертъ. Оканчивая повѣсть, изъ которой мы привели заключеніе, онъ говоритъ:

---

*) Соврем. 1865 г., № 4.

**) Ссылки дѣлаются по изданію Стелловскаго: *Сочиненія гр. Л. Н. Толстого*. Въ двухъ частяхъ. Спб. 1864.

«Гдѣ выраженіе зла, котораго должно избѣгать? Гдѣ выраженіе добра. которому должно подражать въ этой повѣсти? Кто злодѣй, кто герой ея? Всѣ хороши и всѣ дурны» (тамъ же).

Если бы это было послѣднимъ словомъ автора, то отсюда слѣдовало бы, что всѣ явленія, какія нашелъ поэтъ въ русской жизни, безразличны, всѣ имѣютъ, такъ сказать, одну степень и всѣ одинаково далеки отъ явленій прекрасной, героической жизни. Мы увидимъ, однакоже, что не таковъ окончательный выводъ, что тяжелымъ трудомъ нашъ авторъ достигъ до другихъ, болѣе отрадныхъ взглядовъ.

Но вотъ постановка дѣла. Требуется открыть героя на русской землѣ, то-есть героя въ смыслѣ поэзіи, такое лицо, которое можно было бы воспѣвать, которому бы можно было сочувствовать. И вотъ авторъ выводитъ намъ цѣлую вереницу лицъ, могущихъ имѣть притязаніе на сочувствіе, и со своею безпощадною правдивостію доказываетъ намъ, что они не герои, а люди малодушные и пустые, несмотря на употребляемыя ими старанія быть вполнѣ хорошими людьми.

Что̀ же это за люди? Одного изъ нихъ авторъ опредѣляетъ весьма отчетливымъ образомъ:

«Оленинъ былъ юноша, нигдѣ некончившій курса, нигдѣ неслужившій (только числившійся въ какомъ-то присутственномъ мѣстѣ), проматавшій половину своего состоянія, и до двадцати-четырехъ лѣтъ неизбравшій еще себѣ никакой карьеры и никогда ничего недѣлавшій. Онъ былъ то, что̀ называется «молодой человѣкъ» въ московскомъ обществѣ» (ч. II, стр. 153).

Всякій замѣтитъ, что это старая исторія. Это тотъ же Онѣгинъ, который,

Доживъ безъ цѣли, безъ трудовъ
До двадцати-пяти годовъ,
Безъ службы, безъ жены, безъ дѣлъ,
Ничѣмъ заняться не умѣлъ

Но процессъ тоски, снѣдавшей Онѣгина, у этихъ людей сталъ глубже и опредѣленнѣе, то-есть симптомы болѣзни раскрылись въ несравненно большей степени.

Воспитаніе—вполнѣ похоже на онѣгинское. Николай Иртеньевъ съ величайшей живостію разсказалъ намъ свое «дѣтство» и «отрочество», и тутъ видно, что эти люди росли, не испытывая никакихъ нравственныхъ и умственныхъ вліяній, которыя бы могли развитію ихъ души и наложили бы на нее свою печать. Что̀ до нравственнаго вліянія, то Иртеньевъ прямо говоритъ:

«Заботою о насъ отца было не столько нравственность и образованіе, сколько свѣтскія отношенія» (ч. I, стр. 102).

Что касается до умственнаго развитія, то нельзя не обратить вниманія на замѣчаніе Иртеньева, что *исторія всегда казалась ему самымъ скучнымъ тяжелымъ предметомъ*, и нельзя не найти комическимъ слѣдующій урокъ изъ исторіи:

„— Позвольте перышко, сказалъ мнѣ учитель, протягивая руку.— Оно пригодится. Ну съ.

— Людо... Кар... Людовикъ святой былъ... былъ... былъ... добрый и умный царь...

— Кто-съ?

— Царь. Онъ вздумалъ пойти въ Іерусалимъ и *передалъ бразды правленія* своей матери.

— Какъ ее звали-съ?

— Б .. б... ланка.

— Какъ-съ? Буланка?

Я усмѣхнулся какъ-то криво и неловко.

— Ну-съ, не знаете ли еще чего-нибудь? сказалъ онъ съ усмѣшкой" (ч. I, стр. 63).

При этомъ разсказѣ невольно чувствуется, что изъ чужеземной исторіи, какъ она у насъ до сихъ поръ преподается, намъ всего доступнѣе

Лишь дней минувшихъ анекдоты.

При такомъ ходѣ дѣла было однако же одно вліяніе, которое обнаруживала окружающая среда на этихъ отроковъ и которое, разумѣется, дѣйствовало на нихъ очень сильно. Именно на мѣсто различенія добра и зла, свѣта и тьмы, красоты и безобразія, въ душахъ ихъ было развиваемо понятіе comme il faut, понятіе—говоритъ Николай Иртеньевъ—«которое въ моей жизни было однимъ изъ самыхъ пагубныхъ, ложныхъ понятій, привитыхъ мнѣ воспитаніемъ и обществомъ.

«Родъ человѣческій можно раздѣлять на множество отдѣловъ – на богатыхъ бѣдныхъ, на добрыхъ и злыхъ, на военныхъ и статскихъ, на умныхъ и глупыхъ и т. д.; но у каждаго человѣка есть непремѣнно свое любимое, главное подраздѣленіе, подъ которое онъ безсознательно подводитъ каждое новое лицо. Мое любимое и главное подраздѣленіе людей, въ то время, о которомъ я пишу, было на людей comme il faut и на comme il ne faut pas.

«Comme il faut было для меня не только важной заслугой, прекраснымъ качествомъ, совершенствомъ, котораго я желалъ достигнуть, но это было необходимое условіе жизни, безъ котораго не могло быть ни счастья, ни славы, ничего хорошаго на свѣтѣ. Я не уважалъ бы ни знаменитаго артиста, ни ученаго, ни благодѣтеля рода человѣческаго, еслибы онъ не былъ comme il faut. Человѣкъ comme il faut стоялъ выше и внѣ сравненія съ ними; онъ предоставлялъ имъ писать картины, ноты, книги, дѣлать добро — онъ даже хвалилъ ихъ за это, отчего же и не похвалить хорошаго, въ комъ бы оно ни было, но онъ не могъ становится съ ними подъ одинъ уровень; онъ былъ comme il faut. а они нѣтъ - и довольно. Мнѣ кажется даже, что ежели бы у насъ былъ братъ, мать или отецъ, которые бы не были comme il faut, я-бы сказалъ, что это несчастіе, но что ужъ тутъ между мной и ими не можетъ быть ничего общаго» (ч. I, стр. 123).

Вотъ катихизисъ, который былъ внушаемъ этимъ людямъ средою, ихъ окружавшею. Какъ не вспомнить здѣсь Онѣгина, который не прежде влюбился въ Татьяну, какъ увидавши ее блестящей свѣтской дамой, такою, что

Она казалась вѣрный снимокъ
Du comme il faut,

и который былъ очень удивленъ, когда подъ этою внѣшностію нашелъ настоящую Татьяну, Татьяну не comme il faut, честную русскую женщину.

И большой Онѣгинъ и маленькій Печоринъ, несмотря на тоску, "рызущую, остаются однако въ томъ обществѣ, среди котораго

родились. Съ героями гр. Л. Толстого дѣло происходитъ иначе. У нихъ рано начинается разладъ съ понятіями, привитыми обществомъ, и они уходятъ изъ своего круга и пускаются по всевозможнымъ путямъ, ища иныхъ людей и иной жизни для себя. Нехлюдовъ уходитъ въ деревню, Оленинъ въ казацкую станицу, другіе на Кавказъ въ дѣйствующіе отряды, или въ Севастополь, или даже, какъ Делесовъ, на петербургскіе шпиц-балы, чтобы встрѣтиться тамъ съ Альбертомъ.

Разладъ происходитъ не у всѣхъ, а именно только у тѣхъ, кого гр. Толстой избираетъ своими героями. Другіе юноши легко сливаются съ своею средою. Такъ братъ Николая Иртеньева, Володя, спокойно вступаетъ на путь своего отца. Такъ Бѣлецкій, встрѣтившійся съ Оленинымъ среди казаковъ, не чувствуетъ ни малѣйшаго разлада съ жизнью.

„Общее мнѣніе о Бѣлецкомъ было то, что онъ милый и добродушный малый! Можетъ быть, онъ дѣйствительно былъ такой; но Оленину онъ показался, несмотря на добродушное хорошенькое лицо, чрезвычайно непріятенъ“ (Ч. II, стр. 187).

Немудрено; между этими людьми нѣтъ ничего общаго. Одинъ принадлежитъ окружающей жизни, другой отъ нея оторвался. Одинъ легко ко всему прилаживается, для другого всякое жизненное явленіе составляетъ задачу.

„Бѣлецкій — разсказывается далѣе — сразу вошелъ въ обычную жизнь богатаго кавказскаго офицера въ столицѣ. Онъ подпаивалъ стариковъ, дѣлалъ вечеринки“ и проч. „Казаки, ясно опредѣлившіе себѣ этого человѣка, любившаго вино и женщинъ, привыкли къ нему и даже полюбили его больше, чѣмъ Оленина, который былъ для нихъ *загадкой*“.

Прибавимъ—загадкой и для самого себя. Далѣе въ разговорѣ съ Бѣлецкимъ, Оленинъ самъ выражаетъ сознаніе своей разнородности съ нимъ и съ цѣлымъ міромъ, къ которому тотъ принадлежитъ. Оленинъ говоритъ:

„— Я знаю, что *я составляю исключеніе* (онъ видимо былъ смущенъ). Но жизнь моя устроилась такъ, что я не вижу не только никакой потребности измѣнять свои правила, но я бы не могъ жить здѣсь, не говорю уже жить такъ счастливо, какъ живу, ежели бы я жилъ *по вашему*. И потомъ, я *совсѣмъ другого* ищу, *другое* вижу въ нихъ (женщинахъ), *чѣмъ* вы“. (Ч. II, стр. 189).

Вотъ эти-то загадки для себя и другихъ, эти исключенія изъ общаго правила и составляютъ главныхъ лицъ, выводимыхъ у графа Толстого. Лица эти—несчастные, страдающіе люди, въ противоположность счастливымъ и довольнымъ собою Володямъ, Бѣлецкимъ, Дубковымъ и всему множеству вообще. У нашихъ героевъ есть только одно счастливое время жизни, не *юность*, которая по ходячему романическому мнѣнію составляетъ лучшую пору каждаго человѣка, не *мужество*, которое по сущности дѣла должно бы представлять полное раскрытіе жизни, а *дѣтство*, первоначальная пора, когда человѣка еще нѣтъ, а есть только задатокъ человѣка. Дѣтство является для нихъ единственною свѣтлою точкой. Вотъ какъ говорятъ они объ немъ въ зрѣлыхъ лѣтахъ:

„Счастливая, счастливая, невозвратимая пора дѣтства! Какъ не любить, не лелѣять воспоминаній объ ней? Воспоминанія эти освѣжа-

ютъ, возвышаютъ мою душу и служатъ для меня источникомъ наслажденій. (Ч. I, стр. 24).

„Вернутся ли когда нибудь та свѣжесть, беззаботность, потребность любви и сила вѣры, которыми обладаешь въ дѣтствѣ? *Какое время можетъ быть лучше* того, когда двѣ лучшія добродѣтели — невинная веселость и безпредѣльная потребность любви, были единственными побужденіями въ жизни?“

„Гдѣ тѣ горячія молитвы? Гдѣ лучшій даръ — тѣ чистыя слезы умиленія? Прилеталъ ангелъ-утѣшитель, съ улыбкой утиралъ слезы эти и напѣвалъ сладкія грёзы неиспорченному дѣтскому воображенію“.

„Неужели жизнь оставила такіе тяжелые слѣды въ моемъ сердцѣ, что навѣки отошли отъ меня слезы и восторги эти? Неужели остались одни воспоминанія?“ (Тамъ же, стр. 25).

Конечно, нужно считать очень несчастливыми людей, у которыхъ есть дѣтство, но нѣтъ юности и мужества въ настоящемъ смыслѣ. Жизнь, имѣющая такой ходъ, очевидно, поражена глубокой неправильностію.

Что̀ же случается? Какъ мы уже сказали, у героевъ гр. Толстого возникаетъ разладъ съ окружающимъ міромъ. Процессъ возникновенія этого разлада описанъ у гр. Толстого со всею отчетливостію. Не то, чтобы окружающая дѣйствительность поражала этихъ людей своимъ безобразіемъ, или производила на нихъ давленіе, изъ-подъ котораго они старались выбиться; не то, чтобы въ душѣ ихъ существовали стремленія, которыя не находили себѣ пищи, существовала жажда дѣятельности, для которой не оказывалось простора; нѣтъ—дѣло здѣсь имѣло совершенно иной видъ.

Среди той пустоты, того отсутствія вліяній, въ которомъ эти люди провели свое дѣтство и отрочество, у нихъ въ извѣстную пору, въ силу внутренняго развитія души, возникали идеальныя стремленія, чрезвычайно сильныя и совершенно неопредѣленныя. Въ этомъ была ихъ бѣда, пощадившая другихъ юношей. Свѣтъ возникшаго идеала былъ такъ силенъ, что міръ comme il faut исчезалъ передъ нимъ безъ слѣда; идеалъ почти не удостоивалъ бороться съ этимъ міромъ. Такимъ образомъ, эти люди оставались наединѣ съ собою, отрѣзанные отъ своей дѣятельности. Но въ то же время молодой позывъ къ идеалу не успѣваетъ сформироваться въ опредѣленныя требованія и желанія. Недостаетъ руководства, примѣровъ, формъ, словъ и очертаній, которыя помогли бы широкому и сильному идеалу, такъ сказать, сложиться въ опредѣленный организмъ. Поэтому душа, если можно такъ выразиться, не доростаетъ; являются страдающіе люди, которые не знаютъ что имъ дѣлать и какъ имъ дѣлать, которые и въ себѣ и въ другихъ постоянно отыскиваютъ идеальную сторону жизни, мучатся ея отсутствіемъ, и иногда доходятъ до совершеннаго сомнѣнія въ ея существованіи.

Переломъ, которымъ начинается этотъ разладъ, наступаетъ въ *юности*.

„Подъ вліяніемъ Нехлюдова—разсказываетъ Николай Иртеньевъ—я невольно усвоилъ и его направленіе, сущность котораго составляло *восторженное обожаніе идеала добродѣтели* и убѣжденіе въ назначеніи человѣка совершенствоваться. Тогда исправить все человѣчество, уничтожить всѣ пороки и несчастія людскія, казалось удобоисполнимою

вещью—очень легко и просто казалось исправить самого себя, усвоить всѣ добродѣтели и быть счастливымъ"... (Ч. I, стр. 80).

Совершенно опредѣленно эта эпоха обозначена нѣсколько далѣе:

„Тѣ добродѣтельныя мысли, которыя мы въ бесѣдахъ перебирали съ обожаемымъ другомъ моимъ Дмитріемъ, *чудеснымъ Митей*, какъ я самъ съ собою шопотомъ иногда называлъ его, еще нравились только моему уму, а не чувству. Но пришло время, когда эти мысли съ такой свѣжей силой моральнаго открытія пришли мнѣ въ голову, что я испугался, подумавъ о томъ, сколько времени я потерялъ даромъ, и тотчасъ же, ту же секунду, захотѣлъ прилагать эти мысли къ жизни, съ твердымъ намѣреніемъ никогда уже не измѣнять имъ.

„И съ этого времени я считаю начало *юности*.

„Мнѣ былъ тогда шестнадцатый годъ въ исходѣ".

Тутъ же сказывается и неопредѣленность этихъ порывовъ, пробудившихся съ такою силою.

„Этотъ пахучій сырой воздухъ и радостное солнце говорили мнѣ внятно, ясно *о чемъ-то новомъ и прекрасномъ*, которое хотя *я не могу передать* такъ, какъ оно сказывалось мнѣ, а постараюсь передать такъ, какъ я воспринималъ его — все мнѣ говорило про красоту, счастье и добродѣтель, говорило, что какъ то, такъ и другое легко и возможно для меня, что одно не можетъ быть безъ другого, и даже, что красота, счастье и добродѣтель одно и то же".

Иртеньевъ мечтаетъ о своей новой жизни:

„ .... въ точности буду исполнять все (что было это „все", я *никакъ бы не могъ сказать* тогда, но я живо понималъ и чувствовалъ это „все" разумной, нравственной, безупречной жизни)".

А вотъ описаніе подобнаго пробужденія идеала у другого героя, двадцатичетырехлѣтняго юноши Оленина - лица, къ которому авторъ отнесся болѣе строго, чѣмъ къ Иртеньеву. Оленинъ въ лѣсу задаетъ себѣ вопросъ: „какъ же надо жить, чтобы быть счастливымъ и отчего онъ не былъ счастливымъ прежде?"

„И вдругъ ему какъ будто открылся новый свѣтъ. „Счастье вотъ что—сказалъ онъ самъ себѣ - счастье въ томъ, чтобы жить для другихъ. И это ясно. Въ человѣка вложена потребность счастья; стало быть, она законна. Удовлетворяя ее эгоистически, то-есть отыскивая для себя богатства, славы, удобствъ жизни, любви. можетъ случиться, что обстоятельства такъ сложатся, что невозможно будетъ удовлетворить этимъ желаніямъ. Слѣдовательно, эти желанія незаконны, а не потребность счастья незаконна. Какія же желанія всегда могутъ быть удолетворены, несмотря на внѣшнія условія? Какія? Любовь, самоотверженіе!" Онъ такъ обрадовался и взволновался, открывъ эту, какъ ему казалось, новую истину, что вскочилъ, и въ нетерпѣніи сталъ искать, для кого бы ему поскорѣе пожертвовать собой, кому бы сдѣлать добро, кого бы полюбить" (Ч. II, стр. 183).

Какъ все это молодо и благородно! Несмотря на то, что авторъ не только не льститъ этимъ юношамъ, а напротивъ, почти готовъ отнестись къ нимъ комически (чистаго комическаго отношенія, какъ мы замѣтили, у него не бываетъ, потому что это—не свободное, самообладающее творчество), нельзя не сочувствовать этимъ порывамъ. „Богъ одинъ знаетъ — говоритъ съ сомнѣніемъ авторъ — *точно ли*

смѣшны были эти благородныя мечты юности"; но въ другомъ, болѣе *объективномъ* мѣстѣ, гр. Толстой ясно высказываетъ, какую цѣну имѣютъ эти мечты.

„Этотъ-то голосъ раскаянія и страстнаго желанія совершенства и былъ главнымъ новымъ душевнымъ ощущеніемъ въ ту эпоху моего развитія, и онъ-то положилъ новыя начала моему взгляду на себя, на людей и на міръ божій. Благій, отрадный голосъ, столько разъ съ тѣхъ поръ, въ тѣ грустныя времена, когда душа молча покорялась власти жизненной лжи и разврата, вдругъ смѣло возстававшій противъ всякой неправды, злостно обличавшій прошедшее, указывавшій, заставляя любить ее, ясную точку настоящаго и обѣщавшій добро и счастіе въ будущемъ—благій, отрадный голосъ! Неужели ты перестанешь звучать когда нибудь?" (Ч I, стр. 86).

Есть люди, у которыхъ никогда не звучалъ этотъ голосъ; есть такіе, у которыхъ онъ звучитъ въ извѣстную пору, но легко заглушается голосомъ нуждъ, страстей, привычекъ и примѣровъ окружающей жизни; чаще же всего люди, подавляемые жизнью, чувствуютъ смиреніе передъ нею, не смѣютъ становиться выше ея и предлагать ей требованія, считаютъ дерзостію возложить и на себя большія надежды, и потому слѣпо влекутся обстоятельствами, смутно сознавая, что должна быть какая-то другая жизнь, которая, однако, имъ не по силамъ.

Но у героевъ гр. Толстого, голосъ идеала звучитъ громко и не даетъ имъ никогда успокоиться. Одинъ изъ нихъ, чувствуя, что мелкія страсти и привычки совершенно завладѣли его душою, сталъ такъ для себя гадокъ, что застрѣлился („Разсказъ Маркера"). Всѣ они приступаютъ къ себѣ и къ жизни съ огромными требованіями; у всѣхъ постоянно шевелится въ душѣ вопросъ, который рано задалъ себѣ Николай Иртеньевъ: „Зачѣмъ все такъ прекрасно, ясно у меня въ душѣ, и такъ безобразно выходитъ на бумагѣ и вообще въ жизни, когда я хочу примѣнять къ ней что нибудь изъ того, что думаю?..."

Тутъ намъ слѣдовало бы привести цѣлый рядъ комическихъ явленій съ молодыми людьми гр. Толстого—явленій, впрочемъ, очень обыкновенныхъ у всякаго рода молодыхъ людей. Явленія эти состоятъ въ томъ, что юноши прикидываются взрослыми людьми, обнаруживаютъ интересы, желанія, потребности, которыхъ не имѣютъ, волнуются чувствами, которыхъ не питаютъ, однимъ словомъ, *напускаютъ* на себя всякаго рода содержаніе, котораго еще лишены ихъ юныя души. Николай Иртеньевъ разсказываетъ про себя:

„Я продолжалъ считать своею непремѣнною обязанностію скрывать отъ всего общества Нехлюдовыхъ и въ особенности отъ Вареньки свои настоящія чувства и наклонности и старался выказывать себя совершенно другимъ молодымъ человѣкомъ отъ того, какимъ я былъ въ дѣйствительности, и даже такимъ, какого не могло быть въ дѣйствительности" (Ч. I, стр. 136).

Подобныхъ обезьянничаній приведено множество въ разсказахъ гр. Толстого. Смыслъ явленій такъ простъ, что не нуждается ни въ какомъ поясненіи. Комизмъ—вотъ единственное правильное отношеніе къ нимъ; но замѣчательно, что именно этого то отношенія и не устанавливается у гр. Толстого. Очевидно, комизмъ былъ бы возможенъ

только въ томъ случаѣ, еслибы у юношей, о которыхъ идетъ рѣчь, на ряду съ фальшивыми проявленіями, постепенно возрастали и усиливались дѣйствительныя чувства, желанія и потребности. Тогда эта дѣйствительная душевная жизнь могла бы утѣшить человѣка въ томъ, что онъ, въ иныхъ случаяхъ поддался фальши, и дать ему надежду, что онъ, наконецъ, навсегда избавится отъ фальши. Но, къ несчастію, здѣсь нѣтъ этого утѣшенія и этой надежды. Герои гр. Толстого чувствуютъ, что въ душѣ ихъ нѣтъ живыхъ движеній, и потому, съ горестью и уныніемъ видятъ въ себѣ одну фальшь. Прекрасный идеалъ, который они носятъ въ душѣ, заставляетъ ихъ страдать отъ той фальши, которой другіе предаются съ увлеченіемъ, и о которой вспоминаютъ потомъ со смѣхомъ. Какое глубокое недовольство собою долженъ былъ чувствовать Николай Иртеньевъ, напримѣръ, при такомъ собственномъ поведеніи:

„Вспомнивъ, какъ Володя цѣловалъ прошлаго года кошелекъ своей барышни, я попробовалъ сдѣлать то же, и, дѣйствительно, когда я одинъ вечеромъ въ своей комнатѣ сталъ мечтать, глядя на цвѣтокъ, и прикладывать его къ губамъ, я почувствовалъ нѣкоторое пріятно-слезливое расположеніе и снова былъ влюбленъ, или такъ предполагалъ въ продолженіе нѣсколькихъ дней“ (Ч. I, стр. 132).

Бѣдный мальчикъ! Онъ, очевидно, ясно чувствуетъ фальшь, ко которой Володя конечно предавался, не задумываясь, какъ будто дѣло дѣлалъ.

Откуда же, спрашивается, такое отсутствіе живыхъ интересовъ и потребностей у этихъ юношей? Мы уже указывали на отсутствіе умственныхъ и нравственныхъ вліяній, среди которыхъ они развивались. Внѣшнія ихъ обстоятельства давали имъ полную возможность жить особнякомъ, не связывая себя тѣсно ни съ какими людьми, ни съ какимъ опредѣленнымъ дѣломъ. Вотъ какъ авторъ описываетъ положеніе Оленина:

«Въ восемнадцать лѣтъ Оленинъ былъ такъ свободенъ, какъ только бывали свободны русскіе богатые молодые люди сороковыхъ годовъ, съ молодыхъ лѣтъ оставшіеся безъ родителей. *Для него не было никакихъ ни физическихъ ни нормальныхъ оковъ*; онъ все могъ сдѣлать, и ничего ему не нужно было, и ничто его не связывало. *У него не было ни отечества, ни вѣры, ны нужды. Онъ ни во что не вѣрилъ и ничего не признавалъ*» (Ч. II, стр. 153).

Другой герой слѣдующимъ образомъ указываетъ на то, какъ понятія, среди которыхъ онъ воспитывался, отрывали его отъ дѣйствительности.

«Ни потеря золотого времени, употребленнаго на постоянную заботу о соблюденіи всѣхъ трудныхъ для меня условій comme il faut, *исключающихъ всякое серьезное увлеченіе*, ни ненависть и презрѣніе къ девяти-десятымъ рода человѣческаго, ни отсутствіе вниманія ко всему прекрасному, совершающемуся внѣ кружка comme il faut, все это еще было не главное зло, которое мнѣ причинило это понятіе. *Главное зло* состояло въ томъ убѣжденіи, что comme il faut есть *самостоятельное положеніе въ обществѣ*, что человѣку не нужно стараться быть ни чиновникомъ, ни каретникомъ, ни солдатомъ. ни ученымъ, когда он

comme il faut; что достигнувъ этого положенія, онъ *уже исполняетъ свое назначеніе* и даже становится выше большей части людей».

«Въ извѣстную пору молодости, послѣ многихъ ошибокъ и увлеченій, каждый человѣкъ обыкновенно *становится въ необходимость* дѣятельнаго участія въ общественной жизни, выбираетъ какую-нибудь отрасль труда и посвящаетъ себя ей; но съ человѣкомъ comme il faut это *рѣдко случается*. Я зналъ и знаю очень, очень много людей старыхъ, гордыхъ, самоувѣренныхъ, рѣзкихъ въ сужденіяхъ, которые на вопросъ, если такой задастся имъ на томъ свѣтѣ: «кто ты такой? И что ты тамъ дѣлалъ?» не будутъ въ состояніи отвѣтить иначе, какъ: je fus un homme très comme il faut».

«Эта участь ожидала меня» (Ч. I, стр. 124).

Изъ этого видно, что пустая, безсодержательная среда не давала этимъ юношамъ никакой точки опоры, никакого живого, теплаго прикосновенія къ дѣйствительности. Но это только внѣшнее условіе или возможность для ихъ особаго развитія. Внутреннее, существенное условіе, по которому они не стали въ ряды *очень и очень многихъ*, почему они были выброшены изъ своей среды и почуяли въ себѣ такую страшную пустоту, заключается въ ихъ душевномъ пробужденіи, въ томъ порывѣ къ идеалу, отъ котораго начинается разладъ ихъ жизни.

«Бываютъ люди — замѣчаетъ авторъ — лишенные этого порыва, которые, сразу входя въ жизнь, надѣваютъ на себя первый попавшійся хомутъ и честно работаютъ въ немъ до конца жизни».

Вся бѣда нашихъ героевъ въ томъ и заключается, что они ни мало на такихъ людей не похожи, и, напримѣръ, прежде всего сбрасываютъ съ себя хомутъ comme il faut, въ которомъ многіе чувствуютъ себя такъ счастливо.

«Оленинъ—разсказываетъ авторъ—раздумывалъ надъ тѣмъ, куда положить всю силу молодости, только разъ въ жизни бывающую въ человѣкѣ, тотъ неповторяющійся порывъ, ту на одинъ разъ данную человѣку власть *сдѣлать изъ себя все, что онъ хочетъ и какъ ему кажется*, и *изъ всего міра все, что ему хочется*».

«Оленинъ слишкомъ сознавалъ въ себѣ присутствіе этого всемогущаго бога молодости, эту способность превратиться въ одно желаніе, въ одну мысль, способность захотѣть и сдѣлать, броситься головой внизъ въ бездонную пропасть, не зная за что, не зная зачѣмъ».

Итакъ вотъ каковы герои гр. Толстого. Это не худшіе наши люди, а скорѣе лучшіе. Это исключенія изъ нашей жизни, но исключенія, порожденныя самою жизнью, ея пустотою и безсодержательностію. Въ нихъ проснулась неумирающая душа человѣческая, они почувствовали въ себѣ порывъ къ идеалу, услышали его зовущій голосъ. Они пошли за нимъ и попали въ тотъ тяжелый разладъ съ самими собою и съ окружающими людьми, который составляетъ главную тему графа Толстого. При свѣтѣ своего идеала они сами себѣ кажутся пустыми и мертвенными, а окружающая ихъ жизнь является имъ темною и мелкою *).....

Н. Страховъ.

*) „Отеч. Записки“ 1866 декабря, книга 1 и 2. „Наша изящная словесность“.

1867.

... Разсказъ начинается въ Зимнемъ Дворцѣ, на вечерѣ у фрейлины Императрицы-Матери. Блестящее общество собрано у нея и слухи о предстоящей войнѣ противъ Франціи составляютъ канву всѣхъ разговоровъ, которые, впрочемъ, не отличаются патріотическимъ настроеніемъ. Они идутъ почти сплошь на французскомъ языкѣ, съ рѣдкою примѣсью русскихъ, непереводимыхъ словъ.

Но эта смѣсь, звучащая въ наше время дряхлымъ, неизлѣчимымъ ребячествомъ старости, въ ту пору имѣла свой дѣтскій, наивный комизмъ и очень понятное оправданіе. Вспомнимъ, что мы въ Петербургѣ и при дворѣ и что около вѣка уже, какъ вся Европа въ лицѣ своего высшаго общества была подъ обаяніемъ дворцоваго блеска Франціи, ея славы и просвѣщенія, и что отголосокъ эпохи Людовика XIV не успѣлъ еще ослабѣть, какъ пожаръ революціи и немедленно вслѣдъ за нимъ громкіе подвиги новаго Цезаря явились на смѣну. Наше же русское общество и особенно та сторона его, которою мы тогда прикасались къ Европѣ, высшій кружокъ Петербурга и дворъ, все это было въ томъ нѣжномъ возрастѣ, въ которомъ самостоятельность немыслима, и сила внѣшняго впечатлѣнія не уравновѣшивается никакимъ устоемъ внутри. Требовать, чтобы мы въ ту пору имѣли свою оригинальность, также неразсудительно, какъ ожидать, чтобы бѣлый листъ въ типографскомъ станкѣ не получилъ отпечатка. Подражательная наклонность дѣтей извѣстна. Воображеніе ихъ полно тѣмъ, что ежедневно видятъ вокругъ себя, что ярче сіяетъ и громче звучитъ. Они стараются походить на взрослыхъ, перенимаютъ ихъ тонъ и манеры и инстинктивно ихъ пародируютъ въ своихъ играхъ. По этой простой причинѣ тонъ нашего высшаго общества въ Петербургѣ въ ту пору, конечно, не могъ быть ничѣмъ другимъ, какъ отголоскомъ внѣшней, поверхностной стороны эмиграціи—большею частью, рѣже—бонапартизма и еще рѣже, еще поверхностнѣе того либеральнаго настроенія, въ которомъ первые дни революціи застали блестящую молодежь французской аристократіи. Всѣ эти оттѣнки и вся эта легкомысленная, наивная, чисто дѣтская аффектація мастерски выражены въ первыхъ главахъ разсказа. Вы съ перваго взгляда видите, что все это маленькое собраніе далеко не доросло еще до того, чтобы имѣть какую-нибудь своеобразную физіономію. Это не русскіе и не французы, а шалуны и шалуньи, съ комической важностью разыгрывающіе какую-то маленькую игру. Всѣ они пропитаны амбиціею тончайшаго вкуса и безупречной порядочности; но никому изъ нихъ и на мысль не приходитъ быть порядочнымъ на свой собственный ладъ, а не по преданіямъ Faubourg St. Germain. Преданія эти и даже сплетни знакомы имъ наизусть какъ нѣчто такое, что стыдно было бы не знать, и притворяются съ забавною торопливостью школьниковъ, спѣшащихъ напере-

рывъ доказать, что они знаютъ отлично урокъ. Чтобы усилить еще правдоподобіе этой игры, настоящій, живой французъ и не простой какой-нибудь, а самаго перваго сорта, Мортемаръ (allié aux Montmorencys par les Ropans, tout ce qu'il y a de plus Faubourg St. Germain) сервированъ заботливою хозяйкой своимъ гостямъ, какъ нѣчто сверхъестественное-утонченное, какъ настоящій, живой образецъ хорошаго общества; и передъ этимъ-то образцомъ, какъ передъ истиннымъ знатокомъ и цѣнителемъ, наши маленькіе актеры разыгрываютъ свою маленькую комедію съ такимъ живымъ, ребяческимъ аппетитомъ и увлеченіемъ, что нѣтъ никакой возможности разсердиться на нихъ серьезно на эту шалость. Роли не розданы, а разобраны на-расхватъ; по какому-то безмолвному соглашенію всякій себѣ захватилъ, не спрашивая то, что ему больше нравится и больше къ лицу. Тутъ есть и пасмурный, разочарованный левъ и салонный клоунъ, дурачекъ, причесанный à la Titus, въ панталонахъ цвѣта cuisse de nymphe éffrayée и съ лорнетомъ въ глазу; есть и хорошенькая княгиня, которая ведетъ себя такъ, какъ будто бы все, что она ни дѣлала, было partie de plaisir для нея и для всѣхъ окружающихъ, княгиня, о которой виконтъ отозвался снисходительно, что она bien, mais très bien et tout à fait Française; и писанная красавица княжна, съ неизмѣнной, спокойной улыбкою торжества, предоставляющая любоваться собою всякому, безъ разбора. За дирижера, конечно,—хозяйка, болѣе всѣхъ озабоченная успѣхомъ пьесы и старательно наблюдающая за равномѣрнымъ, приличнымъ тактомъ пущенной ею въ ходъ разговорной машины. Комедія этого рода съ тѣхъ поръ повторяема была безконечное число разъ и дается у насъ до сихъ поръ нерѣдко, съ тою только разницею, что въ ту пору она была свѣжа и естественна, а теперь устарѣла, утратила всякій смыслъ и всякому нравственно взрослому, сколько-нибудь размышляющему изъ насъ, опротивѣла до послѣдней степени. Были однако же и тогда умныя дѣти, которымъ она не нравилась. Въ гостинныхъ, разыгрывая французовъ и съ дѣтства невольно усвоивъ себѣ всѣ внѣшніе ихъ пріемы, они понимали однако, что это ребячество и что пора уже это бросить, потому что ихъ ждетъ впереди другое, серьезное дѣло, въ виду котораго оставаться дѣтьми постыдно. Дѣло въ томъ, что французами ни они, ни другіе, ихъ окружащіе, въ сущности не были никогда, и не могли ими сдѣлаться. Свободное гибкое отношеніе къ внѣшней формѣ, способность выйти изъ своего и, быстро усвоивъ чужое, потомъ также быстро и легкомысленно бросить его; короче, именно то, что дѣлало ихъ способными такъ хорошо ломаться на чужеземный ладъ,—это-то именно и отличало ихъ отъ иностранцевъ и отъ французовъ въ особенности. И ни одинъ изъ нихъ, какъ бы онъ ни былъ чуждъ снаружи всего народнаго, какъ ни былъ бы увлеченъ блескомъ моды, никогда не могъ сжиться съ своею салонною ролью до такой степени, чтобы ему трудно было, въ любую минуту, сбросить ее съ себя и явиться совсѣмъ другимъ человѣкомъ.

Это быстрое и естественное выглядываніе мимоходомъ грубоватаго, но энергическаго русскаго лица изъ-подъ прилизанной, щепетильной маски, надѣтой имъ на себя для потѣхи, оцѣнено было авторомъ очень тонко и проведено съ-подрядъ черезъ весь разсказъ. Но ---ъ-стами актеры его и совсѣмъ снимаютъ маску. Не успѣли гости разъ-

ѣхаться послѣ вечера у Анны Павловны Шереръ, какъ мы видимъ уже, съ двухъ разныхъ сторонъ, протестъ противъ той черты современной жизни, которую авторъ изобразилъ этимъ вечеромъ. Съ одной стороны, это искренняя и серьезная, полная гордаго сознанія своего достоинства, исповѣдь князя Андрея; съ другой—это дикій взрывъ молодой, буйной силы и беззавѣтной удали, на квартирѣ у молодого Курагина, послѣ игры и ночной попойки. Тутъ уже нѣтъ и духу щепетильной бонтонности Сенъ-Жерменскаго предмѣстья, тутъ пахнетъ скорѣе пожаромъ Москвы и тѣмъ неожиданнымъ, выходящимъ изъ всякихъ понятій о европейскомъ приличіи, неучтивымъ пріемомъ, который мы сдѣлали нашимъ гостямъ семь лѣтъ спустя.

Изъ Петербурга дѣйствіе переходитъ въ Москву; но связь въ переходѣ едва чувствительна. Княгиня Анна Михайловна Друбецкая, навязчивая просительница, вырвавшая, на вечерѣ Анны Павловны Шереръ, почти насильно у князя Курагина обѣщаніе исходатайствовать переводъ ея сына въ гвардію, возвращается послѣ этой побѣды въ Москву, въ семейство своихъ друзей Ростовыхъ, и вотъ мы съ ней вмѣстѣ въ Москвѣ, и въ гостяхъ у графа Ростова. Тутъ вѣетъ, какъ и всегда въ Москвѣ, совсѣмъ другимъ воздухомъ. Люди живутъ не натуживаясь и не вылѣзая изъ кожи, чтобы походить на другихъ людей или на собственное свое понятіе о томъ, какъ слѣдуетъ жить. Можно бы и точнѣе еще опредѣлить эту разницу, но это заняло бы у насъ слишкомъ много времени и все-таки было бы лишнее, потому что это гораздо лучше чувствуется, чѣмъ опредѣляется, и въ разсказѣ у автора это чувствуется отлично. Слухи о предстоящей войнѣ и здѣсь составляютъ модную тему всѣхъ разговоровъ; но здѣсь они имѣютъ совсѣмъ другой характеръ. Въ Петербургѣ это придворная новость и канва для красивыхъ французскихъ фразъ; - здѣсь это домашніе толки, идущіе рядомъ съ другими дѣлами и интересами,—съ визитами, сплетнями, поздравленіями и обѣдами. Войско двинуто за границу; молодежь бросаетъ ученіе и поступаетъ въ армію, — сынъ уѣзжаетъ; но въ семействѣ есть именинница и вотъ домъ полонъ визитами, поздравленіями и хозяйка едва на ногахъ стоитъ отъ усталости, и въ мраморномъ залѣ накрытъ длинный столъ на восемьдесятъ кувертовъ и мысли отца семейства поглощены какимъ-то sauté au madère—изъ рябчиковъ или достоинствомъ своего крѣпостнаго повара Тараски, за котораго онъ заплатилъ тысячу рублей. Какими громами по этому поводу разразились бы строгіе проповѣдники нашего времени! Какъ растерзали бы они бѣднаго графа Ростова и добрую бабу—графиню со всѣми ихъ чадами, домочадцами и гостями, съ ихъ крѣпостною прислугою и соусами изъ рябчиковъ и... „la santé de maman“. и... „la comtesse, Apraksine“, и всей этой дребеденью московскою, праздничной жизни!... Но время времени рознь, и, читая разсказъ графа Толстого о прошломъ, мы до такой степени уходимъ за шестьдесятъ лѣтъ назадъ, до такой степени понимаемъ людей, имъ описанныхъ, что не чувствуемъ къ нимъ ни ненависти, ни отвращенія. Мы говоримъ: — tout compté, все это были добрые люди и теплые люди и ни чуть не хуже насъ съ вами—неумолимый цензоръ и проповѣдникъ. И главное, почему мы не можемъ судить о нихъ иначе,—это опять-таки потому, что они дѣти... Но на этотъ разъ между взрослыми, пожилыми ребятами, въ разсказѣ

мы видимъ передъ собою цѣлое общество настоящихъ дѣтей и эти дѣти изображены у автора съ такою обворожительною прелестію, что мы не можемъ на нихъ наглядѣться. Они также играютъ свою игру, пародируя въ ней точно также большихъ, только пародія ихъ гораздо милѣе и проще. Они влюбляются и ревнуютъ другъ друга и передъ разлукой даютъ другъ другу обѣты въ вѣрности неизмѣнной, по гробъ. Тутъ уже нѣтъ ни виконтовъ, ни сплетенъ отжившей аристократіи, ни всей этой приторной афектаціи французской обонтонности, — тутъ просто шалость; но шалость такая милая и сердечная, и такая естественная, что ей недостаетъ только времени, чтобы созрѣть и перейти цѣликомъ въ жизнь дѣйствительную... А между тѣмъ, и покуда мы ею любуемся, картина опять понемногу мѣняется и разсказъ переходитъ въ другую сферу. Изъ праздничныхъ сплетенъ въ семействѣ Ростовыхъ мы узнаемъ, что побочный сынъ графа Безухаго— Пьеръ, съ которымъ мы еще познакомились въ Петербургѣ, на вечерѣ у фрейлины Шереръ и въ кабинетѣ князя Андрея Болконскаго, высланъ въ Москву за дурачество, сдѣланное имъ послѣ попойки. Положеніе этого молодого человѣка въ обществѣ—шатко и очень двусмысленно, карьера, повидимому, испорчена; но судьба готовитъ ему сюрпризъ. Отецъ его, графъ Безухій, одинъ изъ тѣхъ сильныхъ людей вѣка Екатерины, которые правдою и неправдою сумѣли себѣ проложить дорогу изъ тѣсноты и потемокъ къ вершинамъ богатства и власти, лежитъ при смерти и дѣло вокругъ него идетъ о томъ: кому послѣ него достанется его громадное состояніе. Вокругъ смертной постели его идетъ интрига. Его родственникъ, тоже другой петербургскій знакомый читателя, князь Василій Куракинъ, племянницы котораго, Мамонтовы, живутъ у графа, объясняетъ одной изъ нихъ, что у графа есть завѣщаніе въ пользу его побочнаго сына Пьера и письмо къ Государю съ просьбой объ усыновленіи, и что ежели этимъ бумагамъ дать ходъ, то все достанется Пьеру и никто кромѣ него не получитъ ни гроша. Пьеръ и самъ тутъ, но Пьеръ простофиля, воспитанный за границей, въ Парижѣ, очарованный славой Наполеона и мечтающій о побѣдѣ его надъ Англіею, въ такую минуту, когда у него изъ подъ-носу собираются вырвать наслѣдство. Онъ ни о чемъ не догадывается, но счастіе рѣшительно на его сторонѣ. Та же навязчивая просительница и дальняя родственница его отца, называющая одного стараго графа дядюшкою, знакомая намъ Анна Михайловна Дубецкая, врывается въ домъ умирающаго, съ крестнымъ сыномъ его, своимъ безприданнымъ Боренькою. Одушевленная материнской заботливостію, она желаетъ добыть для этого Бореньки нѣсколько крохъ изъ наслѣдства и, не видя другой возможности осуществить эту цѣль, какъ уцѣпиться за добролушнаго Пьера, — беретъ его подъ свою защиту. Съ неподражаемой смѣсью нахальства и ловкости, втирается она въ кругъ наслѣдниковъ, угадываетъ всѣ ихъ затѣи и разрушаетъ ихъ въ пользу своего protégé.... Все это вмѣстѣ составляетъ единственный драматическій эпизодъ въ разсказѣ. Онъ выполненъ въ совершенствѣ. Это—haute comédie,—комедія высшаго рода. Несмотря на ея отрывочный, сжатый видъ, характеры лицъ, въ ней участвующихъ, рисуются дѣйствіемъ, и эти характеры поняты такъ глубоко, очерчены такъ удачно, что мы имѣемъ возможность ихъ видѣть насквозь. Роль князя, старшей княжны, объясненіе ихъ между собою на счетъ завѣщанія,

роль Пьера и Анны Михайловны, все это такія вещи, которыя, разъ прочитанныя, останутся въ памяти навсегда, какъ образецъ первокласснаго дарованія.

Въ подтвержденіе этихъ словъ, мы не можемъ себѣ отказать въ удовольствіи напомнить читателю послѣднюю и, по нашему мнѣнію лучшую сцену этой комедіи, сцену развязки... (Далѣе приводится обширная выдержка: „Въ пріемной никого уже не было кромѣ князя Василія...“ Выписка оканчивается словами: J'espere, mon cher ami, que vous remplirez le désir de votre père)....

Не менѣе превосходна, но совсѣмъ въ другомъ родѣ картина, слѣдующая затѣмъ. Изъ Москвы разсказъ переходитъ въ помѣстье стараго князя Болконскаго. Знакомый намъ князь Андрей привозитъ туда свою беременную жену и, простившись съ отцомъ, уѣзжаетъ въ походъ. Такъ-же какъ и въ Москвѣ, здѣсь, кромѣ француженки-компаньонки да внѣшняго отпечатка французскаго воспитанія на молодомъ поколѣніи, мы не видимъ уже ничего чужеземнаго. Образъ жизни, характеры, отношенія лицъ другъ къ другу, все это свое, самостоятельно русское и родное. Полныя жизни, типичныя физіономіи князей Болконскихъ, отца и сына, при всемъ глубокомъ сочувствіи и интересѣ, возбуждаемыхъ ими въ читателѣ, заставляютъ насъ тяжело вздохнуть Куда дѣвались такіе люди и отчего мы не видимъ ихъ между нами теперь?... Особенно князь Андрей... Его смѣлый, прямой, ничѣмъ незакупленный умъ, его незапятнанная чистота души и эта способность видѣть всѣ вещи не такъ, какъ бы ихъ хотѣлось видѣть, а такъ какъ онѣ дѣйствительно есть, безъ всякихъ узоровъ и побрякушекъ, затемняющихъ ихъ естественный смыслъ; все это, можетъ быть, идеалъ, конечно, и легко можетъ быть, что натура, служившая автору образцомъ, была значительно ниже ростомъ портрета, стоящаго передъ нами, что онъ нѣсколько поднятъ, украшенъ, и что благородный металлъ, существовавшій дѣйствительно въ этомъ характерѣ, очищенъ еще искусствомъ отъ случайной, несвойственной ему примѣси, но это для насъ не важно; а важно то, что характеръ этотъ не выдуманъ, что это истинно—русскій, коренной, самородный типъ, и что порода людей такого закала, если-бъ она сохранилась до нашихъ временъ, могла бы намъ оказать услугу неоцѣненную... И это опять заставляетъ насъ повторить вопросъ: куда дѣвались такіе люди? И отчего у насъ нѣтъ ихъ теперь? Школа ли жизни была противна природѣ ихъ и медленно, невозвратно переродила и исказила ее?... Или можетъ быть битва жизни ихъ истребила?... Дѣло возможное потому что такіе люди не могутъ покорно сложить оружіе и уступить или войти въ постыдную сдѣлку. Они будутъ биться въ первомъ ряду и должны побѣдить или сложить свои головы! Такъ или эдакъ, въ Онѣгиныхъ и Печориныхъ переродились Андреи, или они погибли, не измѣнивъ себѣ, результатъ одинаковъ: мы ихъ потеряли и невозвратно. Поблагодаримъ же автора, что онъ спасъ отъ забвенія, по крайней мѣрѣ, хоть ихъ черты. Они дороги намъ, какъ идеалъ нашей юности, искупляющій въ нашей памяти если не наши грѣхи, то по крайней мѣрѣ грѣхи отцовъ.

Вторая часть 1805 года не такъ интересна; но и она необходима для цѣлаго. Въ ней мы видимъ нашихъ отцовъ на полѣ войны, покрытыхъ славою: видимъ тѣхъ же людей, которые семь лѣтъ спустя

1868 г.

1.

Два года тому назадъ въ *Русскомъ Вѣстникѣ*, подъ заглавіемъ *Тысяча восемьсотъ пятый годъ*, печаталось начало новаго романа графа Толстого, котораго нынѣ поступило въ продажу три тома. По слухамъ, ихъ будетъ еще два: предъ нами, слѣдовательно, далеко не все новое произведеніе нашего даровитаго романиста, но даже и теперь можно съ увѣренностію сказать, что оно принадлежитъ къ числу замѣчательнѣйшихъ явленій русской литературы и свидѣтельствуетъ, что талантъ Графа Толстого находится еще въ порѣ своего развитія. Ни въ одномъ изъ прежнихъ его сочиненій не обнаруживалось столько силы, такого широкаго замысла, такого богатства красокъ и разнообразія въ рисункѣ, какъ въ новомъ, еще не вполнѣ отпечатанномъ его романѣ. *Война и миръ*—таково названіе этого романа. Самое заглавіе его заставляетъ догадываться, что авторъ поставилъ себѣ обширную задачу — изобразить русское общество въ ту тревожную эпоху, когда жестокія войны прерывались, уступая мѣсто кратко-временному миру съ тѣмъ, чтобы возгорѣться съ новою яростію. Дѣйствительно, романъ графа Толстого начинается 1805-мъ годомъ и окончится,какъ слышно, 1812-мъ.

Богатая тема для даровитаго романиста! Богатая, да; но какъ намъ кажется, не совсѣмъ благодарная. По крайней мѣрѣ намъ случилось слышать замѣчанія, что отъ романа графа Толстого недостаточно вѣетъ эпохой, – замѣчаніе, съ которымъ, однакожъ, мы отнюдь не согласны. Война и миръ есть романъ историческій, а принимаясь за подобный романъ, каждый невольно вспоминаетъ Вальтеръ-Скотта; но не всѣ, можетъ быть, принимаютъ при этомъ во вниманіе то, что англійскій романистъ заимствовалъ свои сюжеты изъ временъ весьма отдаленныхъ, въ изображеніи которыхъ, разумѣется, гораздо ощутительнѣе букетъ эпохи, между тѣмъ какъ художественное изображеніе эпохи, отдѣленной отъ насъ полувѣкомъ, требуетъ отъ автора чертъ весьма тонкихъ, а отъ читателя большаго вниманія и, такъ-сказать, тонкости органовъ.

Люди 1805—1812 годовъ почти тѣ же и дѣйствуютъ почти при той же обстановкѣ, какъ и люди настоящаго поколѣнія, одно это *почти* отдѣляетъ ихъ отъ насъ, и это, кажется намъ, достаточно ясно выражено графомъ Толстымъ. Оглянитесь, и вы не найдете вкругъ себя ни старо-гусарскаго типа, который выведенъ въ лицѣ Денисова, ни помѣщиковъ, которые разорялись бы такъ добродушно, какъ графъ Ростовъ (нынѣ тоже разоряются, но при этомъ сердятся), ни поѣзжачихъ, ни массоновъ, ни всеобщаго (мы говоримъ, *всеобщаго*) лепета на языкѣ, представляющемъ смѣсь „французскаго съ нижегородскимъ". А съ другой стороны, сколько осязательной связи, съ настоящею, теперешнею современностію! Какъ живо чувствуется, что эти Ростовы

только что сошли въ могилу, оставивъ свои преданія и свои дома сыновьямъ своимъ; какъ близокъ къ намъ типъ реформатора Сперанскаго, или пожилой фрейлины Annette Шереръ, которая, вмѣстѣ съ княжной Болконскою, исчерпываетъ типъ извѣстнаго рода русскихъ патріотокъ!... Если-бы цѣль графа Толстого состояла исключительно въ томъ, чтобы нарисовать яркую историческою картину, конечно, онъ лучше сдѣлалъ бы, взявъ сюжетъ изъ XVIII вѣка; но нашъ романистъ — психологъ по преимуществу, и мы полагаемъ, что съ этой стороны люди ближайшихъ къ намъ эпохъ представляютъ гораздо болѣе интереса. Но замѣтьте при этомъ: нигдѣ въ романѣ графа Толстого вы не найдете ничего тенденціознаго, ни одной замашки тѣхъ господъ, которые ежедневно проповѣдуютъ намъ, и въ романахъ, и въ драмахъ, то западничество, то славянофильство, то гражданскій бракъ, то Жанъ-Жакову методу воспитанія.....

Посмотрите: въ тѣсной рамѣ трехъ небольшихъ томовъ художникъ нарисовалъ не менѣе полусотни фигуръ, и каждая изъ нихъ есть живая, осязаемая личность, каждая имѣетъ свою особую физіономію, которую, кажется, вы когда-то и гдѣ-то видали, хочется назвать этихъ людей, и вы удивляетесь, отчего вамъ никогда не приходило въ голову написать ихъ портреты. Не говоримъ о лицахъ, выведенныхъ на первый планъ, но назовемъ нѣкоторыя изъ тѣхъ, которыя появляются на минуту, эпизодически, которыхъ авторъ могъ бы вовсе не выводить на сцену, еслибъ изъ-подъ пера его не сыпались типы съ такимъ же обиліемъ, съ какимъ мелодіи лились съ пера Россини. Не живые люди эта Марья Дмитріевна Ахросимова, этотъ дипломатъ Билибинъ, этотъ превосходный офицеръ нѣмецкаго происхожденія Бергъ, этотъ дядя Ростовыхъ, не имѣющій кажется и фамиліи, эта ключница Анисья, эти псари, кучера, этотъ австрійскій генералъ Макъ, произносящій не болѣе десяти словъ и остающійся на сценѣ не болѣе десяти минутъ! Графъ Толстой находитъ возможность положить печать особенности даже на первенствующихъ, борзыхъ собакъ въ охотахъ Ростовыхъ и ихъ сосѣдей... Въ чемъ же заключается тайна автора? Какъ могъ онъ, давая такъ мало мѣста каждой фигурѣ, сообщить ей столько жизни и живости? Тайна автора заключается въ необыкновенной самобытности его таланта и въ необыкновенной вѣрности его взгляда. Благодаря этой вѣрности взгляда, онъ улавливаетъ какъ въ нравственномъ образѣ человѣка, такъ и въ его внѣшности именно тѣ черты, которая его характеризуютъ, а благодаря самобытности своего таланта, онъ находитъ въ запасѣ словъ именно такое, которое столько же мѣтко сколько и оригинально. Въ новомъ романѣ графа Толстого, какъ и въ прежнихъ его сочиненіхъ, можно безъ всякой придирчивости найти множество поводовъ къ замѣчаніямъ, но никто никогда, конечно, не находилъ въ немъ того, что можно было бы назвать общимъ мѣстомъ, избитою фразой, выраженіемъ, потерявшимъ выпуклость отъ употребленія.

Прослѣдите, напримѣръ, за манерой автора писать портреты своихъ дѣйствующихъ лицъ; у него собственно нѣтъ описаній, то-есть такихъ мѣстъ, читая которыя вы могли-бы, черта за чертой, нарисовать описываемую фигуру, на за то двѣ-три особенности изображаемой фигуры выставлены такъ выпукло, такъ отчеканены необычайно мѣткимъ словомъ автора, что даровитый рисовальщихъ тотчасъ же набросаетъ по нимъ

самый живой и оконченный образъ. То же самое замѣчается и относительно цѣлыхъ сценъ и положеній: у графа Толстого есть такіе штрихи, которые одушевляютъ цѣлыя страницы, цѣлыя главы. Такъ, напримѣръ, во второмъ томѣ *Войны и мира* есть глава, въ которой описывается поѣздка молодого Ростова въ Тильзитъ съ цѣлью подать императору Александру просьбу о помилованіи провинившагося друга своего Денисова. Глава эта, говоря сравнительно, довольно блѣдна; но вотъ Ростову указываютъ *дежурную*, куда совѣтуютъ обратиться съ его дѣломъ; онъ отворяетъ дверь: (Выписка: „Невысокій, полный человѣкъ, лѣтъ тридцати....

Послѣднія слова ея: „И онъ сталъ надѣвать подаваемый камердинеромъ мундиръ“.)

Возьмемъ другой примѣръ. Послѣ описанной коротенькой сценки въ *дежурной*, авторъ приводитъ своего читателя на площадь, гдѣ происходитъ разводъ отъ Преображенскаго полка въ присутствіи обоихъ императоровъ: опять картина довольно обыкновенная, при чемъ разсказывается весьма извѣстный фактъ о томъ, что Наполеонъ навѣсилъ Légion d'honneur одному русскому гренадеру. Вызванный солдатъ выступилъ изъ рядовъ, говоритъ графъ Толстой:

„Наполеонъ чуть поворотилъ голову назадъ и отвелъ назадъ свою маленькую пухлую ручку, какъ будто желая взять что-то. Лица его свиты, догадавшись въ ту же секунду въ чемъ дѣло, засуетились, зашептались, передавая что-то одинъ другому, и пажъ, — тотъ самый, котораго вчера видѣлъ Ростовъ у Бориса, выбѣжалъ впередъ, и почтительно наклонившись надъ протянутой рукой и не заставивъ ее дожидаться ни одной секунды, вложилъ въ нее орденъ на красной лентѣ. Наполеонъ не глядя сжалъ два пальца. Орденъ очутился между ними“...

Не открываютъ ли эти нѣсколько строкъ цѣлаго міра отношеній между *маленькимъ капраломъ* и его дворомъ? Не выражено ли этимъ небрежнымъ движеніемъ руки Наполеона все, что можно сказать на тему: „Властелинъ Франціи“?

Вотъ одна изъ особенностей нашего автора. Другая заключается въ необычайной его искренности и правдивости. Для него ничто, совершающееся въ человѣкѣ, не маловажно и не безынтересно; онъ все высматриваетъ и все подмѣчаетъ, а подмѣтивъ, не хочетъ и не можетъ маскировать, а тѣмъ не менѣе скрывать, но тотчасъ же фотографируетъ своимъ своеобразнымъ словомъ съ необыкновенною и нерѣдко безпощадною точностію.

(Здѣсь авторъ статьи приводитъ выписку изъ „Войны и мира“, какъ Пьеръ любуется красотой Эленъ; „Тетушка говорила въ это время.... мы не можемъ возвратиться къ разъ объясненному обману“).

Нельзя не согласиться, что нашъ авторъ поразительными чертами изобразилъ это „страстное, звѣрское чувство“, которое свойственно человѣку; но нельзя не сказать, съ другой стороны, что замѣчательный реализмъ его таланта приводитъ его на ту черту, за которою кончается область художества. Старая фрейлина Пронская собирается на балъ; она похожа на развалину, но, говоритъ авторъ, ке было надушено, вымыто, напудрено ея старое, некрасивое тѣло;

также старательно промыто за ушами“.... И подобныхъ мѣстъ много въ романѣ графа Толстого. Но особенно много у него такихъ, гдѣ авторъ какъ-бы играетъ съ тѣмъ „страстнымъ, звѣрскимъ чувствомъ“, о которомъ сказано выше....

Будемъ слѣдить болѣе за особенностями нашего замѣчательнаго романиста. Графъ Толстой по преимуществу наблюдатель и психологъ. Но такъ какъ онъ въ то же время художникъ и поэтъ, — то-есть человѣкъ, такъ сказать, думающій образами,—то результаты своихъ наблюденій онъ передаетъ не въ видѣ скучнаго анализа, а живыми представленіями. Онъ не задаетъ себѣ вопроса: „Что могъ бы сдѣлать такой-то въ такомъ-то положеніи?“ Въ его фантазіи одновременно создается и положеніе и роль въ ономъ дѣйствующаго лица: качество драгоцѣнное, безъ котораго невозможно быть ни хорошимъ романистомъ, ни хорошимъ драматургомъ. Но намъ кажется, что графъ Толстой недостаточно разборчивъ въ предметѣ своихъ наблюденій и нерѣдко впадаетъ въ мелочность. Выразимъ нашу мысль яснѣе. Графъ Толстой, какъ мы сказали, обладаетъ необыкновенною силой взгляда. Воображаемыя лица стоятъ передъ нимъ, какъ живыя натурщики; онъ ихъ разсматриваетъ, поворачиваетъ, заставляетъ дѣлать движенія, и, какъ скоро подмѣтитъ какую-нибудь черту, затрогивающую его художественное чувство, тотчасъ отмѣчаетъ ее на бумагѣ. Что за дѣло ему, что эта черта тонка какъ волосъ, что это движеніе души мимолетно: по этому-то самому оно ему и дорого! Да и какъ не дорожить! это перлъ, добытый изъ самыхъ глубокихъ безднъ души человѣческой, это алмазъ, вырванный изъ таинственныхъ нѣдръ природы! И такихъ алмазовъ у графа Толстого множество. Но, по нашему мнѣнію, они иногда портятъ общій эффектъ картины.... Чтобъ еще болѣе выяснить нашу мысль, сопоставимъ различные способы изображать характеры. Писатели прежняго времени брали человѣка en bloc. У нихъ были герои или добродѣтельные или порочные, твердые или слабохарактерные, прямодушные или лукавые; оттѣнковъ они не дѣлали; добродѣтель была 84 пробы, порокъ изображался „безъ смягчающихъ обстоятельствъ“. Фигуры, которыя такимъ образомъ выходили, были точно обведены карандашемъ Альберта Дюрера: сухія, холодныя и безжизненныя, но твердо поставленныя. Новѣйшая школа писателей поступаетъ иначе. Она избѣгаетъ слишкомъ опредѣленныхъ чертъ; она выходитъ изъ той точки зрѣнія, что нѣтъ въ природѣ ни безусловно добродѣтельныхъ, ни абсолютно порочныхъ людей, ни храбрецовъ, которые когда-нибудь не струсили бы, ни трусовъ, которые хоть разъ въ жизни не обнаружили бы смѣлости. Задавшись такою, совершенно справедливою мыслію, они *закладываютъ* (выражаясь языкомъ живописцевъ) тонъ, — положимъ,—храбрости, но тотчасъ же накидываютъ на него полутоны, начинаютъ доискиваться почему человѣкъ храбръ, точно ли онъ храбръ, какого рода его храбрость: отъ пылкости, отъ самолюбія ли она происходитъ? если ли она результатъ убѣжденія и силы воли надъ слабостію нервовъ, или тупого непониманія опасности, или же страха передъ судомъ свѣта?. . Но такъ или иначе, только послѣ всѣхъ этихъ изысканій оказывается, что нашъ храбрецъ есть тряпка, и что весь свѣтъ пошло ошибается, почитая его храбрецомъ.... Къ такимъ-то по-

слѣдствіямъ приводитъ злоупотребленіе психологическимъ анализомъ,— и, признаемся откровенно, намъ кажется, что графъ Толстой не избѣгаетъ упрека въ этомъ недостаткѣ, происходящемъ отъ избытка въ немъ силы наблюденія *).....

Щебальскій.

2.

Въ русской литературѣ давно не появлялось произведенія. въ такой степени обильнаго художественными достоинствами, какъ новое сочиненіе графа Л. Н. Толстого „Война и миръ". Удивительный талантъ автора „Дѣтства" и „Севастопольскихъ разсказовъ" выступаетъ на страницахъ „Войны и мира" со всѣмъ огромнымъ запасомъ своей свѣжести и силы, со всею яркостью тѣхъ особенностей, которыми онъ заявлялъ себя въ прежнихъ беллетристическихъ работахъ, какъ большихъ, такъ и мелкихъ. Въ новомъ произведеніи графа Толстого каждое описаніе, начиная, положимъ, отъ мастерски набросанныхъ очерковъ Аустерлицкаго сраженія и кончая картинами псовой охоты, каждое лицо, начиная отъ первыхъ административныхъ и военныхъ дѣятелей александровскаго времени и кончая какимъ-нибудь русскимъ ямщикомъ Баллагой, дышетъ жизнію, правдой и реализмомъ изображенія. Отъ гр. Толстого, впрочемъ, иной рисовки картинъ и лицъ и ожидать нельзя: авторъ, по общему признанію. принадлежитъ къ числу первостепенныхъ писателей-художниковъ. Распространяться на этотъ счетъ и приводить изъ новаго сочиненія перлы художественныхъ красотъ для подкрѣпленія похвалъ и восторговъ мы считаемъ совершенно излишнимъ.

Точно также считаемъ мы излишнимъ подробное указаніе на недостатки „Войны и мира", безъ которыхъ, разумѣется, необходится и это произведеніе. Авторъ не назвалъ своего сочиненія романомъ и сдѣлалъ это, конечно, не безъ причины. „Война и миръ" не есть романъ уже потому, что авторъ набрасываетъ рядъ картинъ, болѣе или менѣе широкихъ, весьма мало заботясь о томъ, на сколько размѣры и подробности этихъ картинъ необходимы для выясненія характеровъ избранныхъ героевъ и ихъ отношеній другъ къ другу. Иногда за этими картинами, герои положительно стушевываются и дѣлаются почти незамѣтными. Это обстоятельство, безъ сомнѣнія, должно быть вмѣнено въ недостатокъ повѣствователю съ точки зрѣнія обычныхъ эстетическихъ требованій. Кромѣ того, мѣстами сочиненіе гр. Толстого представляется слишкомъ растянутымъ; мѣстами авторъ обдаетъ читателя такимъ изобиліемъ знаменитаго „тонкаго психологическаго анализа", что читатель положительно не понимаетъ, какъ можно расточать этотъ анализъ на вещи, зачастую нестоющія вниманія. Но все это, какъ и поистинѣ удивительныя художественныя красоты „Войны и мира", конечно, не составляютъ самой сути новаго сочиненія. Вѣдь не спеціально же для выказыванія художественныхъ красотъ, „психологическаго анализа" и

*) „Русскій Вѣстникъ" 1868, № 1.

прочаго написалъ гр. Толстой сочиненіе въ нѣсколькихъ томахъ? Предположить что-либо подобное, по нашему мнѣнію, значило бы обидѣть такое дарованіе, какое представляетъ авторъ „Войны и мира“ *)....

Въ Андреѣ Болконскомъ мы видимъ типъ образованнаго и, по своей натурѣ, далеко недюжиннаго человѣка, воспитаннаго пустою общественной средой, изъ которой онъ, вслѣдствіе силы своего характера, рвется вонъ. У него есть неопредѣленные идеалы, есть стремленія осуществить ихъ, и онъ мечется въ жизни ради этихъ идеаловъ и покорный этому стремленію. Но съ одной стороны ему мѣшаетъ самая жизнь, не давая надлежащей почвы для его стремленій, съ другой туманность и непріуроченность къ дѣйствительности его фантазій. Онъ мечтаетъ о „своемъ Тулонѣ“ на поприщѣ войны, глядитъ нѣкоторымъ образомъ въ Наполеоны, и между тѣмъ сокрушается и унываетъ духомъ при первыхъ же горькихъ урокахъ, съ которыми встрѣчается на этомъ поприщѣ. Онъ идетъ на войну безъ опредѣленной полезной цѣли. Его цѣль — военная слава, въ нѣкоторомъ родѣ искусство для искусства, и, задавшись такою цѣлью, онъ предполагаетъ обнаружить себя наполеоновскими подвигами. Если-бъ онъ шелъ сражаться не ради разочарованія въ окружающемъ его, не ради мечтаній о славѣ, а ради дѣйствительной существенной потребности отстоять отъ враговъ дѣло родное и святое для него, или ради торжества какихъ-нибудь дорогихъ его сердцу убѣжденій, сроднившихся со всѣмъ его нравственнымъ существомъ, то ему не пришлось бы опустить крылья на первыхъ порахъ, онъ пренебрегъ бы всякими тяжелыми впечатлѣніями дѣйствительности и нашелъ бы для себя „свой Тулонъ“, или, упавъ раненымъ на полѣ битвы, возсталъ бы не съ сознаніемъ разбитаго въ самыхъ смѣлыхъ надеждахъ человѣка, а съ энергіей героя, готоваго при первомъ удобномъ случаѣ вознаградить новыми подвигами несчастіе первыхъ шаговъ по пути своихъ стремленій. Почти тоже можно сказать о второмъ періодѣ дѣятельности князя Андрея. И тутъ онъ принялся за служеніе дѣлу, очевидно, не опредѣливъ себѣ предварительно, для чего онъ его намѣренъ дѣлать, для кого по преимуществу окажется полезнымъ это дѣло и въ какой мѣрѣ оно возможно въ дѣйствительности. Отсутствіе этого сознанія, этой опредѣленности, повело къ быстрому охлажденію, къ обезсиленію, къ признанію своей работы совершенно праздной и никому не нужной.

То, что мы видимъ достаточно наглядно въ главномъ героѣ „Войны и мира“ и менѣе рельефно въ нѣкоторыхъ другихъ лицахъ этого романа, можно замѣтить въ дѣятельности цѣлаго общества той эпохи, которую обрисовываетъ гр. Толстой въ первыхъ трехъ томахъ своего произведенія. Все, что считалось развитымъ въ первую половину александровскаго царствованія, рвалось къ осуществленію какихъ-то не совсѣмъ ясныхъ и, главное, не пріуроченныхъ къ дѣйствительности идеаловъ. Люди, принадлежавшіе къ образованному меньшинству того времени, считавшіе себя по развитію европейскими людьми, толкались на путь дѣятельности во всякаго рода двери, начиная отъ дверей при-

*) Далѣе критикъ, сдѣлавъ на основаніи романа „Война и миръ“ краткую характеристику высшаго петербургскаго общества, сосредоточиваетъ свое главное вниманіе на Андреѣ Болконскомъ.

дворныхъ и административныхъ преобразованій сверху и кончая дверями безплоднаго, чисто-формальнаго филантропическаго мистицизма. Главнымъ мотивомъ, который руководилъ дѣятельность тогдашнихъ людей, было непреодолимое желаніе занять чѣмъ-нибудь свою жизнь. Грубое самодовольное проживаніе на чужой счетъ, на счетъ отягченнаго рабствомъ народа, тогда начало казаться для многихъ, если не преступнымъ, то предосудительнымъ. Это сознаніе назойливо шевелилось въ глубинѣ всѣхъ, не совсѣмъ дюжинныхъ умовъ и, чтобы заглушить его, необходима была какая-нибудь дѣятельность. Прежде всего, разумѣется, эта дѣятельность устремлялась на тѣ пути, по которымъ ходить было легче—на жажду военной славы и на преобразовательные проекты. Порывъ къ военнымъ подвигамъ „изъ любви къ человѣчеству" и противъ „врага человѣческаго рода" кончился Аустерлицемъ. Преобразовательные проекты—опалой Сперанскаго и возвышеніемъ Аракчеева. Какимъ бы путемъ пошли далѣе стремленія тогдашняго образованнаго общества, если-бъ не наступилъ двѣнадцатый годъ и послѣдовавшія за нимъ событія — неизвѣстно. Но въ этотъ новый періодъ на сцену жизненной дѣятельности выступилъ новый элементъ—народъ, который заявилъ о себѣ довольно крупно. Пробужденіе этой коренной силы было маякомъ, который указалъ направленіе многимъ бродившимъ и путавшимся безъ цѣли стремленіямъ образованной среды *)....

Z.

3.

...Не трудно доказать математически, на основаніи законовъ перспективы, что во всякомъ романѣ великіе историческіе факты должны стоять на второмъ планѣ: только тогда и возможно представить ихъ въ нѣкоторой полнотѣ и цѣлости. Удаленіе ихъ отъ мѣста, которое должны занимать исключительно главныя дѣйствующія лица произведенія, есть, вмѣстѣ съ тѣмъ, и условіе ихъ сходства съ дѣйствительной исторіей. Сходство это будетъ нарушаться тѣмъ болѣе, чѣмъ ближе авторъ подвинетъ ихъ къ первому плану, отрывая отъ фонда своей картины, гдѣ они пользовались всѣмъ нужнымъ имъ просторомъ. Можетъ случиться, что они, достигнувъ крайней точки этого передвиженія, предстанутъ читателю не съ полнымъ выраженіемъ своего содержанія, а только тѣми, немногими сторонами, которыя остались у нихъ отъ похода и которыя, подпавъ дѣйствію сильнаго, случайнаго или даже искуственнаго освѣщенія—ярко и выпукло разрослись въ непомѣрную и фальшивую величину. Самое худшее при этомъ то, что настоящіе и законные обладатели перваго плана въ романѣ—его герои и связанное съ ними событіе вытѣсняются этимъ нашествіемъ сильнаго элемента, съ которымъ борьба невозможна. Романъ чахнетъ, какъ

*) „С.-Петербургскія Вѣдомости" 1868 г., № 24.

растительность страны, потоптанной ногами и конями завоевательнаго племени, ее посѣтившаго. Мы не говоримъ, чтобъ именно это случилось съ романомъ гр. Толстого—нѣтъ: онъ еще держитъ историческую часть его на приличномъ, хотя уже и опасномъ, разстояніи отъ своихъ героевъ, онъ бережетъ послѣднихъ. съ неимовѣрнымъ тщаніемъ, отъ излишнѣ рискованныхъ столкновеній съ могущественнымъ историческимъ элементомъ, готовымъ ихъ поглотить, но уже общее положеніе дѣлъ отражается на нихъ неблагопріятно. Героямъ своимъ и частному событію онъ отводитъ столько пространства, свѣта и воздуха, сколько нужно единственно для поддержанія ихъ существованія. Этотъ скудный паекъ, этотъ le strict nécessaire предоставленной имъ жизни, при роскоши и богатствѣ обстановки всего прочаго—дѣйствуетъ неблагопріятно на читателя, который, подъ конецъ, догадывается, что существенный недостатокъ всего созданія, несмотря на его сложность, обиліе картинъ, блескъ и изящество—есть недостатокъ романическаго развитія. Романъ не двигается, сказали мы, но—кромѣ того еще—ни одинъ характеръ, ни одно почти положеніе въ немъ не развиваются вплоть до половины третьяго тома. Они только мѣняются, показываютъ новыя стороны, съ каждымъ поворотомъ картины, когда она ихъ захватываетъ, но не развиваются. Иначе и быть не могло. Остановить движеніе сценъ въ пользу разъясненія чьей-либо физіономіи или ближайшаго осмотра психической перемѣны въ человѣкѣ—нѣтъ возможности при толпѣ образовъ и массѣ событій, ожидающихъ своей очереди, чтобы попасть въ картину. Приближающаяся сцена беретъ всѣхъ дѣйствующихъ лицъ своихъ уже совсѣмъ готовыми къ появленію на подмосткахъ, и мы узнаемъ о новыхъ чертахъ, ими пріобрѣтенныхъ, и о новыхъ событіяхъ, измѣнившихъ ихъ внутренній міръ и настроеніе, только тогда, когда авторъ дѣлаетъ повѣрку своего персонала съ тѣмъ глубокимъ анализомъ, который ему свойственъ. При зарожденіи и ходѣ измѣненій, какимъ подвергались знакомые типы и обстоятельства въ промежуткахъ между сценами, читатель не присутствовалъ; измѣненія совершились всѣ въ тайникѣ авторскаго воображенія, куда никто не былъ допущенъ. Мы видимъ лица и образы, когда процессъ превращенія надъ ними уже законченъ,—самаго процесса мы не знаемъ. Правда, что всѣ превращенія эти имѣютъ достаточныя основанія и вышли изъ намековъ и указаній, какія уже заключались и прежде въ характерахъ и предметахъ; нигдѣ не видно яркихъ противорѣчій, какъ нигдѣ не видно ничего произвольнаго и самовластнаго въ придаточныхъ чертахъ; можно было всегда ожидать именно этого хода дѣлъ и этого новаго выраженія физіономіи; но роковая необходимость измѣненій, испытанныхъ тѣми и другими, ничѣмъ не доказана. Да если бы и не было никакой связи между старымъ и новымъ выраженіемъ ихъ, дѣло обошлось бы и безъ нея. Блестящая сцена, исполненная эффекта, психическаго анализа, превосходныхъ красокъ, тотчасъ искупила бы неожиданность или искусственность какого-либо оттѣнка, тотчасъ заставила бы позабыть обо всемъ, что есть сомнительнаго и неоправданнаго въ его происхожденіи. Мы не будемъ перебирать снова горячихъ страницъ замѣчательнаго романа для убѣжденія нашихъ читателей, что много лицъ—оба Болконскіе, напримѣръ, Безухой, Наташа, княжна Марья Болконская и проч.—нажили, въ

промежутокъ между первымъ, вторымъ и третьимъ своимъ появленіемъ въ романѣ, существенныя физіологическія и нравственныя черты, объясненіе которыхъ должно только искать въ нѣмомъ дѣйствіи времени, протекшаго отъ одного періода ихъ развитія до другого. Также точно и событія показываются намъ только тогда, когда они шумно текутъ уже въ новомъ прорытомъ ими руслѣ, а работа, которую они совершали, при измѣненіи своего теченія, одолѣвая припятствія и уничтожая препоны, по большей части, произошла, имѣя свидѣтелемъ опять одно безгласное время. Чѣмъ другимъ можно объяснить, напримѣръ, что распутная жена Пьера Безухаго изъ завѣдомо пустой и глупой женщины пріобрѣтаетъ репутацію необычайнаго ума и является вдругъ средоточіемъ свѣтской интиллегенціи, предсѣдательницей салона, куда съѣзжаются слушать, учиться и блестѣть развитіемъ. Вообще внѣ романа происходитъ почти столько же переворотовъ, сколько и въ самомъ романѣ. Ни разу читатель, правда, не поставляется въ необходимость отвергнуть какую-либо подробность, какъ совершенно невозможную, но не столь часто, какъ слѣдовало бы, доходитъ онъ и до убѣжденія, что ничего другого и не могло случиться, кромѣ того, что случилось. Вмѣсто такого убѣжденія, авторъ вырываетъ у своей публики тотъ родъ полу-согласія, неохотнаго подтвержденія, который на языкѣ политики выражается формулой—*признаніе совершившагося факта*. Фактъ узаконяется этимъ признаніемъ, но оно оставляетъ возможность каждому изъ судей думать про себя, что фактъ могъ бы и не явиться на свѣтъ, пожалуй, въ той формѣ, въ какой явился. Таково обыкновенно дѣйствіе произведеній, страдающихъ, вслѣдствіе особеннаго характера ихъ постройки, недостаткомъ романическаго развитія.

Мы не скрываемъ отъ себя, что въ отвѣтъ на всѣ эти требованія могутъ сказать: да кому какое дѣло до вашего развитія, когда романъ и въ той формѣ, какая ему дана, достигаетъ всѣхъ своихъ цѣлей и намѣреній. Характеры и съ помощью отдѣльныхъ сценъ пріобрѣтаютъ типическое выраженіе, что, въ сущности, только и важно. Картина эпохи, даже и разбитая на множество этюдовъ, тѣмъ не менѣе есть полная картина, сообщающая каждому одно нераздѣльное и неотразимое впечатлѣніе своей истины. Притомъ же, изображенія автора облечены въ такую ткань поэзіи, рисуются съ такимъ участіемъ драматическаго элемента, тонкаго анализа, широкихъ пріемовъ мыслителя и художника, что думать тутъ о развитіи можетъ только человѣкъ, нечувствительный къ этимъ качествамъ. Можетъ быть даже, что трудъ развитія помѣшалъ бы здѣсь свободному проявленію творчества, можетъ быть даже, что само требованіе развитія принадлежитъ къ числу орудій старой *эстетической рутины*, которая не въ силахъ понять новыхъ формъ созданія, возникающихъ у писателя вмѣстѣ съ новыми задачами. Какое развитіе способно замѣнить намъ, хоть, напримѣръ, двѣ, по-истинѣ, чарующія сцены, два особенно замѣчательныхъ перла изъ множества перловъ, разсыпанныхъ въ романѣ? Мы говоримъ о двухъ сценахъ изъ эпохи пребыванія полу-разоренныхъ Ростовыхъ въ деревнѣ. Въ первой изъ нихъ, Наташа Ростова, мучимая самымъ избыткомъ физическихъ и нравственныхъ силъ, является на охоту за волками, переживаетъ всѣ ея ощущенія и проводитъ часть вечера въ домѣ простяка-помѣщика Илагина, угощающаго ее всѣмъ богатствомъ

своего еще не тронутаго русскаго житья-бытья, дворней, составляющей одно лицо съ бариномъ, балалайкой, которая странно потрясаетъ образованный слухъ гостей, и, наконецъ, своей русской пѣснію, которая вызываетъ у нихъ слезы. Въ другой сценѣ та же Наташа Ростова устраиваетъ переодѣваніе на масляницѣ и, захвативъ переряженныхъ подругъ, горничныхъ, встрѣчныхъ и поперечныхъ, въ бѣшенной скачкѣ на тройкахъ, мчится ночью, при лунѣ, мимо лѣса, вдоль снѣжной пустыни, къ своей родственницѣ и сосѣдкѣ по имѣнію. Тутъ и безъ развитія отразилась вся русская природа, вмѣстѣ съ упоительными народными, племенными потѣхами и мотивами, которые лучше всѣхъ другихъ заглушаютъ, обманываютъ цѣлятъ страданія даже и *образованной* русской души. Какое развитіе способно довести писателя и до этой поэзіи и до этихъ откровеній, оно, которое, по сущности своей, вмѣсто историческихъ, политическихъ и бытовыхъ картинъ, предпочитаетъ долгое, чахлое занятіе помыслами двухъ-трехъ лицъ, томительное изображеніе переворотовъ ихъ внутренняго міра и возмутительное оправданіе ихъ эгоистическаго самозаключенія въ самихъ себѣ!

Какъ бы, въ сущности, не казались намъ эти и подобныя имъ возраженія несправедливыми въ настоящемъ вопросѣ, мы умѣемъ цѣнить все, что подъ ними таится законныхъ требованій на дѣльность и серьезность художественныхъ изображеній, на участіе искусства въ разрѣшеніи и объясненіи задачъ, вопросовъ и чаяній нашего времени. Но такъ-ли вѣрно предположеніе, что въ романѣ исторія и частные характеры достигли всей необходимой полноты и ясности даже и безъ развитія—это другой вопросъ. Врядъ-ли новое произведеніе гр. Толстого докажетъ возможность обойтись, въ виду другихъ важныхъ задачъ, безъ исполненія какого-либо условія дѣльной художнической работы. Скорѣе наоборотъ: оно докажетъ необходимость соблюденія всѣхъ условій ея и невозможность жертвовать ими, ни подъ какимъ предлогомъ, даже самымъ благовиднымъ. Такъ, оставаясь при нашемъ мнѣніи, мы думаемъ, что недостатокъ развитія повліялъ неблагопріятно даже на историческую и бытовую сторону его произведенія *)...

П. Анненковъ.

4.

Когда явился въ свѣтъ романъ г. Л. Толстого—„Война и миръ“, не было никакой причины говорить о немъ; въ массѣ общества имя Толстого едва помнили и его неудачи въ области его педагогическихъ фантазій были болѣе извѣстны, чѣмъ его литературная дѣятельность. Произведетъ ли этотъ романъ какое-нибудь впечатлѣніе и какое именно—было совершенно неизвѣстно. Но вотъ посыпались со всѣхъ сторонъ плодовитые разборы этого романа; изящные наши критики такъ обрадовались этому случаю, что запѣли на разные лады, какъ будто г. Л. Толстому удалось открыть новую Америку. Вѣстникъ Европы от-

*) „Вѣстникъ Европы“ 1868. № 2. „Историческіе и эстетическіе вопросы въ романѣ „Война и миръ“. См. также въ отд. изд. сочиненій Анненкова.

несся къ роману робко, преклонивъ колѣно передъ его величіемъ; не намъ учить такого великаго художника, восклицалъ онъ, и подобострастно подымалъ глаза на художественное описаніе изящной и маперной жизни, какъ онъ выражался. Вотъ въ этомъ-то раболѣпномъ преклоненіи предъ quasi художественнымъ описаніемъ ея г. Толстымъ и выразился тотъ вкусъ части нашего общества, который нельзя было пройти молчаніемъ. Источникъ этого вкуса—идеи и чувства слишкомъ важныя; онѣ слишкомъ болѣзненно отразятся на нашей жизни, на нихъ нельзя не обратить вниманія.

Выводя на сцену императора Александра, Кутузова, Сперанскаго, Аракчеева, г. Толстой явно хочетъ показать намъ, что онъ вводитъ насъ въ высшія и самыя вліятельныя сферы русскаго общества начала XIX столѣтія. Тоже самое намѣреніе видно и изъ того, что большинство его героевъ люди сановитые и богатые; его графъ Безухій, напр., имѣетъ полмилліона годового дохода; авторъ употребляетъ фамиліи, которыя, своимъ созвучіемъ, напоминаютъ намъ фамиліи очень извѣстныхъ аристократическихъ родовъ, напр. князь Болконскій, князь Курагинъ; даже тѣ лица, на которыхъ въ этомъ обществѣ смотрятъ сверху внизъ, носятъ названія также напоминающія не менѣе извѣстныя личности, напр. князей Трубецкихъ. Нѣтъ сомнѣнія, что г. Толстой намѣренъ былъ ввести насъ въ самыя горькія сферы александровскаго общества, и критикъ „Вѣстника Европы“ увѣряетъ насъ, что мы въ этихъ сферахъ найдемъ образцы истинно изящной жизни. Но въ чемъ же изящной?—вѣдь не въ искусствѣ же одѣваться, украшать свою квартиру и создавать для себя вкусные обѣды; всего этого диллентантизма по части модистокъ, обойщиковъ и поваровъ г. Толстой описывать не могъ, да и не описываетъ. Онъ изображаетъ только дѣйствія, мысли и чувства, а слѣдовательно въ нихъ-то и надо искать того изящества, которое усмотрѣлъ изящный критикъ „Вѣстника Европы“. Посмотримъ. Для начала я возьму сцену, въ которой играетъ роль князь Болконскій выше другихъ лицъ, описываемыхъ имъ въ романѣ; онъ старается показать, что они лучше даже самыхъ лучшихъ.

(Слѣдуетъ выписка изъ „Войны и мира“, начинаясь словами: „Какъ обыкновенно князь (Болконскій) вышелъ гулять въ своей . . . Выписка оканчивается словами: закидать дорогу. . . . . не подняль другой разъ палки и вбѣжалъ въ комнаты).

Человѣкъ, сколько-нибудь привыкшій мыслить, прочитавъ эту сцену, вправѣ подумать, что князь Болконскій никогда не видѣлъ дѣйствительно изящнаго общества и провелъ всю свою жизнь среди грубыхъ бушменовъ, потому что только самый грубый бушменъ рѣшится такъ нагло обращаться съ человѣкомъ, который хотѣлъ ему сдѣлать удовольствіе, и сдѣлалъ то, что слѣдовало сдѣлать. Князь Болконскій, по увѣренію автора романа, былъ одинъ изъ самыхъ богатыхъ людей своего времени; онъ не былъ такъ богатъ, какъ графъ Безухій, который имѣлъ 160,000 душъ, но все-таки онъ былъ очень богатъ. Положимъ, что отъ князя Болконскаго зависѣло не 160,000 человѣческихъ существъ, а вдвое менѣе, т. е. всего 80,000,—никто не будетъ оспаривать, что сдѣлать несчастными 80,000 живыхъ людей—это вовсе не изящно, а напротивъ крайне безобразно и преступно. Если князь Болконскій такъ обращается съ

управляющимъ, отъ котораго зависитъ судьба и счастіе этихъ 80,000 безгласныхъ рабовъ, то какого онъ можетъ имѣть управляющаго? Только человѣкъ, лишенный всякаго душевнаго благородства, всякаго чувства своего достоинства, согласится подвергаться подобному, ничѣмъ незаслуженному оскорбленію. Можно ли назвать цивилизованнымъ человѣка, который стоитъ на такой низкой степени умственнаго и нравственнаго развитія, что даже не понимаетъ, что имѣя въ рукахъ своихъ судьбу сотенъ тысячъ людей, онъ несетъ за нихъ тяжелую и великую отвѣтственность. Но едва-ли понимаетъ это и самъ авторъ, видимо увлеченный изяществомъ своего героя: по крайней мѣрѣ, этого рѣшительно не понимаетъ критикъ „Вѣстника Европы"... Не лучше обращается Болконскій и съ своею дочерью. Сцены его обращенія съ нею напоминаютъ намъ одну личность, вѣроятно теперь уже забытаго романа Диккенса „Оливеръ Твистъ",—личность вора Вилльяма, издѣвающагося надъ своею любовницей, какъ надъ домашнимъ скотомъ. Болконскій почти также третируетъ свою дочь; онъ ни одного раза, въ теченіе всей его жизни, описанной въ романѣ, даже нечаянно не выказалъ человѣческихъ чувствъ къ своему родному дѣтищу; напротивъ, постоянно и умышленно онъ наноситъ ей самыя грубыя оскорбленія, и она съ безконечнымъ терпѣніемъ покоряется имъ. И несмотря на это, изящный романистъ старается увѣрить насъ, что князь Болконскій была одна изъ самыхъ свѣтлыхъ личностей своего времени, какъ бы опасаясь за то, что мы ему не повѣримъ, онъ пытается убѣдить насъ авторитетомъ всего русскаго общества.

Представивъ, такимъ образомъ, одного изъ замѣчательнѣйшихъ людей своего времени, какъ авторъ заставляетъ о немъ выражаться, г. Толстой выводитъ на сцену другого, сына князя Болконскаго Андрея. Старый Болконскій, явившись въ Москву, сдѣлался тотчасъ главою московскаго общества, а сынъ сдѣлался сподвижникомъ Сперанскаго и написалъ, какъ говорилъ его отецъ, для Россіи цѣлый фолюмъ законовъ (мы низко летать не любимъ). Тотъ же самый молодой князь былъ и героемъ въ сраженіи при Аустерлицѣ, и благодѣтелемъ своихъ крестьянъ. Вотъ образчикъ разсужденій этого благодѣтеля. Князь Андрей Болконскій разсуждаетъ съ графомъ Пьеромъ Безухимъ, который разсказываетъ ему, какъ онъ на дуэли ранилъ офицера Долохова. Долохова онъ вызвалъ на дуэль, безъ всякаго повода, только потому, что онъ подозрѣвалъ его въ преступныхъ сношеніяхъ съ своей женой. Сношенія эти ничѣмъ не были доказаны (Слѣдуетъ выписка, начинающаяся словами: „Одно за что я благодарю Бога, это за то, что... Послѣднія слова ея: „И съ тѣхъ поръ сталъ спокойнѣе, какъ живу для одного себя").

Изъ предшествовавшаго этому разговору разсказа видно, впрочемъ, въ чемъ состояла эта жизнь Андрея для другихъ; видно только, что Андрей вмѣстѣ съ другими русскими и нѣмцами старался какъ можно болѣе перебить французовъ, въ то время, какъ французы старались какъ можно болѣе перебить русскихъ и нѣмцевъ. Князь Андрей вѣрнѣе бы выразился, если бы онъ сказалъ, что онъ жилъ для того, чтобы убивать другихъ. Онъ былъ такъ тупъ и ограниченъ, что не понималъ, что во время войны живутъ для другихъ тѣ, которые стараются прекратить кровопролитіе и устроить миръ, а не тѣ,

которые стараются вооружить одного противъ другого и только ради тщеславія погубить какъ можно больше невинныхъ людей. Онъ, дѣйствительно, погубилъ не только свою жизнь, но и жизнь многихъ другихъ, не задумавшись ни разу въ жизни объ истинно человѣческихъ отношеніяхъ къ своимъ ближнимъ.... (Слѣдуетъ выписка: „Да какъ же жить для одного себя?“ Выписка оканчивается словами: „... его животнаго состоянія и дать ему нравственныхъ потребностей“).

При низкомъ уровнѣ своихъ интеллектуальныхъ силъ и при грязномъ взглядѣ своемъ на жизнь и людей, князь, конечно, не могъ понимать, что у мужика точно такія же чувства, какъ у всѣхъ людей, что онъ такъ же какъ всѣ люди, способенъ любить, чувствовать привязанность, горячо страдать страданіями своей семьи, переносить для другихъ труды и лишенія, а иногда и жертвовать для нихъ всѣмъ своимъ счастіемъ и всей своей жизнію; какъ всѣ близорукіе и умственно убогіе люди, находящіеся въ состояніи полудикаго человѣка, князь воображалъ, что только онъ одинъ съ товарищами имѣлъ способность чувствовать нравственныя потребности, а всѣ другіе — это были движущіяся машины (Слѣдуетъ выписка: „А мнѣ кажется, что единственное возможное....“ Послѣднія слова ея: „. . . . онъ растолстѣетъ и умретъ“).

Все это говорилось по тому случаю, что графъ Безухій распорядился облегчить крестьянскую барщину. Распоряженіе это не было приведено въ исполненіе, и на крестьянъ были навалены новыя и еще большія тяжести. Тѣмъ не менѣе князь Андрей отмѣривалъ мужику исключительно одинъ физическій трудъ, а себѣ и своимъ сподвижникамъ умственныя занятія. Но спрашивается, что было бы съ тѣмъ обществомъ, въ которомъ всѣ бушмены, подобные князю Андрею, приняли бы на себя роль представителей умственной дѣятельности? что было бы съ нами, если бъ всѣ принялись такъ разсуждать, какъ разсуждаетъ сіятельный герой графа Толстого. Этотъ несчастный герой такъ скудоуменъ, что даже неспособенъ понять, что уменьшеніе барщины не уменьшаетъ труда крестьянина, а увеличиваетъ его благосостояніе, давая ему болѣе свободнаго времени для работы на себя. Тамъ, гдѣ уменьшеніе барщины уменьшаетъ трудъ, этотъ трудъ былъ непосильный, это было варварство, къ которому были способны принуждать только люди, которые находили, что крестьянинъ чувствуетъ необходимость въ страшномъ физическомъ трудѣ, отъ котораго можно угорѣть черезъ недѣлю. Человѣкъ, который распоряжается жизнію и счастіемъ десяткомъ тысячъ рабочихъ силъ не въ силахъ понять послѣдствія и значеніе такого простаго факта, какъ освобожденіе крестьянина отъ барщины, показываетъ ясно, что онъ не имѣетъ ни малѣйшаго понятія ни о своихъ обязанностяхъ, ни о положеніи своемъ въ обществѣ. Онъ нравственно и умственно стоитъ на одной степени первобытнаго человѣчества. Таковъ лучшій изъ тѣхъ людей, которыхъ описываетъ авторъ, и непостижимо, какимъ образомъ въ средѣ, стоящей на такомъ низкомъ нравственномъ уровнѣ, можно находить изящество въ проявленіи чувствъ и мыслей. (Слѣдуетъ выписка, которая начинается словами: Третье,—что бишь еще ты сказалъ? Она оканчивается словами: ....„доволенъ видѣть его повѣшеннымъ, но мнѣ жалко отца, то есть опять себя же.“

Это патетическое словоизверженіе заставляетъ насъ остановиться на немъ. Протоколистъ — это такая ничтожная и не имѣющая вліянія на ходъ дѣлъ личность, что его мелкое воровство не могло нанести вреда во время нашихъ войнъ, стоившихъ жизни многихъ тысячъ, погибшихъ отъ воровъ, болѣе крупныхъ: онъ могъ просто украсть у солдата, если они плохо лежали.

Всего вѣроятнѣе предположить, что онъ укралъ ихъ потому, что у него самого не было сапогъ, и что онъ не въ силахъ переносить холода и сырости.

Можетъ быть это воровство спасло его отъ простуды и смерти. Пусть князь Андрей поставитъ себя на его мѣсто, при своемъ самодовольствѣ и любви къ насилію, при своемъ полномъ непониманіи нравственныхъ условій жизни человѣческаго общества, онъ бы не только укралъ, онъ отнялъ бы силою и потомъ самоувѣренно сталъ бы утверждать, что грабежъ этотъ съ его стороны поступокъ въ высшей степени нравственный, что онъ совершенъ для спасенія жизни одного изъ замѣчательнѣйшихъ людей сего вѣка. Самый безупречный человѣкъ, тотъ, который при самыхъ трудныхъ обстоятельствахъ ни разу не подалъ примѣра слабости или робости, и тотъ посмотритъ на поступокъ протоколиста съ чувствомъ, въ которомъ будетъ девяносто девять сотыхъ сожалѣнія и одна сотая ненависти Девяносто девять разъ онъ подумаетъ о томъ, какъ бы пріискать этому несчастному бѣдняку какой-нибудь исходъ изъ его крайняго положенія, и одинъ разъ о томъ, какъ бы предупредить преступленье строгостью.

Въ этомъ послѣднемъ случаѣ онъ будетъ разсуждать такъ: наказаніе, назначенное за мелкое воровство такъ строго, что страданія, которыя имъ причиняются, не имѣютъ никакой соразмѣрности съ ущербомъ, происходящимъ отъ воровства.

Но отчего же, несмотря на это тяжкое наказаніе, все-таки воруютъ и воровство самое обыкновенное изъ преступленій? Оттого, что на воровство часто вынуждаетъ необходимость, и затѣмъ потому, что его слишкомъ легко скрыть. У насъ было только одно преступленіе, которое имѣло болѣе значительные размѣры—это взяточничество и конокрадство.

Наказаніе за это преступленіе также тяжкое, ущербъ обществу отъ него неизмѣримо значительнѣе, чѣмъ отъ воровства, и жалобы на него въ обществѣ гораздо рѣзче и энергичнѣе,—и все таки взяточничество и конокрадство составляло самое обыкновенное изъ преступленій: они совершались почти исключительно людьми, которые никогда не рискнутъ на кражу. Это понятно: взяточнику и конокраду еще болѣе шансовъ скрыть свое преступленіе, чѣмъ мелкому воришкѣ. Но какъ ни были тяжки наказанія за эти преступленія, воры и взяточники не переводились. Били ихъ и кнутомъ нещадно, подвергали и пыткамъ, и они все не переводились.... эта простая и всѣмъ извѣстная истина, кажется, могла бы быть доступна даже такому тряпичному уму, какъ Болконскій. Но онъ очевидно ее не понимаетъ; напротивъ, грозные инстинкты его дѣлаютъ изъ него какого-то лютаго звѣря Съ неподражаемымъ цинизмомъ онъ увѣряетъ своего пріятеля, что онъ не жалѣетъ о тѣхъ людяхъ, которыхъ онъ казнитъ; онъ за нихъ молился, онъ клалъ за нихъ земные поклоны и выпрашивалъ имъ прощеніе и вѣчное блаженство.

Онъ съ особеннымъ удовольствіемъ отправилъ бы на тотъ свѣтъ и бѣднаго протоколиста, онъ желалъ бы потѣшиться его казнью, но ему жалко отца. Жизнь человѣческая вѣситъ для него легче, чѣмъ нѣсколько непріятныхъ минутъ его отца, и какія будутъ эти непріятныя минуты, велика-ли будетъ эта непріятность для людей съ такою совѣстію, какъ князья Болконскіе. Если онъ, безъ сожалѣнія, готовъ былъ повѣсить протоколиста, то сколько разъ, безъ сожалѣнія, слѣдовало бы повѣсить его отца.... Какое было сравненіе между вредомъ, нанесеннымъ протоколистомъ, укравшимъ сапоги, и между тѣмъ вредомъ, который наносилъ его отецъ тысячамъ людей своимъ бездушіемъ и безжалостнымъ деспотизмомъ! Съ точки зрѣнія нравственнаго и матеріальнаго зла людямъ, старый Болконскій, въ глазахъ гуманнаго судьи, окажется во сто кратъ виновнѣе всякаго проворовавшагося протоколиста. Сынъ не лучше. И онъ, изуродованный нравственно, съ нечеловѣческимъ, почти невѣроятнымъ бездушіемъ, онъ написалъ, по сказанію автора, вмѣстѣ съ Сперанскимъ, цѣлый томъ законовъ для Россіи. Каковъ законодатель (Выписка начинается словами: „Князь Андрей все болѣе и болѣе оживлялся.. Послѣднія слова ея: „все останутся такими же спинами и лбами“.).

Такимъ образомъ философствуетъ князь Андрей,— это тотъ самый цивилизованный бушменъ, который оставлялъ за собою привиллегію мыслить, а за крестьяниномъ исключительно посвятить себя механическому труду; но я убѣжденъ, что и у бушмена нашлись бы болѣе гуманныя и здравыя мысли....

Напрасно г. Толстой думаетъ, что наглыя рѣчи, подобныя тѣмъ, которыя у него произноситъ князь Андрей, совмѣстны съ тѣми гуманными намѣреніями, которыя навязываетъ ему авторъ въ отношеніи его крестьянъ. Авторъ, какъ видно, не знаетъ людей, которые дѣлаютъ другимъ добро, и въ особенности большое добро. Въ какое бы время и при какихъ бы условіяхъ ни существовали люди этого сорта,—у нихъ, обыкновенно, въ сильной степени развито общественное чувство. Кромѣ личныхъ и узко-эгоистическихъ цѣлей, они имѣютъ еще другія, высшія цѣли, вытекающія изъ того глубоко-человѣческаго убѣжденія, что всякое индивидуальное счастіе возможно только при общемъ счастіи всѣхъ членовъ извѣстнаго общества. Отсюда направляется вся дѣятельность этихъ людей, къ этому главному пункту сводятся всѣ ихъ стремленія, интересы.

Гуманныя чувства, полныя высокой любви и снисходительности къ людямъ, составляютъ отличительную черту этихъ людей; и притомъ эти чувства вытекаютъ не изъ сантиментальныхъ настроеній сердца, а изъ высокаго умственнаго развитія, съ которымъ находится въ полной гармоніи весь внутренній міръ и вся практическая дѣятельность этихъ людей. Такимъ, повидимому, г. Толстой и хотѣлъ представить намъ князя Андрея. Эта личность идетъ у него впереди всѣхъ, онъ сдѣлался извѣстенъ всей Россіи своими поступками относительно крестьянъ и обратилъ на себя вниманіе Сперанскаго. Человѣкъ, который идетъ впереди своего вѣка, слишкомъ хорошо понимаетъ весь вредъ циническихъ и бездушныхъ рѣчей, и не можетъ не понимать, потому что его нравственное и умственное развитіе ставитъ его выше всякой пошлости; онъ очень хорошо знаетъ, что говорить значитъ

то же, что дѣлать. Но таковъ-ли дѣйствительно князь Андрей? Изъ всего, что онъ говоритъ и дѣлаетъ у г. Толстого, видно, что это грязный, грубый, бездушный автоматъ, которому не извѣстно ни одно истинно-человѣческое чувство и стремленіе. И въ этомъ отношеніи г. Толстой даже не сумѣлъ замаскировать всей внутренней пошлости Болконскихъ. Между всѣми героями романа они выдаются особенно крупными чертами своей физіономіи; они могутъ служить типомъ для другихъ. То, что въ другихъ затушевывается недостаткомъ характера, мелочностію или безпечностью и добродушіемъ (какъ, напримѣръ, у Пьера), то обрисовывается у Болконскихъ ясными и опредѣленными линіями. Послѣ этого отзывъ изящнаго критика „Вѣстника Европы" объ изяществѣ героевъ г. Толстого можетъ заставить только пожать плечами.

Этотъ отзывъ производитъ тяжелое и отвратительное впечатлѣніе на всякое мало-мальски живое нравственное чувство. Ясно, какъ изящный романистъ, такъ и изящный критикъ его даже не предчувствуютъ истиннаго характера человѣка, способнаго дѣлать дѣйствительное добро людямъ. Для нихъ все то изящно и гуманно, что знатно и богато, и эту внѣшнюю вылощенность они принимаютъ за настоящее человѣческое достоинство.

Оба они смотрятъ на героевъ романа снизу вверхъ, и умиленіе, какъ туманъ, застилаетъ все передъ ихъ глазами. За этимъ туманомъ они видятъ не то, что въ дѣйствительности, а миражъ, созданный ихъ досужимъ воображеніемъ.

Одинъ русскій романистъ описалъ раболѣпную женщину, которая смотрѣла въ отдаленномъ кварталѣ на карету и выходившаго изъ нея оберъ-офицера; ей представились на немъ воображаемыя звѣзды и генеральскія эполеты, потому что она никакъ не могла себѣ вообразить, чтобы въ каретѣ могъ ѣздить кто-нибудь другой, кромѣ генерала. Это естественный обманъ плохо воспитанной фантазіи.

Критикъ „Вѣстника Европы", составивъ себѣ понятіе, что высшее общество должно вести изящную жизнь и что, кромѣ изящной, оно никакой другой жизни вести не можетъ, нашелъ такую жизнь и въ лицахъ, которыхъ г. Толстой вывелъ на сцену, хотя ни одно изъ этихъ лицъ ни одного раза не проявилось изящно, а всѣ или проявлялись безразлично, или грубо и грязно, какъ дикіе бушмены. Вся эта грязь не марала критика „Вѣстника Европы" и не обдавала его своимъ удушливымъ запахомъ, онъ ее не замѣчалъ, а рисовалъ въ своемъ воображеніи изящную обстановку и изящныя манеры, дальше которыхъ его анализъ не можетъ идти.

Но и въ манерахъ героевъ романа мы не усматриваемъ особеннаго изящества.

Вотъ одно мѣсто, которое въ двухъ словахъ характеризуетъ свойство манеръ описаннаго авторомъ общества: министръ, князь Курагинъ, съ сыномъ Анатолемъ въ гостяхъ у князя Болконскаго; тутъ же находится, по своей обязанности, француженка m-lle Bourienne.

(Выписка со словъ: „Ввечеру, когда послѣ ужина"... кончаясь словами: „m-elle Bourienne вспыхнула и испуганно взглянула на княжну").

Анализируя это понятіе о приличіяхъ, я не буду говорить объ изящномъ обществѣ—куда!—я не буду говорить даже о просто циви-

лизованномъ обществѣ. Я разсмотрю, какъ бы на это взглянуло общество, которое уже вышло изъ дикаго состоянія и начинаетъ приближаться къ цивилизаціи. Общество нужно считать въ дикомъ состояніи, пока его высшее удовольствіе—показывать свою силу и наводить страхъ.

Германецъ тщеславился тѣмъ, что кругомъ его деревни на двѣсти верстъ не смѣлъ никто поселиться, опасаясь его грабежей и разбоевъ. Оно дико потому, что наклонности людей тутъ прямо противоположны условіямъ человѣческаго благосостоянія. Общество полудикое, но приближающееся къ цивилизаціи, характеризуется тѣмъ, что человѣкъ въ немъ уже не считаетъ похвальнымъ оскорблять другого безъ нужды, но ведетъ все-таки эгоистическую и обособленную жизнь. При такомъ условіи уже возможна жизнь спокойная, но полной общественной гармоніи еще не можетъ быть. Общество цивилизованное уже не довольствуется тѣмъ, чтобы не оскорблять другихъ: каждый членъ его подходитъ къ ближнему съ любовью, онъ старается ему помочь, поднять и нравственно и матеріально, нравы этого общества таковы, что они способствуютъ наибольшому развитію силъ и благосостоянія. Наконецъ, въ изящномъ обществѣ такая взаимная помощь дѣлается съ особенной деликатностію и производитъ самое пріятное впечатлѣніе.

Противъ такого раздѣленія, простого, понятнаго и прямо вытекающаго изъ наблюденія и изъ природы вещей, я полагаю, ничего нельзя возразить. Если мѣрить этой мѣркой общество, описанное г. Толстымъ, то его надо отнести къ разряду такихъ скопищъ. Показывать высокомѣрное презрѣніе къ человѣку, который по необходимости попалъ въ его гостинную, можетъ только человѣкъ, дико величающійся своей силой, человѣкъ съ чувствами того германца, которому пріятно топтать ногами все, что къ нему приближается. Человѣкъ полуцивилизованный, средневѣковой рыцарь впадаетъ иногда въ другую крайность: изъ опасенія оскорбить, онъ старается возвеличить надъ собою своего собесѣдника, онъ называетъ его милостивымъ своимъ государемъ, а себя покорнѣйшимъ слугою. Онъ не замѣчаетъ, что и при его желаніи не оскорблять безъ нужды, проглядываетъ еще складъ ума дикаго человѣка. Если я предполагаю, что я дѣлаю удовольствіе своему собесѣднику тѣмъ, что я себя унижаю, а его возвышаю надъ собою, то я предполагаю въ немъ наклонность возвышаться надъ другими и попирать ихъ ногами, т. е. наклонность дикаго человѣка. Поэтому членъ цивилизованнаго общества, который знаетъ, что его собесѣднику всего пріятнѣе видѣть въ другихъ столько же значенія и достоинства, сколько въ немъ самомъ, ведетъ себя въ обществѣ со всѣми, какъ съ равными, не унижаясь ни передъ кѣмъ и не величаясь ни надъ кѣмъ. Эта первая и самая необходимая черта общественнаго приличія и изящества совершенно незнакома героямъ г. Толстаго; они вылощены внѣшнимъ образомъ, и въ этомъ все ихъ изящество. Тонъ общества Болконскихъ точно такъ же возмутителенъ, какъ и ихъ разсужденія и ихъ поведеніе.

Но изящество въ костюмѣ, въ пищѣ, во внѣшней обстановкѣ можетъ идти рука объ руку съ самой дикой грубостью въ нравственномъ и интеллектуальномъ отношеніи.

Человѣкъ, изящный въ проявленіи своихъ мыслей и въ отношеніяхъ своихъ къ другимъ людямъ, неизбѣжно долженъ быть и нравственно развитая, свѣтлая личность. Напротивъ, человѣкъ, дикій въ своихъ проявленіяхъ, дикъ и въ своемъ существѣ. Эта неизбѣжная связь между внутреннимъ міромъ человѣка и его внѣшними поступками ясно сохранилась въ герояхъ романа. Люди эти производятъ цѣльное впечатлѣніе людей живыхъ, взятыхъ изъ дѣйствительности.

Это не сотрудники Сперанскаго, какъ авторъ ихъ называетъ, это не люди временъ Александра: черты изъ жизни временъ Александра прилѣплены къ нимъ съ тѣмъ же искусствомъ, съ которымъ можно черты монгола прилѣпить къ физіономіи эѳіопа. Авторъ описываетъ явно людей, которыхъ онъ самъ видѣлъ и лично наблюдалъ, людей, на которыхъ онъ привыкъ смотрѣть снизу вверхъ и которыхъ онъ выбралъ, желая изобразить лучшее общество временъ Александра, и возвелъ въ герои, потому что не былъ въ состояніи ихъ понять. Вотъ откуда взялась цѣльность впечатлѣнія, производимаго на читателя героями этого романа.

Между изящными бушменами любимцемъ автора является гусаръ Ростовъ; про него критикъ „Вѣстника Европы“ говоритъ, что онъ обладаетъ изящной натурой художника. Этотъ Ростовъ принадлежитъ къ семейству богатыхъ помѣщиковъ, членамъ котораго ни разу не приходила мысль, что на нихъ лежатъ какія-нибудь обязанности: и гусаръ, и его отецъ не имѣютъ ни малѣйшаго понятія о сельскомъ хозяйствѣ и объ условіяхъ земледѣльческой жизни; они смотрятъ на подвластныхъ имъ людей, какъ на безчувственный матеріалъ, доставляющій барыши,—только. Они не способны возвыситься до пониманія человѣческаго достоинства въ другихъ, потому что не понимаютъ своего собственнаго.

Они никогда даже не подозрѣвали, что съ ихъ стороны преступно разорять себя и свои имѣнія нелѣпой роскошью и глупымъ хлѣбосольствомъ, что, разоряя себя, они навлекаютъ тысячи страданій на крестьянъ. Съ управляющимъ своимъ Ростовы поступаютъ точно такъ же, какъ и Болконскіе: молодой Ростовъ бьетъ его, топчетъ ногами, ловитъ въ воровствѣ, и все-таки тотъ остается управляющимъ, человѣкомъ, самымъ вліятельнымъ, послѣ своего господина, на судьбу крестьянъ. Каковъ этотъ управляющій, видно изъ злобной радости, съ которой крестьяне смотрятъ на наносимые ему побои.

(Слѣдуетъ выписка, начинающаяся словами: „Разговоръ и учетъ Митеньки продолжался не долго“. Послѣднія слова ея: ...„ничего не понимаю, сказалъ онъ самъ себѣ, и съ тѣхъ поръ болѣе не вступался въ дѣла“).

Такимъ образомъ. изъ воспитанія своего и изъ всей окружающей житейской обстановки Ростовъ вынесъ только знаніе транспортовъ отъ угла на шесть кушей, и съ этимъ запасомъ умственныхъ сокровищъ приступилъ къ веденію своихъ хозяйственныхъ дѣлъ. Разумѣется, ничего другого онъ и не могъ изобрѣсти, какъ „чортъ съ ними, съ этими мужиками“ *).....

Навалихинъ.

---

*) „Дѣло“ 1868, № 6. Соврем. обозр. См. также № 4: „Изящный романистъ и его изящные критики“.

5.

. . . . Авторъ „Войны и мира“, желая открыть своимъ романомъ новую эпоху въ исторіи русской литературы, на самомъ дѣлѣ воскрешаетъ въ ней эпоху старую, да и еще очень старую. Романъ его знакомитъ насъ съ 1812 годомъ столько же (если не меньше), какъ Юрій Милославскій съ 1612 годомъ, хотя рамки исторической картины гораздо обширнѣе у гр. Толстого. Философская же начинка, которою авторъ обильно снабдилъ цѣлыя главы „Войны и мира“, если и отличаетъ этотъ романъ отъ „Юрія Милославскаго“,—то отличіе служитъ не къ выгодѣ гр. Толстого. Батальныя описанія также хороши въ обоихъ романахъ, но добросовѣстность требуетъ прибавить, что описанія Загоскина обладаютъ качестомъ, котораго нѣтъ у Толстого—именно краткостью. Смысла борьбы, которая характиризуетъ обѣ эти эпохи, раздѣленныя двумя столѣтіями, не ищите ни въ томъ, ни въ другомъ романѣ. Герои гр. Толстого большею частью упражняются въ стрѣльбѣ, то есть находятся на войнѣ, въ мирное время они съѣзжаются то у фрейлины Шереръ, то у гостепріимныхъ графовъ Ростовыхъ (семейство очень любезное автору), пьютъ, ѣдятъ, часто танцуютъ и болтаютъ на ужасномъ французско-нижегородскомъ нарѣчіи самыя незначительныя и пустыя вещи. Герои эти—все люди съ хорошими манерами—принадлежатъ къ сливкамъ высшаго общества и, можетъ быть, по сходству съ извѣстными покойниками, интересны для двухъ-трехъ читателей. Вообще романъ гр. Толстого представляетъ, съ этой стороны, какую-то „семейную хронику“ великосвѣтскихъ фамилій. Между всѣми этими личностями, прилично говорящими пустяками или неприлично болтающими свысока о „важныхъ матеріахъ“ мы не нашли ни одного человѣка, который могъ бы называться представителемъ тогдашней русской интеллигенціи.

Князь Андрей Болконскій? Пьеръ Безухій? графъ Николай Ростовъ? ужъ не они ли изображаютъ собой типы развитыхъ людей александровской эпохи? Кажется, авторъ думалъ, дѣйствительно, возвести ихъ въ этотъ санъ, по крайней мѣрѣ, первыхъ двухъ? Но что это за жалкія картинныя фигуры... Ихъ, въ самомъ дѣлѣ, можно „поворачивать во всѣ стороны“, какъ справедливо выразился г. Щебальскій, воображая, что сказалъ похвалу. Сначала кн. Болконскій увлекается военною славою. Онъ говоритъ: „смерть, раны, потеря семьи, ничто мнѣ не страшно. И какъ ни дороги, ни милы мнѣ многіе люди .. я всѣхъ ихъ отдамъ сейчасъ за минуту славы, торжества надъ людьми“. (Т. I, стр. 100). Вдругъ, на аустерлицкомъ полѣ, въ него попадаетъ непріятельская пуля; рана, значитъ, получена. Эта непріятность перевертываетъ всѣ честолюбивые планы Болконскаго; черезъ нѣсколько страницъ онъ разсуждаетъ уже такимъ образомъ, лежа навзничь и смотря на небо: «Какъ тихо, спокойно и торжественно оно (то есть небо). Какъ же я не видалъ (?) прежде этого неба? Какъ я счастливъ, что узналъ его наконецъ. Да! Все пустое, все обманъ, кромѣ этого безконечнаго неба. Ничего, ничего нѣтъ, кромѣ его“! Во второмъ то-

мѣ Болконскій начинаетъ опять саркастически посматривать на небо и вступаетъ въ вольнодумный разговоръ съ Пьеромъ Безухимъ, но вольнодумствуетъ онъ вовсе не такъ, какъ вольнодумствовали умные люди того времени. Онъ глумится, напр., надъ любовью къ ближнимъ и самопожертвованіемъ по поводу разныхъ улучшеній, затѣянныхъ Пьеромъ въ его громадныхъ имѣніяхъ, но онъ не предлагаетъ для этой любви никакого другаго раціональнаго исхода, а ограничивается тѣмъ, что называетъ ее „главнымъ источникомъ человѣческихъ заблужденій". Общественная дѣятельность кажется ему пустымъ препровожденіемъ времени. Что справедливо, что добро—внушаетъ онъ своему собесѣднику—предоставь судить тому, кто все знаетъ, а не намъ". Этотъ финалъ совсѣмъ уже не сообразенъ съ скептическими взглядами Болконскаго. Вскорѣ послѣ того Болконскій, съ своими недоношенными идейками, начинаетъ работать надъ составленіемъ новаго кодекса гражданскихъ законовъ, по приглашенію и подъ руководствомъ Сперанскаго. Въ первое время своего знакомства съ Сперанскимъ онъ чувствовалъ къ нему полнѣйшее уваженіе; но вдругъ ему, такъ же неожиданно, какъ на аустерлицкомъ полѣ, приходитъ въ голову блистательная мысль: „Какое дѣло мнѣ и Бицкому (одному изъ поклонниковъ Сперанскаго), какое дѣло намъ до того, что государю угодно было сказать въ свѣтѣ? Развѣ это можетъ сдѣлать меня счастливѣе и лучше?" И проникнувшись этихъ размышленіемъ индѣйскаго факира, онъ утратилъ сразу всю свою симпатію къ Сперанскому. Обѣдая послѣ того у знаменитаго реформатора, онъ ужъ „съ удивленіемъ и грустью разочарованія слушалъ его смѣхъ и смотрѣлъ на смѣющагося Сперанскаго. Это былъ не Сперанскій, а другой человѣкъ, казалось князю Андрею. Все, что прежде таинственно и привлекательно представлялось князю Андрею въ Сперанскомъ, вдругъ стало ему ясно и не привлекательно". (Т. III, стр. 73). Вотъ вамъ и исторія сношеній Андрея Болконскаго со Сперанскимъ. Гдѣ же тутъ личность любимаго статсъ-секретаря Александра I-го? гдѣ его друзья и враги? вѣдь у него было много и тѣхъ и другихъ. Онъ осужденъ—и осужденъ безапелляціозно пустымъ великосвѣтскимъ фатомъ, который не сказалъ съ нимъ и двухъ путныхъ словъ. Мы не узнали ни одного задушевнаго желанія, ни одной надежды Сперанскаго, и познакомились только съ его обѣденной сервировкой. (Кстати, этотъ обѣдъ разсказанъ по книгѣ барона Корфа, и даже одна фраза Сперанскаго: „нынче хорошее вино въ сапожкахъ ходитъ" почерпнута оттуда). Чарторижскій тоже выведенъ мелькомъ, единственно затѣмъ, чтобы показать полнѣйшее пренебреженіе къ нему кн. Болконскаго (Т. I. стр. 81). А напрасно! Имъ не принебрегалъ и Александръ Павловичъ. О самомъ Александрѣ I мы уже говорили: онъ выходитъ лишь въ сраженіяхъ и говоритъ нѣсколько—французскихъ фразъ.

Пьеръ Безухій, другой любимецъ гр. Толстого, еще меньше годится въ представители русской мыслящей молодежи. Онъ глупитъ на каждомъ шагу и потѣшаетъ собою всѣхъ дѣйствующихъ лицъ романа. Его водитъ за носъ князь Василій, почти насильно выдавшій за него замужъ свою дочь, la belle Hélène, обкрадываетъ управляющій, и наставляетъ, какъ школьника, первый попавшійся на дорогѣ массонъ. Либеральные взгляды, съ которыми онъ, повидимому, вернулся изъ-за границы, не выдерживаютъ перваго натиска противоположнаго направ-

ленія. Уже во второмъ томѣ Пьеръ философствуетъ: „Людовика XVI казнили за то, что они (кто они?) говорили, что онъ былъ безчестенъ и преступникъ, и они были правы съ своей точки зрѣнія, такъ же какъ правы и тѣ, которые за него умирали мученическою смертью и причислили его къ лику святыхъ Потомъ Робеспьера казнили за то, что онъ былъ деспотъ. Кто правъ, кто виноватъ? Никто. А живъ и живи: завтра умрешь". Когда и гдѣ александровское либералы (по крайней мѣрѣ лучшіе изъ нихъ) высказывали подобный индифферентизмъ. Затѣмъ массонъ окончательно сбиваетъ съ толку Пьера, и бѣдный графъ ежеминутно несетъ разный мистическій вздоръ. Подумаешь, читая все это, что русское общество прежняго времени начало и кончило мистицизмомъ, не отстаивая никакихъ другихъ мнѣній, не распадаясь на различныя партіи.....

Николай Ростовъ, третій любимецъ автора, плохъ до послѣдней степени, хотя и мечтаетъ о томъ, чтобы попасть въ совѣтники къ императору Александру. „О какъ бы я охранялъ его—восклицаетъ онъ въ умиленіи отъ своей мечты—какъ бы я говорилъ ему всю правду, какъ бы я изобличалъ его обманщиковъ". Но Россія счастлива, что Богъ избавилъ ея государя отъ такого совѣтника. Этотъ претендентъ въ государственные люди лупитъ по щекамъ мужика Карпа такъ, что у его жертвы „голова мотается съ боку на бокъ отъ сильныхъ ударовъ"; свое усердіе къ царю онъ представляетъ себѣ не иначе, какъ въ формѣ кулачной расправы съ какимъ-нибудь обманщикомъ-нѣмцемъ. (Т. I стр. 102). Онъ былъ въ университетѣ, но не вынесъ оттуда ни одной честной и здравой идеи. О своихъ служебныхъ обязанностяхъ онъ разсуждаетъ такимъ образомъ: „умирать велятъ намъ—такъ умирать. А коли наказываютъ, такъ, значитъ, виноватъ; не намъ судить. Угодно признать Бонапарта императоромъ и заключить съ нимъ союзъ — значитъ такъ надо А то, коли бы мы стали судить да разсуждать, такъ этакъ ничего не останется. Этакъ мы скажемъ, что ни Бога нѣтъ, ничего нѣтъ". Гр. Толстой прибавляетъ къ этимъ словамъ, что Ростовъ произносилъ ихъ на пирушкѣ и на-веселѣ, но извѣстна пословица: „что у трезваго на умѣ, то у пьянаго на языкѣ". Трезвый Ростовъ говоритъ и дѣйствуетъ нисколько не лучше Ростова пьянаго.

Не поймавъ главной характеристической черты александровскаго времени, не оцѣнивъ значенія важнѣйшихъ историческихъ лицъ, гр. Толстой, естественно, не могъ сконцентрировать своего романа и разобраться въ мелочахъ и деталяхъ, не связанныхъ никакою общею идеею. Онъ принялся описывать баталіи, московскія сплетни, салонныя интриги и любовныя приключенія. Эпоха 12-го года заняла цѣлый томъ, а читатель все-таки не понимаетъ въ чемъ дѣло Только одна сцена, невзначай разсказанная гр. Толстымъ (она приведена нами въ первой главѣ), бросаетъ лучъ свѣта на закулисную исторію народной войны. Остальное все какъ въ реляціяхъ: Кутузовъ, Багратіонъ, шевардинскій редутъ и пр. и пр. Благодаря отсутствію всякаго плана и всякой логической концепціи между разсказываемыми событіями, романъ гр. Толстого можно разогнать не на четыре, а на двадцать четыре тома. Хватитъ ли только у публики терпѣнія дожидаться конца?... *).

Пятковскій.

*) Недѣля 1868, № 22, 23 и др. См. также въ книгѣ Пятковскаго „Живые Вопросы".

1869.

1.

Душа человѣческая изображается въ „Войнѣ и Мирѣ“ съ реальностію, еще небывалою въ нашей литературѣ. Мы видимъ передъ собою не отвлеченную жизнь, а существа вполнѣ опредѣленныя, со всѣми ограниченіями мѣста, времени, обстоятельствъ. Мы видимъ, напримѣръ, какъ растутъ лица гр. Л. Н. Толстого. Наташа, выбѣгающая съ куклой въ гостинную въ первомъ томѣ, и Наташа, входящая въ церковь въ четвертомъ, — это одно и то же лицо въ двухъ различныхъ возрастахъ— дѣвочки и дѣвушки, а не два возраста, только приписанные одному лицу, какъ это часто бываетъ у другихъ писателей. Авторъ показалъ намъ при этомъ и промежуточныя ступени этого развитія. Точно такъ — передъ нашими глазами растетъ Николай Ростовъ, Петръ Безухій изъ молодого человѣка превращается въ московскаго барина, дряхлѣетъ старикъ Болконскій и пр.

Душевныя особенности лицъ гр. Л. Н. Толстого такъ ясны, такъ запечатлѣны индивидуальностію, что мы слѣдимъ за родственнымъ сходствомъ тѣхъ душъ, которыя связаны родствомъ по крови. Старикъ Болконскій и князь Андрей—явно одинаковыя натуры; только одна—молодая, другая—старая. Семейство Ростовыхъ, несмотря на все разнообразіе своихъ членовъ, представляетъ удивительно схваченныя общія черты, доходящія до тѣхъ оттѣнковъ, которые можно чувствовать, но не выразить. Почему-то чувствуется, напримѣръ, что и Вѣра есть настоящая Ростова, такъ какъ Соня явно имѣетъ душу другого корня.

Объ иностранцахъ и говорить нечего. Вспомните нѣмцевъ: генерала Мака, Пфуля, Адольфа Берга, француженку M-elle Bourienne, самого Наполеона и пр. Психическое отличіе національностей схвачено и выдержано до тонкости. Относительно же русскихъ лицъ не только ясно, что каждое изъ нихъ — лицо вполнѣ русское, но мы можемъ различать даже и классы и состояніе, къ которымъ они принадлежатъ. Сперанскій, являющійся въ двухъ небольшихъ сценахъ, оказывается семинаристомъ съ головы до ногъ, причемъ особенности его душевнаго строя выражены съ величайшей яркостію и безъ малѣйшаго преувеличенія.

И все, что происходитъ въ этихъ душахъ, имѣющихъ столь опредѣленныя черты, — каждое чувство, страсть, волненіе, имѣетъ точно такую же опредѣленность,—изображено съ такою же точно реальностію. Нѣтъ ничего обыкновеннѣе отвлеченнаго изображенія чувствъ и страстей. Герою обыкновенно приписывается какое-нибудь *одно* душевное настроеніе, — любовь, честолюбіе, жажда мщенія, — и дѣло разсказывается такъ, какъ будто это настроеніе *постоянно* суще-

ствуетъ въ душѣ героя; такимъ образомъ, дѣлается описаніе явленій извѣстной страсти, взятой отдѣльно, и приписывается выведенному на сцену лицу.

Не то у гр. Л. Н. Толстого. У него каждое впечатлѣніе, каждое чувство усложняется всѣми тѣми отзывами, которые оно находитъ въ различныхъ способностяхъ и стремленіяхъ души. Если представить себѣ душу въ видѣ музыкальнаго инструмента со множествомъ различныхъ струнъ, то можно будетъ сказать, что художникъ, изображая какое-нибудь потрясеніе души, никогда не останавливается на преобладающемъ звукѣ одной струны, а схватываетъ всѣ звуки, даже самые слабые и едва замѣтные. Припомните, напр., описаніе Наташи, существа, въ которомъ душевная жизнь имѣетъ такую напряженность и полноту; въ этой душѣ все говоритъ разомъ: самолюбіе, любовь къ жениху, веселость, жажда жизни, глубокая привязанность къ роднымъ и пр.

Припомните князя Андрея, когда онъ стоитъ надъ дымящеюся гранатою.

„Неужели это смерть?“, думалъ князь Андрей, совершенно новымъ, завистливымъ взглядомъ глядя на траву, на песокъ и на струйку дыма, вьющуюся отъ вертящагося чернаго мячика. „Я не могу, не хочу умереть, я люблю жизнь, люблю эту траву, землю, воздухъ“... *Онъ думалъ это и вмѣстѣ съ тѣмъ помнилъ о томъ, что на него смотрятъ.*“ (Т. IV, стр. 323).

И далѣе-какое бы чувство не владѣло человѣкомъ, оно изображается у гр. Л. Н. Толстого со всѣми его измѣненіями и колебаніями,— не въ видѣ какой-то постоянной величины, а въ видѣ только способности къ извѣстному чувству, — въ видѣ искры, постоянно тлѣющей, готовой вспыхнуть яркимъ пламенемъ, но часто заглушаемой другими чувствами. Вспомните, напримѣръ, чувство злобы, которое князь Андрей питаетъ къ Курагину, — доходящія до странности противорѣчія и перемѣны въ чувствахъ княжны Марьи, религіозной, влюбчивой, безгранично любящей отца и т. п.

Какую же цѣль имѣлъ при этомъ авторъ, какая мысль его руководитъ? Изображая душу человѣческую въ ея зависимости и измѣнчивости,—въ ея подчиненіе собственнымъ ея особенностямъ и временнымъ обстоятельствамъ, ее окружающимъ, онъ какъ будто умаляетъ душевную жизнь, какъ будто лишаетъ ее единства,—постояннаго, существеннаго смысла. Несостоятельность, ничтожество, суетность человѣческихъ чувствъ и желаній—вотъ, повидимому, главная тема художника. Но мы и здѣсь ошибаемся, если остановимся на реалистическихъ стремленіяхъ художника, выступающихъ съ такою необыкновенною силою, и забудемъ объ источникѣ, которымъ внушены эти стремленія. Реальность въ изображеніи души человѣческой необходима была для того, чтобы тѣмъ ярче, тѣмъ правдивѣе и несомнѣннѣе являлось передъ нами хотя бы слабое, но дѣйствительное осуществленіе идеала. Въ этихъ душахъ, волнуемыхъ и подавляемыхъ своими желаніями и внѣшними событіями, рѣзко запечатлѣнныхъ своими неизгладимыми особенностями, художникъ умѣетъ уловить каждую черту, каждый слѣдъ истинной душевной красоты,—истиннаго человѣческаго достоинства. Такъ что, если мы попробуемъ дать новую, болѣе широкую формулу

для задачи произведенія гр. Л. Н. Толстаго, мы должны будемъ, кажется, выразить ее такъ:

Въ чемъ заключается человѣческое достоинство? какъ слѣдуетъ понимать жизнь людей—отъ самыхъ сильныхъ и блестящихъ до самыхъ слабыхъ и ничтожныхъ, чтобы не выпускать изъ виду ея существенной черты—человѣческой души въ каждомъ изъ нихъ?

На эту формулу мы нашли намекъ и самого автора. Разсуждая о томъ насколько мало было участіе Наполеона въ Бородинскомъ сраженіи, насколько несомнѣнно въ немъ участвовалъ своею душою каждый солдатъ, - авторъ замѣчаетъ: *человѣческое достоинство говоритъ мнѣ*, что всякій изъ насъ, ежели не больше, то никакъ *не меньше человѣкъ, чѣмъ великій Наполеонъ*". (Т. IV стр. 282).

И такъ изобразить то, чѣмъ каждый человѣкъ бываетъ не меньше всякаго другаго,—то, въ чемъ простой солдатъ можетъ равняться Наполеону, человѣкъ ограниченный и тупой величайшему умнику, —словомъ, то, что мы должны *уважать* въ человѣкѣ, въ чемъ должны поставлять его *цѣну*,—вотъ широкая цѣль художника. Для этой цѣли онъ вывелъ на сцену великихъ людей, великія событія и рядомъ приключенія юнкера Ростова, великосвѣтскія салоны и житье-бытье дядюшки, Наполеона и дворника Ѳерапонтова. Для этого же онъ разсказалъ намъ семейныя сцены простыхъ, слабыхъ людей и сильныя страсти блестящихъ, богатыхъ силами натуръ,—изобразилъ порывы благородства и великодушія и картины глубочайшихъ человѣческихъ слабостей.

Человѣческое достоинство людей закрывается отъ насъ или ихъ недостатками всякаго рода, или же тѣмъ, что мы слишкомъ высоко цѣнимъ другія качества и потому измѣряемъ людей ихъ умомъ, силою, красотою и пр. Поэтъ научаетъ насъ проникать сквозь эту внѣшность. Что можетъ быть проще, дюжиннѣе, такъ сказать, смиреннѣе фигуръ Николая Ростова и княжны Марьи? Ничѣмъ они не блестятъ, ничего не умѣютъ сдѣлать, ни въ чемъ не выдаются изъ самаго низкаго уровня обыкновеннѣйшихъ людей; а между тѣмъ эти простыя существа, безъ борьбы идущія по самымъ простымъ жизненнымъ путямъ, суть, очевидно, существа прекрасныя. Неотразимая симпатія, которою художникъ успѣлъ окружить эти два лица, повидимому, столь малыя, а въ сущности никому не уступающія душевною красотою,—составляетъ одну изъ самыхъ мастерскихъ сторонъ „Войны и Мира". Николай Ростовъ,—очевидно, человѣкъ по своему уму весьма ограниченный; но, какъ замѣчаетъ въ одномъ мѣстѣ авторъ, у него былъ здравый смыслъ посредственности, который показывалъ ему, что было должно". (Т. III, стр. 113).

И дѣйствительно, Николай дѣлаетъ множество глупостей, мало понимаетъ и людей и обстоятельства, но всегда понимаетъ, что должно; и эта безцѣнная мудрость во всѣхъ случаяхъ охраняетъ чистоту его простой и горячей натуры.

Говорить ли о княжнѣ Марьѣ? Несмотря на всѣ ея слабости, этотъ образъ достигаетъ почти ангельской чистоты и кротости; и по временамъ кажется, что его окружаетъ святое сіяніе.

Тутъ насъ невольно останавливаетъ страшная картина—отношенія между старикомъ Болконскимъ и его дочерью. Если Николай Ростовъ и княжна Марья представляютъ лица явно симпатическія, то-

повидимому, нѣтъ возможности простить этому старику всѣхъ мученій, которыя переноситъ отъ него дочь. Изъ всѣхъ лицъ, выведенныхъ художникомъ, ни одно, повидимому, не заслуживаетъ бо́льшаго негодованія. А между тѣмъ, что же оказывается? Съ изумительнымъ мастерствомъ авторъ изобразилъ намъ одну изъ самыхъ страшныхъ человѣческихъ слабостей, неодолимыхъ ни умомъ, ни волей,—и болѣе всего способныхъ возбудить искреннее сожалѣніе. Въ сущности старикъ безпредѣльно любитъ свою дочь,—въ буквальномъ смыслѣ, *не могъ безъ нея жить*; но эта любовь извратилась въ желаніе наносить боль себѣ и любимому существу. Онъ какъ будто безпрестанно дергаетъ ту неразрывную связь, которая соединяетъ его съ дочерью, и находитъ болѣзненное наслажденіе въ *такомъ* ощущеніи этой связи. Всѣ оттѣнки этихъ странныхъ отношеній схвачены у гр. Л. Н. Толстого съ неподражаемою вѣрностью, и развязка,—когда старикъ, сломленный болѣзнью и близкій къ смерти, выражаетъ, наконецъ, всю нѣжность къ дочери,—производитъ потрясающее впечатлѣніе.

И до такой степени могутъ извратиться самыя сильныя, самыя чистыя существа! столько мученій могутъ наносить себѣ люди, по собственной винѣ? Нельзя представить картины, болѣе ясно доказывающей, какъ мало иногда человѣкъ можетъ владѣть самъ собою. Отношенія величаваго старика Болконскаго къ дочери и сыну, основанныя на ревнивомъ и извращенномъ чувствѣ любви, составляютъ образецъ того зла, которое гнѣздится въ семействахъ, и доказываютъ намъ, что самыя святыя и естественныя чувства могутъ получить безумный и дикій характеръ.

Эти чувства составляютъ однакоже корень дѣла, и ихъ извращеніе не должно закрывать отъ насъ ихъ чистаго источника. Въ минуты сильныхъ порясеній, ихъ истинная глубокая натура часто вполнѣ выступаетъ наружу; такъ любовь къ дочери овладѣваетъ всѣмъ существомъ умирающаго Болконскаго.

Видѣть то, что таится въ душѣ человѣка подъ игрою страстей, подъ всѣми формами себялюбія, своекорыстія, животныхъ влеченій — вотъ на что великій мастеръ гр Л. Н. Толстой. Очень жалки, очень неразумны и безобразны увлеченія и похожденія такихъ людей, какъ Пьеръ Безухій и Наташа Ростова, но читатель видитъ, что, за всѣмъ тѣмъ, у этихъ людей золотыя сердца, и ни на минуту не усумнится, что тамъ, гдѣ бы дѣло шло о самопожертвованіи,—гдѣ нужно было бы беззавѣтное сочувствіе доброму и прекрасному,—въ этихъ сердцахъ нашелся бы полный отзывъ, полная готовность. Душевная красота этихъ двухъ лицъ поразительна. Пьеръ—взрослый ребенокъ, съ огромнымъ тѣломъ и страшною чувственностію, какъ дитя непрактичный и неразумный, соединяетъ въ себѣ дѣтскую чистоту и нѣжность души съ умомъ наивнымъ, но потому самому высокимъ,—съ характеромъ, которому все неблагородное не только чуждо, но даже и непонятно. Этотъ человѣкъ, какъ дѣти, ничего не боится и не знаетъ за собою зла. Наташа—дѣвушка, одаренная такою полнотою душевной жизни, что (по выраженію Безухаго) она не удостоиваетъ быть умною, т. е. не имѣетъ ни времени, ни расположенія переродить эту жизнь (приводящую ее иногда въ *состояніе опьяненія*, какъ выражается авторъ), вовлекается ею въ страшную ошибку, въ безумную страсть къ Кураги-

, — ошибку, искупаемую потомъ тяжкими страданіями. Пьеръ и На-
па — люди, которыхъ, по самой ихъ натурѣ, должны постигать въ
зни ошибки и разочарованія. Какъ бы въ противуположность имъ,
горъ вывелъ и счастливую чету: Вѣру Ростову и Адольфа Берга, —
дей, чуждыхъ всякихъ ошибокъ, разочарованій, и вполнѣ удобно
граивающихся въ жизни. Нельзя не подивиться той мѣрѣ, съ кото-
ю авторъ, выставляя всю низменность и малость этихъ душъ, ни-
зу не поддался искушенію смѣха или гнѣва. Вотъ настоящій реа-
змъ, настоящая правдивость! Такова же правдивость и въ изобра-
ніи Курагиныхъ, Эленъ, Анатоля; эти безсердечныя существа вы-
авлены безпощадно, но безъ малѣйшаго желанія бичевать ихъ.

Что же выходитъ изъ этого ровнаго, яснаго, дневнаго свѣта, ко-
рымъ авторъ озарилъ свою картину? Передъ нами нѣтъ ни класси-
скихъ злодѣевъ, ни классическихъ героевъ; душа человѣческая яве-
ется въ чрезвычайномъ разнообразіи типовъ, является—слабая, под-
ненная страстямъ и обстоятельствамъ, но, въ сущности, въ массѣ
ководится чистыми и добрыми стремленіями. Среди всего разнооб-
зія лицъ и событій мы чувствуемъ присутствіе какихъ-то твердыхъ
незыблемыхъ началъ, на которыхъ держится эта жизнь. Обязанно-
и семейныя, общественныя, супружескія—ясны для всѣхъ. Понятія
добрѣ и злѣ понятливы и прочны. Изобразивъ съ величайшею пра-
вностію фальшивую жизнь высшихъ слоевъ общества и разныхъ шта-
въ, окружающихъ высокія лица, авторъ противопоставилъ имъ двѣ
ѣпкія и истинно живыя сферы—семейную жизнь и настоящую воен-
ю, то есть, армейскую жизнь. Два семейства, Болконскихъ и Росто-
ихъ, представляютъ намъ жизнь, руководимую ясными, несомнѣн-
ими началами, въ соблюденіи которыхъ члены этихъ семействъ по-
авляютъ свой долгъ и честь, достоинство и утѣшеніе. Точно также
мейская жизнь (которую гр. Л. Н. Толстой въ одномъ мѣстѣ срав-
ваетъ съ раемъ) представляетъ намъ полную опредѣленность поня-
й о долгѣ, о достоинствѣ человѣка, такъ что простодушный Николай
остовъ даже предпочелъ однажды остаться въ полку, а не ѣхать въ
мью, гдѣ онъ не совсѣмъ ясно видитъ, какъ ему слѣдуетъ вести
бя.

Такимъ образомъ, въ крупныхъ и ясныхъ чертахъ изображена
амъ Россія 1812 года, какъ масса людей, которые знаютъ, чего отъ
ихъ требуетъ ихъ человѣческое достоинство,—что имъ слѣдуетъ дѣ-
лть, по отношенію къ себѣ, къ другимъ людямъ и къ родинѣ. Весь
зсказъ гр. Л. Н. Толстого изображаетъ только всякаго рода борьбу,
торую это чувство долга выдерживаетъ со страстями и случайностями
изни, а также—борьбу, которую этотъ крѣпкій, наиболѣе многолюд-
ій слой Россіи выдерживаетъ съ верхнимъ, фальшивымъ и несостоя-
льнымъ слоемъ. Двѣнадцатый годъ былъ минутою, когда нижній
ой взялъ верхъ и, въ силу своей твердости, выдержалъ напоръ
аполеона. Все это прекрасно видно, напримѣръ, на дѣйствіяхъ и
ысляхъ князя Андрея, который ушелъ изъ штаба въ полкъ и, раз-
варивая съ Пьеромъ наканунѣ Бородинской битвы, безпрестанно
поминаетъ объ отцѣ, убитомъ вѣстью о нашествіи. Чувства, подоб-
ыя чувствамъ князя Андрея, спасли тогда Россію. „*Французы разо-
или мой домъ*,“ говоритъ онъ, „и идутъ разорить Москву, оскорбили

и оскорбляютъ меня всякую секунду. Они враги мои, они преступники всѣ, по моимъ понятіямъ“ (т. IV стр. 267).

Послѣ этихъ и подобныхъ рѣчей Пьеръ, какъ сказано у автора, „понялъ весь смыслъ и все значеніе этой войны и предстоящаго сраженія“.

Война была, со стороны Русскихъ, оборонительная и, слѣдовательно, имѣла святой и народный характеръ; тогда какъ, со стороны французовъ, она была наступательная, то есть насильственная и несправедливая. При Бородинѣ всѣ другія отношенія и соображенія сгладились и исчезли; другъ противъ друга стояли два народа — одинъ нападающій, другой защищающійся. Поэтому, тутъ съ величайшей ясностію обнаружилась сила тѣхъ двухъ идей, которыя на этотъ разъ двигали этими народами и поставили ихъ въ такое взаимное положеніе. Французы явились, какъ представители космополитической идеи, способной, во имя общихъ началъ, прибѣгать къ насилію, къ убійствамъ народовъ; Русскіе явились представителями идеи народной, съ любовью охраняющей духъ и строй самобытной, органически сложившейся жизни. Вопросъ о національностяхъ былъ поставленъ въ Бородинскомъ полѣ, и Русскіе рѣшили его здѣсь въ первый разъ въ пользу національностей.

Понятно поэтому, что Наполеонъ не понялъ и никогда не могъ понять того, что совершилось на Бородинскомъ полѣ; понятно, что онъ долженъ былъ быть объятъ недоумѣніемъ и страхомъ при зрѣлищѣ неожиданной и невѣдомой силы, которая возстала противъ него. Такъ какъ дѣло однакоже было, повидимому, очень простое и ясное, то понятно, наконецъ, что авторъ счелъ себя въ правѣ сказать о Наполеонѣ слѣдующее:

„И не на одинъ только этотъ часъ и день были *помрачены умъ и совѣсть* этого человѣка, тяжеле всѣхъ другихъ участниковъ этого дѣла носившаго на себѣ всю тяжесть совершившагося; но и никогда, до конца жизни своей, *не могъ понимать онъ ни добра, ни красоты, ни истины*, ни значенія своихъ поступковъ, которые были слишкомъ противоположны добру и правдѣ, слишкомъ далеки отъ всего человѣческаго для того, чтобы онъ могъ понимать ихъ значеніе. Онъ не могъ отречься отъ своихъ поступковъ, восхваляемыхъ половиной свѣта, и потому долженъ былъ отречься *отъ правды добра, и всего человѣческаго*.“ (Т. IV, стр. 330, 331)

Итакъ, вотъ одинъ изъ окончательныхъ выводовъ: въ Наполеонѣ, въ этомъ героѣ изъ героевъ, авторъ видитъ человѣка, дошедшаго до совершенной утраты истиннаго человѣческаго достоинства,—человѣка, постигнутаго помраченіемъ ума и совѣсти. Доказательство на лицо. Какъ Барклай-де-Толли навсегда уроненъ тѣмъ, что не понялъ положенія Бородинской битвы, какъ Кутузовъ превознесенъ выше всякихъ похвалъ тѣмъ, что совершенно ясно понималъ, что дѣлается во время этой битвы,—такъ Наполеонъ навѣки осужденъ тѣмъ, что не понялъ того святого, простого дѣла, которое мы дѣлали при Бородинѣ и которое понималъ каждый нашъ солдатъ. Въ дѣлѣ, такъ громко вопіявшемъ о своемъ смыслѣ, Наполеонъ не понялъ, что правда была на нашей сторонѣ. Европа хотѣла задушить Россію и въ своей гордости мечтала, что дѣйствуетъ прекрасно и справедливо.

Итакъ въ лицѣ Наполеона художникъ какъ будто хотѣлъ представить намъ душу человѣческую въ ея слѣпотѣ, хотѣлъ показать, что героическая жизнь можетъ противорѣчить истинному человѣческому достоинству, — что добро, правда и красота могутъ быть гораздо доступнѣе людямъ простымъ и малымъ, чѣмъ инымъ великимъ героямъ. Простой человѣкъ, простая жизнь, поставлены поэтомъ выше героизма—и по достоинству и по силѣ, ибо простые русскіе люди съ такими сердцами, какъ у Николая Ростова, у Тимохина и Тушина побѣдили Наполеона и его великую армію.

До сихъ поръ мы говорили такъ, какъ будто авторъ имѣлъ совершенно опредѣленныя цѣли и задачи, — какъ будто онъ хотѣлъ доказывать или разъяснять извѣстныя мысли и отвлеченныя положенія. Но это только приблизительный способъ выраженія. Мы говорили такъ только для ясности, для выпуклости рѣчи; мы умышленно придавали дѣлу грубыя и рѣзкія формы, чтобы онѣ живѣе бросились въ глаза. Въ дѣйствительности же художникъ не руководился такими голыми соображеніями, какія мы ему приписали; творческая сила дѣйствовала шире и глубже, проникала въ самый сокровенный и высокій смыслъ явленій.

Такимъ образомъ, мы могли бы дать еще нѣсколько формулъ цѣли и смысла „Войны и Мира". *Истина* есть сущность каждаго дѣйствительно-художественнаго произведенія, и потому, на какую бы философскую высоту созерцанія жизни мы ни поднялись, мы найдемъ въ „Войнѣ и мирѣ" точки опоры для своего созерцанія. Много было говорено объ *исторической теоріи* гр. Л. Н. Толстого. Несмотря на чрезмѣрность нѣкоторыхъ его выраженій, люди самыхъ различныхъ мнѣній соглашались, что онъ, если не вполнѣ правъ, то *на одинъ шагъ* отъ правды.

Эту теорію можно бы обобщить и сказать, напримѣръ, что не только историческая, но и всякая человѣческая жизнь управляется не умомъ и волею, т. е. не мыслями и желаніями, достигшими ясной сознательной формы, а чѣмъ-то болѣе темнымъ и сильнымъ, такъ называемою *натурою* людей. Источники жизни (какъ отдѣльныхъ лицъ, такъ и цѣлыхъ народовъ) гораздо глубже и могущественнѣе, чѣмъ тотъ сознательный произволъ и сознательное соображеніе, которыми, повидимому, руководятся люди. Подобная *вѣра въ жизнь*,—признаніе за нею бо́льшаго смысла, чѣмъ тотъ, какой способенъ уловить нашъ разумъ, разлита по всему произведенію графа Л. Н. Толстого; и можно бы сказать, что на эту мысль написано все это произведеніе... Приведемъ небольшой примѣръ. Послѣ своей поѣздки въ Отрадное князь Андрей рѣшается ѣхать изъ деревни въ Петербургъ. „Цѣлый рядъ", говоритъ авторъ, „разумныхъ, логическихъ доводовъ, почему ему необходимо ѣхать въ Петербургъ и даже служить, ежеминутно былъ готовъ къ его услугамъ. Онъ даже теперь не понималъ, какъ могъ онъ когда нибудь сомнѣваться въ необходимости принять дѣятельное участіе въ жизни, точно такъ-же, какъ мѣсяцъ тому назадъ онъ не понималъ, какъ могла бы ему прійти мысль уѣхать изъ деревни. Ему казалась ясно, что всѣ его опыты жизни должны были пропасть даромъ и быть безсмыслицей, ежели бы онъ не приложилъ ихъ къ дѣлу и не принялъ опять дѣятельнаго участія въ жизни. Онъ даже

не понималъ того, какъ прежде на основаніи *такихъ же бѣдныхъ разумныхъ доводовъ очевидно было*, что онъ бы унизился, ежели бы теперь, послѣ своихъ уроковъ жизни, опять бы повѣрилъ въ возможность приносить пользу и въ возможность счастья и любви". (Т. III, стр. 10).

Такую же подчиненную роль играетъ разумъ и у всѣхъ другихъ лицъ гр. Л. Н. Толстого. Вездѣ жизнь оказывается шире бѣдныхъ логическихъ соображеній, и поэтъ превосходно показываетъ, какъ она обнаруживаетъ свою силу помимо воли людей. Наполеонъ стремится къ тому, что́ должно было погубить его; безпорядокъ, въ которомъ онъ засталъ наше войско и правительство, спасаетъ Россію, потому что завлекаетъ Наполеона къ Москвѣ,—даетъ созрѣть нашему патріотизму,—вызываетъ необходимость назначить Кутузова и вообще измѣнить весь ходъ дѣла. Истинныя, глубокія силы, управляющія событіями, берутъ верхъ надъ всѣми разсчетами.

Итакъ таинственная глубина жизни—вотъ мысль „Войны и мира".

Но съ такимъ же правомъ мы могли бы взять и какое-нибудь другое высокое созерцаніе явленій и приписать его этому произведенію. Можно, напримѣръ, сказать, что высокая точка зрѣнія, на которую подымается авторъ, есть религіозный взглядъ на міръ. Когда князь Андрей,—невѣрующій, какъ и его отецъ,—тяжело и больно испыталъ всѣ превратности жизни и, смертельно раненый, увидѣлъ своего врага Анатоля Курагина, онъ вдругъ почувствовалъ, что ему открывается новый взглядъ на жизнь. „Страданіе, любовь къ братьямъ, къ любящимъ, любовь къ ненавидящимъ насъ, любовь къ врагамъ, да, та любовь, которую проповѣдывалъ Богъ на землѣ, которой меня учила княжна Марья и *которой я не понималъ*; вотъ отчего мнѣ жалко было жизни, вотъ оно то, что еще оставалось мнѣ, ежели бы я былъ живъ". (Т. IV, стр. 329).

И не одному князю Андрею, но и многимъ лицамъ „Войны и Мира" открывается въ различной степени это высокое пониманіе жизни, напр., многострадальной и многолюбящей княжнѣ Марьѣ, Пьеру послѣ измѣны жены, Наташѣ послѣ ея измѣны жениху и пр. Съ удивительною ясностію и силою поэтъ высказываетъ, какъ религіозный взглядъ составляетъ всегдашнее прибѣжище души, измученной жизнью,—единственную точку опоры для мысли, пораженной измѣнчивостію всѣхъ человѣческихъ благъ. Душа, отрекающаяся отъ міра, становится выше міра и обнаруживаетъ новую красоту—всепрощеніе и любовь.

Въ одномъ мѣстѣ авторъ замѣчаетъ въ скобкахъ, что люди ограниченные любятъ говорить: *„въ наше время, въ наше время*, такъ какъ воображаютъ, что они нашли и оцѣнили особенности нашего времени, и думаютъ, что *свойства людей измѣняются со временемъ* (Т. III, стр. 85). Гр. Л Н. Толстой, очевидно, отвергаетъ это грубое заблужденіе, и, на основаніи всего предыдущаго, мы, кажется имѣемъ полное право сказать, что въ „Войнѣ и Мирѣ" онъ повсюду вѣренъ *неизмѣннымъ, вѣчнымъ свойствамъ души человѣческой*. Какъ въ героѣ онъ видитъ человѣческую сторону, такъ въ человѣкѣ извѣстнаго времени, извѣстнаго круга и воспитанія, онъ прежде всего видитъ человѣка,—такъ въ его дѣйствіяхъ, опредѣленныхъ вѣкомъ и обстоятельствами, видитъ неизмѣнные законы человѣческой природы. Отсюда происходитъ, такъ сказать, *общечеловѣческая* занимательность этого удивительнаго произ-

веденія, соединяющаго въ себѣ художественный реализмъ съ художественнымъ идеализмомъ, историческую вѣрность съ общепсихологическою правдою,—явную народную своеобразность съ общечеловѣческою шириною *).

* * *

..... Въ „Люцернѣ", въ одну изъ минутъ *тяжелаго раздумья*, художникъ съ отчаяніемъ спрашивалъ себя: „У кого въ душѣ такъ непоколебимо это *мѣрило добра и зла*, чтобы онъ могъ мѣрить имъ бѣгущіе факты?"

Въ „Войнѣ и Мирѣ" это мѣрило, очевидно, найдено, имѣется въ полномъ обладаніи художника, и онъ съ увѣренностію измѣряетъ имъ всякіе факты, какіе только вздумаетъ взять.

Изъ предыдущаго понятно однакоже, какіе должны быть результаты этого измѣренія. Все фальшивое, блестящее только по внѣшности—безпощадно разоблачается художникомъ. Подъ искусственными, наружно-изящными отношеніями высшаго общества онъ открываетъ намъ цѣлую бездну пустоты, низкихъ страстей и чисто-животныхъ влеченій. Напротивъ, все простое и истинное, въ какихъ бы низменныхъ и грубыхъ формахъ оно не проявлялось, находитъ въ художникѣ глубокое сочувствіе. Какъ ничтожны и пошлы салоны Анны Павловны Шереръ и Эленъ Безухой, и какой поэзіей облеченъ смиренный бытъ *дядюшки!*

Мы не должны забывать, что семейство Ростовыхъ, хотя они и графы, есть простое семейство русскихъ помѣщиковъ, тѣсно связанное съ деревнею, сохраняющее весь строй, всѣ преданія русской жизни и только случайно соприкасающееся съ большимъ свѣтомъ. Большой свѣтъ есть сфера, совершенно отъ нихъ отдѣльная, тлетворная сфера, прикосновеніе которой такъ гибельно дѣйствуетъ на Наташу. По своему обыкновенію авторъ рисуетъ эту сферу по тѣмъ впечатлѣніямъ, которыя испытываетъ отъ нея Наташа. Наташу живо поражаетъ та фальшь, то отсутствіе всякой естественности, которое господствуетъ въ нарядѣ Эленъ, въ пѣніи итальянцевъ, въ танцахъ Дюпора, въ декламаціи m-elle George; но вмѣстѣ съ тѣмъ пылкую дѣвушку невольно увлекаетъ эта атмосфера искусственной жизни, въ которой ложь и аффектація составляютъ блестящій покровъ всякихъ страстей, всякой жажды наслажденій. Въ большомъ свѣтѣ мы неминуемо наталкиваемся на французское, на итальянское искусство; идеалы французской и итальянской страстности, столь чуждые русской натурѣ, дѣйствуютъ на нее въ этомъ случаѣ развращающимъ образомъ.

Другое семейство, къ хроникѣ котораго принадлежитъ то, что разсказывается въ „Войнѣ и Мирѣ", семейство Болконскихъ точно также не принадлежитъ къ большому свѣту. Скорѣе можно сказать, что оно *выше* этого свѣта, но во всякомъ случаѣ оно внѣ его. Припомните княжну Марью, неимѣющую никакого подобія свѣтской дѣвушки; припомните враждебное отношеніе старика и его сына къ маленькой княгинѣ Лизѣ, самой очаровательной свѣтской женщинѣ.

*) „Заря" 1869, № 1.

Итакъ, несмотря на то, что одно семейство—графское, а другое—княжеское, „Война и Миръ“ не имѣютъ и тѣни великосвѣтскаго характера. „Великосвѣткость“ нѣкогда очень соблазняла нашу литературу и породила въ ней цѣлый рядъ фальшивыхъ произведеній. Лермонтовъ не успѣлъ освободиться отъ этого увлеченія, которое Ап. Григорьевъ называлъ „болѣзнью моральнаго лакейства“. Въ „Войнѣ и Мирѣ“ русское искусство явилось совершенно свободнымъ отъ всякаго признака этой болѣзни; эта свобода имѣетъ тѣмъ большую силу, что здѣсь искусство захватило тѣ самыя сферы, гдѣ повидимому господствуетъ большой свѣтъ.

Семья Ростовыхъ и семья Болконскихъ по ихъ внутренней жизни, по отношеніямъ ихъ членовъ,—суть такія же русскія семьи, какъ и всякія другія. Для лицъ той и другой семьи семейныя отношенія имѣютъ существенную, господствующую важность. Вспомните Печорина, Онѣгина; у этихъ героевъ нѣтъ семьи, или по крайней мѣрѣ семья не играетъ въ ихъ жизни никакой роли. Они заняты и поглощены своею личною, индивидуальною жизнью. Сама Татьяна, оставаясь вполнѣ вѣрною семейной жизни, не измѣняя ей ни въ чемъ, нѣсколько чуждается ея:

Она въ семьѣ своей родной
Казалась дѣвочкой чужой.

Но какъ только Пушкинъ сталъ изображать простую русскую жизнь, напр. въ „Капитанской дочкѣ“, семья тотчасъ взяла всѣ свои права. Гриневы и Мироновы являются на сцену, какъ два семейства, какъ люди, живущіе въ тѣсныхъ семейныхъ отношеніяхъ. Но нигдѣ съ такою яркостію и силою не выступала русская семейная жизнь, какъ въ „Войнѣ и Мирѣ“. Юноши, какъ Николай Ростовъ, Андрей Болконскій, живутъ и своей особой, личной жизнью, честолюбіемъ, кутежомъ, любовью и пр.; они часто и надолго отрываются отъ дома своею службою и занятіями; но домъ, отецъ, семья—составляетъ для нихъ святыню и поглощаетъ лучшую половину ихъ думъ и чувствъ. Что касается до женщинъ, княжны Марьи, Наташи, онѣ вполнѣ погружены въ сферу семейства. Описаніе счастливой семейной жизни Ростовыхъ и несчастной—Болконскихъ, со всѣмъ разнообразіемъ отношеній и случаевъ, составляетъ существеннѣйшую и классически-превосходную сторону „Войны и Мира“.

Позволимъ себѣ сдѣлать еще одно сближеніе.

Въ „Капитанской дочкѣ“, какъ и въ „Войнѣ и Мирѣ“, изображено столкновеніе частной жизни съ государственной. Оба художника очевидно чувствовали желаніе подсмотрѣть и показать то отношеніе, въ которомъ русскій человѣкъ находится къ своей государственной жизни. Не въ правѣ-ли мы отсюда заключить, что къ числу существеннѣйшихъ элементовъ нашей жизни принадлежитъ двоякая связь: связь съ семействомъ и связь съ государствомъ?

Итакъ, вотъ какая жизнь изображена въ „Войнѣ и Мирѣ“,—не личная эгоистическая жизнь, не исторія индивидуальныхъ стремленій и страданій; изображена жизнь общинная, связанная во всѣхъ направленіяхъ живыми узами. Въ этой чертѣ намъ, кажется, обнаруживается истинно-русскій, истинно-самобытный характеръ произведенія гр. Л. Н. Толстого.

А что же страсти? Какую роль играютъ личности, характеры въ „Войнѣ и Мирѣ“?

Понятно, что страстямъ здѣсь не можетъ ни въ какомъ случаѣ принадлежать первенствующее мѣсто, и что личные характеры не будутъ выдаваться изъ общей картины огромностію своихъ размѣровъ.

Страсти не имѣютъ въ „Войнѣ и Мирѣ“ ничего блестящаго, картиннаго. Возьмемъ для примѣра любовь. Это—или простая чувственность, какъ у Пьера въ отношеніи къ женѣ, какъ у самой Эленъ къ ея обожателямъ; или наоборотъ, это—совершенно спокойная, глубокочеловѣчественная привязанность, какъ у Софьи къ Николаю, или какъ постепенно возникающія отношенія между Пьеромъ и Наташею. Страсть, въ чистомъ своемъ видѣ, является только между Наташею и Курагинымъ; и тутъ она—со стороны Наташи представляетъ какое-то безумное опьяненіе, и только со стороны Курагина оказывается тѣмъ, что называется passion у французовъ, понятіе не русское, но, какъ извѣстно, сильно привившееся къ нашему обществу. Припомните, какъ Курагинъ восхищается своею богинею, какъ онъ, съ „пріемами знатока, разбираетъ передъ Долоховымъ достоинство ея рукъ, плечъ, ногъ и волосъ“ (т. III стр. 236). Не такъ чувствуетъ и выражается истинно-любящій Пьеръ; „она обворожительна“, говоритъ онъ о Наташѣ, „а отчего, я не знаю: вотъ все, что можно про нее сказать“ (тамъ же, стр. 203).

Точно такъ и всѣ другія страсти, все то, въ чемъ раскрывается отдѣльная личность человѣка, злоба, честолюбіе, мщеніе,—все это или проявляется въ видѣ мгновенныхъ вспышекъ, или переходитъ въ постоянныя, но уже болѣе спокойныя отношенія. Вспомните отношенія Пьера къ его женѣ, къ Друбецкому и пр.

Вообще „Война и Миръ“ не возводитъ страстей въ идеалъ; надъ этой хроникой очевидно господствуетъ *вѣра въ семью* и столь же очевидно *невѣріе въ страсти*, т. е. невѣріе въ ихъ продолжительность и прочность,—убѣжденіе, что какъ бы сильны и прекрасны не были эти личныя стремленія, они со временемъ поблекнутъ и исчезнутъ.

Что касается до характеровъ, то совершенно ясно, что сердцу художника остались по прежнему неизмѣнно милы типы простые и смирные—отраженіе одного изъ любимѣйшихъ идеаловъ нашего народнаго духа. Благодушные и смиренные герои, Тимохинъ, Тушинъ, благодушные и простые люди, княжна Марья, графъ Илья Ростовъ,—обрисованы съ тѣмъ пониманіемъ, съ тою глубокою симпатіею, которая намъ знакома изъ прежнихъ произведеній гр. Л. Н. Толстого. Но всякій, кто слѣдилъ за прежнею дѣятельностію художника, не можетъ быть не пораженъ тою смѣлостію и свободою, съ которою гр. Л. Н. Толстой сталъ изображать и типы сильные, страстные. Въ „Войнѣ и Мирѣ“ художникъ—какъ будто въ первый разъ—овладѣлъ тайною сильныхъ чувствъ и характеровъ, къ которымъ прежде всегда относился съ такою недовѣрчивостію. Болконскіе—отецъ и сынъ уже никакъ не принадлежатъ къ смирному типу. Наташа представляетъ очаровательное воспроизведеніе страстнаго женскаго типа, въ одно время сильнаго, пылкаго и нѣжнаго.

Свою нелюбовь къ хищному типу художникъ впрочемъ заявилъ въ изображеніи цѣлаго ряда такихъ лицъ, какъ Эленъ, Анатоль, До-

лоховъ, ямщикъ Балага и пр. Все это натуры по преимуществу хищныя; художникъ сдѣлалъ изъ нихъ представителей зла и разврата, отъ котораго страдаютъ главныя лица его семейной хроники.

Но самый интересный, самый оригинальный и мастерской типъ, созданный гр. Л. Н. Толстымъ, есть лицо Пьера Безухаго. Это очевидно сочетаніе обоихъ типовъ смирнаго и страстнаго, чисто русская натура, одинаково исполненная добродушія и силы. Мягкій, застѣнчивый, дѣтски-простодушный и добрый, Пьеръ, по временамъ, обнаруживаетъ въ себѣ (какъ говоритъ авторъ) натуру своего отца. Кстати— этотъ отецъ, богачъ и красавецъ Екатерининскаго времени, который въ „Войнѣ и Мирѣ" является только умирающимъ и не прозноситъ ни одного слова, — составляетъ одну изъ поразительнѣйшихъ картинъ „Войны и Мира". Это вполнѣ—умирающій левъ, до послѣдняго издыханія поражающій могуществомъ и красотою. Натура этого-то льва порой и отзывается въ Пьерѣ. Вспомните, какъ онъ трясетъ за шиворотъ Анатоля, этого буяна, главу повѣсъ, дѣлавшихъ шутки, которыя *обыкновенному человѣку давно бы заслужили Сибирь* (т. III, стр. 259).

Каковы бы, впрочемъ, ни были сильные русскіе типы, изображенные гр. Л. Н. Толстымъ, все-таки очевидно, что въ совокупности этихъ лицъ мало блестящаго, дѣятельнаго, и что сила тогдашней Россіи гораздо болѣе опиралась на стойкость смирнаго типа, чѣмъ на дѣйствія сильнаго. Самъ Кутузовъ—величайшая сила, изображенная въ „Войнѣ и Мирѣ", - не имѣетъ въ себѣ блестящихъ сторонъ. Это—медленный старикъ, главная мощь котораго обнаруживается въ той легкости и свободѣ, съ которою онъ носитъ на себѣ тяжелое бремя своей опытности. *Терпѣніе и время* его лозунгъ (т. IV, стр. 221).

Самыя двѣ битвы, въ которыхъ съ наибольшей ясностью показаны размѣры, какихъ можетъ достигать сила русскихъ душъ,—Шенграбенское дѣло и Бородинская битва,—имѣютъ, очевидно, характеръ оборонительный, а не наступательный. По мнѣнію князя Андрея, успѣхомъ при Шенграбенѣ мы обязаны болѣе всего *геройской стойкости капитана Тушина* (т. I. ч. I, стр. 132). Сущность же бородинской битвы заключалась въ томъ, что атакующая армія Французовъ была поражена ужасомъ передъ врагомъ, который, потерявъ *половину* войска, *стоялъ также грозно* въ концѣ, какъ и въ началѣ сраженія (т. IV, стр. 337). Итакъ, здѣсь повторилось давнишнее замѣчаніе историковъ, что Русскіе не сильны въ нападеніи, но что въ *оборонѣ* имъ нѣтъ равныхъ на свѣтѣ.

Мы видимъ, слѣдовательно, что все геройство Русскихъ сводится на силу типа и самоотверженнаго и безтрепетнаго, но вмѣстѣ смирнаго и простого. Типъ же истинно блестящій, исполненный дѣятельной силы, страстности, хищности—очевидно представляютъ и по сущности дѣла должны представлять — Французы со своимъ предводителемъ Наполеономъ. По дѣятельной силѣ и блеску, Русскіе ни въ какомъ случаѣ не могли поравняться съ этимъ типомъ, и, какъ мы уже замѣтили, весь разсказъ „Войны и Мира" изображаетъ столкновеніе этихъ двухъ столь различныхъ типовъ и побѣду типа простого надъ типомъ блестящимъ.

Такъ какъ мы знаемъ коренное, глубокое нерасположеніе нашего художника къ блестящему типу, то здѣсь именно намъ слѣдуетъ искать

пристрастнаго, неправильнаго изображенія; хотя, съ другой стороны, пристрастіе, имѣющее столь глубокіе источники, можетъ повести къ безцѣннымъ откровеніямъ,—можетъ достигнуть правды, незамѣчаемой равнодушными и холодными глазами. Въ Наполеонѣ художникъ какъ-будто прямо хотѣлъ разоблачить, развѣнчать блестящій типъ,—развѣнчать его въ величайшемъ его представителѣ. Авторъ положительно относится враждебно къ Наполеону, какъ будто вполнѣ раздѣляя чувства, которыя въ ту минуту питала къ нему Россія и русская армія. Сравните то, какъ держатъ себя на бородинскомъ полѣ Кутузовъ и Наполеонъ. Какая чисто русская простота у одного, и сколько аффектаціи, ломанья, фальши у другого!

При такого рода изображеніи, нами овладѣваетъ невольное недовѣріе. Наполеонъ у гр. Л. Н. Толстого не довольно умепъ, глубокъ и даже не довольно страшенъ. Художникъ схватилъ въ немъ все то, что такъ противно русской натурѣ, такъ возмущаетъ ея простые инстинкты; но нужно думать, что эти черты въ своемъ, то-есть французскомъ мірѣ, не представляютъ той неестественности и рѣзкости, какую въ нихъ видятъ русскіе глаза. Должно быть въ томъ мірѣ была своя красота, свое величіе.

И однакоже, такъ какъ это величіе уступило величію русскаго духа, — такъ какъ на Наполеонѣ лежалъ грѣхъ насилія и угнетенія, такъ какъ доблесть Французовъ была дѣйствительно помрачена сіяніемъ русской доблести,—то нельзя не видѣть, что художникъ былъ правъ, набрасывая тѣнь на блестящій типъ Императора, нельзя не сочувствовать чистотѣ и правильности тѣхъ инстинктовъ, которыми онъ руководился. Изображеніе Наполеона все-таки изумительно вѣрно, хотя мы и не можемъ сказать, чтобы внутренняя жизнь его и его арміи была захвачена въ такой глубинѣ и полнотѣ, въ какой намъ въ очію представлена тогдашняя русская жизнь.

Таковы нѣкоторыя черты *частной* характеристики „Войны и Мира“. Изъ нихъ надѣемся будетъ ясно, по крайней мѣрѣ, сколько чисто-русскаго ума и чисто-русскаго сердца положено въ это произведеніе. Еще разъ каждый можетъ убѣдиться, что настоящія дѣйствительныя созданія искусства глубочайшимъ образомъ связаны съ жизнью, душою, всею натурою художника; они составляютъ исповѣдь и воплощеніе его душевной исторіи. Какъ созданіе вполнѣ живое, вполнѣ искреннее, проникнутое лучшими и задушевнѣйшими стремленіями нашего народнаго характера, „Война и Миръ“ есть произведеніе несравненное, составляетъ одинъ изъ величайшихъ и своеобразнѣйшихъ памятниковъ нашего искусства. Значеніе этого произведенія въ нашей художественной литературѣ—мы выразимъ словами Ап. Григорьева, которыя были сказаны имъ десять лѣтъ тому назадъ и ничѣмъ такъ блистательно не подтверждены, какъ появленіемъ „Войны и Мира“:

Кто не видитъ могучихъ произрастаній типового, коренного, народнаго—того природа обдѣлила зрѣніемъ и вообще чутьемъ *).

Н. Страховъ.

---

*) „Заря“ 1869, № 2.

2.

Недавно замолкшіе въ нашей печати толки о новомъ художественномъ произведеніи гр. Л. Н. Толстого опять возобновились съ появленіемъ его пятаго тома. Каждая газета, каждый листокъ, считаетъ своею обязанностью, если не критически отозваться, то хоть къ чему-нибудь придраться, что-нибудь по своему похвалить или въ свою пользу скомпилировать. Такъ какъ всѣ эти толки, служащіе болѣе или менѣе выраженіемъ общественнаго мнѣнія, не могутъ быть игнорируемы, то мы и начнемъ свою критическую замѣтку съ этой возникающей у насъ, такъ сказать, оцѣнки знаменитаго романа. Большинство критическихъ и политическихъ отзывовъ, высказанныхъ по поводу этого произведенія, сводятся къ тому: что гр. Л. Н. Толстой какъ художникъ безукоризненъ, но какъ мыслитель будто-бы плохъ. Это противорѣчіе между его художественными и мыслительными способностями многіе стараются видѣть почти во всякой главѣ: отдавая полную справедливость его таланту, они, въ то же время, дѣлаютъ ему самые ядовитые упреки и за высокомѣрный взглядъ на историческихъ или міровыхъ дѣятелей и за слишкомъ большое пристрастіе къ единичной и семейной жизни массъ. Всѣ эти такъ часто повторяемые отзывы намъ кажутся, однако, положительно несправедливыми. Мѣстами, и особенно въ V томѣ, авторъ, конечно, увлекается подробнѣйшимъ изложеніемъ своего художественнаго міросозерцанія: но созерцаніе это у него въ полнѣйшемъ согласіи съ его изображеніями жизни; оно, такъ сказать, выросло изъ нихъ, и оттого идея романа почти не отдѣлена отъ его страницъ. Но общество обыкновенно знать не хочетъ этого свойства художественныхъ произведеній: ему всегда нужно нѣчто осязаемое, непосредственно приложимое изъ работы беллетриста, какъ бы тамъ ни велики были ея поэтическія достоинства. Попробуемъ же, слѣдуя этому требованію времени, извлечь главную идею произведенія гр. Л. Н. Толстого, на сколько она представляется со стороны.

Идея эта, вольно или невольно пробивающаяся сквозь длинную вереницу художественныхъ изображеній гр. Л. Н. Толстого, заключается въ низведеніи войны на степень явленій случайныхъ, хаотическихъ, а потому и не могущихъ считаться неизбѣжностью въ историческомъ движеніи. Великая, но къ несчастью еще невыполнимая мечта о всеобщемъ разоруженіи, перетревожившая столько умовъ, начиная съ генерала Гарибальди до послѣдняго публициста, отозвалась, вѣроятно и на авторѣ „Войны и Мира". Только при этомъ предположеніи дѣлается понятнымъ, почему онъ съ такою настойчивостію низводитъ съ высокихъ пьедесталовъ Наполеона и другихъ полководцевъ и съ такимъ безпощаднымъ скептицизмомъ относится къ воинственному жару и военному патріотизму. Въ одномъ мѣстѣ онъ проговаривается даже, что не вѣритъ „ни въ военную науку, ни въ военный геній". Мысль эта, высказанная еще въ первый разъ въ нашей литературѣ, возбудила одинаково сильныя возраженія, какъ со стороны людей, для которыхъ военное дѣло — ремесло, такъ и со стороны называющихъ себя друзьями мира. Ни многозначительный политическій фактъ, свер-

шившійся у насъ на глазахъ по поводу разрывныхъ пуль, ни безумно-колоссальный прогрессъ, который замѣчается въ вооруженіи западной Европы, ничто не могло отрезвить пылкіе умы, возмущенные взглядами гр. Л. Н. Толстого на войну. Всѣ начали твердить, что топчетъ значеніе личности; между тѣмъ какъ онъ, указывая на фаталическій, роковой характеръ тѣхъ историческихъ явленій, которыя зависятъ отъ сраженій, собственно не унижаетъ личности, а только какъ-бы предостерегаетъ, чтобы эти живыя личности не отдавались хаосу рокового случайнаго разрѣшенія. Изъ его романа дѣлается яснымъ, что ни въ какомъ, конечно, другомъ дѣлѣ человѣкъ не подвергаетъ себя такому риску, какъ въ военномъ; и это не въ отношеніи только того, что онъ, воюя, ставитъ на карту свою жизнь, капиталъ и плоды трудовъ, но и въ отношеніи ближайшей цѣли войны. Цѣль эта (объ отдаленныхъ цѣляхъ мы не говоримъ)—произведеніе безпорядка, разрушенія, хаоса или, какъ прекрасно выразился гр. Толстой, распаденіе условій жизни. Въ войнѣ все перевертывается верхъ дномъ. Когда французы, послѣ бородинской битвы, вступили въ Москву, то городъ уподобился, по превосходному выраженію автора, обезматочившему улью, въ которомъ все стало разлагаться. Какъ промышленность и трудъ есть стремленіе къ созиданію, такъ и война въ непосредственномъ ближайшемъ ея значеніи, есть стремленіе къ разрушенію. Стремленіе же къ разрушенію, хаосу, не подчиняется никакимъ законамъ, кромѣ химическихъ, роковыхъ. До тѣхъ поръ, конечно, пока сраженіе не началось, всѣ матеріалы битвы располагаются, обыкновенно, по законамъ тактики, фортификаціи, артиллеріи и другихъ наукъ, пытающихся подчинить себѣ дѣло разрушенія; но какъ только столкнулись 2 стороны, равновѣсіе теряется, условія перепутываются и борющіяся стороны отдаются на жертву случая. Вслѣдствіе ежеминутнаго присутствія смерти человѣкъ впадаетъ въ такое возбужденное состояніе, что малѣйшая случайность вліяетъ на вѣрность прицѣла, силу размаха, общее настроеніе сражающихся и отсюда на судьбу сраженій и за этимъ участь народовъ. Хотя отъ силы случайности, силы неуловимыхъ обстоятельствъ, человѣкъ и не избѣгаетъ совсѣмъ въ другихъ своихъ дѣлахъ, напр. въ желѣзно-дорожномъ дѣлѣ случаются совершенно непредвидимыя столкновенія и соскакиванія съ рельсовъ. Но все-таки человѣкъ тутъ неизмѣримо большій господинъ, чѣмъ въ дѣлѣ войны; и это опять оттого, что война есть собственно не дѣло, а разрушеніе, и противъ ея золъ никто застраховать себя не можетъ, особенно когда, благодаря артиллерійскимъ усовершенствованіямъ, война такъ тѣсно переплелась съ промышленными и финансовыми условіями и получилась возможность иногда въ одинъ часъ уничтожить плоды многолѣтнихъ трудовъ и сбереженій.

Многіе удивляются, какъ можетъ гр. Толстой съ такимъ безпощаднымъ анализомъ касаться до славы героевъ; но это при его взглядахъ на исторію вещь понятная, что человѣкъ, очутившійся въ центрѣ арміи, очень скоро дѣлается идоломъ,—явленіе вполнѣ естественное; массы находятся въ такомъ напряженномъ восторженно-колеблющемся состояніи, что въ этомъ идолослуженіи, энтузіазмѣ къ полководцу сосредоточивается ихъ сила. Но полководецъ чрезъ это все-таки не дѣлается полновластнымъ господиномъ своихъ поступковъ. „Главнокомандующій—говоритъ авторъ—всегда въ срединѣ движущагося ряда собы-

тій, въ центрѣ сложнѣйшей игры, интригъ, заботъ, зависимости, власти, проектовъ, совѣтовъ, угрозъ, обмановъ и т. д.". Особенно рельефно изображено у автора значеніе интриги, этой страшной силы, обладающей свойствомъ останавливать какъ самые вредные замыслы такъ и самыя желаемыя и благія намѣренія. „До тѣхъ поръ, пока историческое море спокойно, администратору въ своей утлой лодочкѣ, упирающемуся на корабль народа и самому двигающемуся, должно казаться, что его усиліями двигается и корабль. Но стоитъ подняться бурѣ, взволноваться морю и двинуться кораблю, и тогда заблужденіе невозможно. Корабль идетъ своимъ громаднымъ, независимымъ ходомъ; шестъ не достаетъ до двинувшагося корабля"... Такъ старается изобразить авторъ роковую силу различныхъ жизненныхъ условій и безчисленныхъ внѣшнихъ обстоятельствъ, вліяющихъ на ходъ исторіи, на перекоръ личностямъ, носящимся надъ моремъ житейскимъ. И такъ какъ человѣкъ нигдѣ такъ не насилуетъ судьбы, какъ въ войнѣ, то и неудивительно, что графъ Толстой своимъ художественнымъ чутьемъ дошелъ до убѣжденія, что война есть распаденіе условій жизни, а миръ—сохраненіе этихъ условій и источникъ жизненной гармоніи. Вполнѣ опредѣлительно эта мысль нигдѣ не высказывается, но она сквозитъ сквозь каждую страницу; подъ вліяніемъ этой грандіозной и вмѣстѣ простой мысли написано, кажется, и заглавіе художественнаго произведенія. Создавая его, авторъ какъ-бы говоритъ читателю: вотъ вамъ картины войны, а вотъ вамъ картины мира. Выбирайте, что лучше; картины мира у него, конечно, еще не дорисованы такъ, какъ картины войны: онъ ихъ едва-ли не оставляетъ на конецъ своего произведенія, когда военная гроза, имъ теперь изображаемая, разразится и наступитъ дѣйствительно миръ. Но симпатіи автора, очевидно, клонятся къ мирнымъ силамъ и мирнымъ явленіямъ жизни. Даже его Ростовъ, этотъ истый любитель военнаго искусства, и тотъ, разсказываетъ авторъ, почувствовалъ наслажденіе, когда послѣ нѣсколькихъ мѣсяцевъ, проведенныхъ въ военной атмосферѣ, очутился внѣ солдатъ, фуръ, госпиталей, провіанта и слѣдовъ боеваго лагеря, и увидѣлъ деревни, помѣщичьи дома, поля съ пасущимся скотомъ, станціонные дома, съ заснувшими смотрителями, здоровыхъ мужчинъ, красивыхъ женщинъ,— словомъ, жизнь увидѣлъ, а не разрушеніе. Пьеръ Безухій, ходившій, какъ диллетантъ, въ самый пылъ бородинскаго боя, и тотъ, когда увидѣлъ вдругъ сквозь сонъ бумъ, бумъ выстрѣловъ, стоны, крики, лопанье снарядовъ, запахъ крови и пороха, то почувствовалъ ужасъ и страхъ смерти и обрадовался, какъ ребенокъ, когда до его слуха донесся разговоръ дворника, гоготанье птицъ и учуялъ запахъ сѣна, навоза, дегтя; словомъ, убѣдился, что онъ не на полѣ смерти, а въ жиломъ постояломъ дворѣ. Болѣе реальнымъ образомъ невозможно изобразить мирныхъ инстинктовъ и влеченій. И эта мирная, обыденная будничная жизнь не только не заслоняется въ произведеніи гр. Толстого грандіозными событіями, но даже выглядываетъ какъ-то заманчивѣе; она виднѣется читателю сквозь всѣ перепитіи все болѣе разгорающейся народной войны, въ видѣ какихъ-то обольстительныхъ картинъ, прячущихся далеко за рядомъ крутыхъ горъ и возвышеній. Отрывочныя изображенія мира нарисованы у автора не только съ одинаковою яркостію и выпуклостію въ сравненіи съ картинами войны,

но имъ даже приданъ нѣкоторый историческій характеръ. Доселѣ мы видѣли, что вводныя побочныя лица въ историческихъ романахъ обыкновенно не принимали существеннаго участія въ тѣхъ событіяхъ, которыя передавались художниками по лѣтописямъ. Побочныя лица давали только романисту возможность изображать предполагаемый духъ вѣка, нравы и обычаи: въ самыя историческія событія романисты ихъ не впутывали, считая эти событія дѣломъ только избранныхъ личностей. Такъ дѣлалъ Вальтеръ Скоттъ, такъ сочиняли и другіе историческіе романисты. Но не такъ рѣшился поступить авторъ „Войны и мира". Люди, обыкновенные люди, не принимавшіе, если вѣрить лѣтописямъ, никакого дѣятельнаго участія въ ходѣ исторіи, оказываются у него тѣснѣйшимъ образомъ связанными съ самыми крупными событіями, вслѣдствіе непрерывности всѣхъ звеньевъ жизни. Привязанность къ своему имуществу, напр., заставляетъ семейство Ростовыхъ увозить свои пожитки изъ Москвы передъ входомъ въ нее Наполеона, но сила сочувствія перевѣшиваетъ это влеченіе: стотысячные пожитки сброшены и на подводахъ помѣщаются раненые—принесена значитъ жертва, совершенъ подвигъ. Такъ переплетаются у автора всѣ героическія и обыкновенныя событія жизни; при этомъ нерѣдко героическія низводятся на степень самыхъ обыденныхъ явленій, а обыденныя возводятся на степень героическихъ. Рядъ историческихъ и жизненныхъ картинъ у него поставленъ въ такомъ изумительномъ равенствѣ, какому еще и примѣра не было въ литературахъ. Дерзость его при совлеченіи съ высоты пьедестала разныхъ героевъ тоже по истинѣ изумительна. Наприм., великаго Наполеона, надъ памятью котораго витало столько поэтическихъ умовъ, начиная съ Гейне и кончая Пушкинымъ, онъ изображаетъ ничѣмъ инымъ какъ воплощеніемъ идеала французскаго сержанта, стремящагося изумить миръ дерзостію и порисоваться великодушіемъ, полюбоваться изъ любви къ искусству храбростію враговъ и въ то же время насильно навязать имъ свою цивилизацію, такъ что между императоромъ Наполеономъ, торжественно ждущимъ ключей отъ Москвы и неподражаемымъ капитаномъ Рамболемъ, разсказывающимъ, какъ они брали Вѣну, Берлинъ, Неаполь, Римъ, оказывается у гр. Толстого очень небольшое нравственное различіе. Замѣчательно, что этотъ духъ французской бравуарности, бывшей причиной столькихъ громкихъ и совершенно безплодныхъ историческихъ событій, до сихъ поръ еще отражается во французскихъ пѣсенкахъ и частію во французской литературѣ.

Какую-же форму избралъ гр. Л. Н. Толстой для разрѣшенія этихъ чрезвычайно сложныхъ художественныхъ задачъ? А форму чрезвычайно простую и вмѣстѣ оригинальную. Авторъ не разсказываетъ о событіяхъ и происшествіяхъ, а какъ-бы рисуетъ и живописуетъ ихъ передъ глазами читателя. На крупный историческій фактъ у него смотритъ всегда кто-нибудь изъ самыхъ обыкновенныхъ смертныхъ и по впечатлѣніямъ этого простого смертнаго уже составляется художественный матеріалъ и оболочка событія. Шенграбенское дѣло описано по впечатлѣніямъ князя Андрея, пріѣздъ Александра въ Москву отражается въ волненіяхъ Пети, на военный совѣтъ предъ оставленіемъ Москвы смотритъ невинное личико ребенка Малаши и т. д. Такимъ образомъ, подъ перомъ автора является безконечная вереница другъ

за друга цѣпляющихся изображеній, а въ цѣломъ какая-то картина—романъ, форма, совершенно новая и столь же соотвѣтствующая обыкновенному ходу жизни, сколько и безграничная, какъ сама жизнь.

Но что же значитъ это безстрастіе въ изображеніяхъ, о которомъ такъ твердятъ читавшіе „Войну и Миръ"? Это не холодное, апатичное отношеніе автора къ жизни, но сильно сдерживаемое чувствомъ мѣры и вкуса влеченіе къ ней.

Жизнь графъ Л. Н. Толстой до того любитъ, что у него съ одинаковою прелестью и поэзіею нарисована Наташа, торжествующая, что ей удалось, наконецъ, запереть сундукъ, и старикъ Кутузовъ, плачущій при вѣсти, что Наполеонъ оставилъ Москву. Все фальшивое, утрированное, являющееся въ чертахъ и образахъ искривленныхъ будто бы сильными страстями, словомъ все, что такъ прельщаетъ посредственные таланты—все это противно гр. Л. Н. Толстому. Сильныя страсти, глубокое душевное движеніе у него, напротивъ, являются обведенными такими тонкими очертаніями и нѣжными штрихами, что невольно подивишься, какъ такія, до крайности, простыя орудія слова производятъ такой поразительный эффектъ. Присматриваясь, однако-жъ, къ тѣмъ, съ перваго взгляда спокойнымъ, но при болѣе глубокомъ разсмотрѣніи оживающимъ внутреннею жизнію, школамъ Рафаэля и Мурильо, мы начинаемъ разумѣть, какимъ образомъ художники, поэты неуловимыми движеніями мысли и чувства обнаруживаютъ глубочайшія тайники души.

Наташа въ своемъ безутѣшномъ горѣ передъ смертію Андрея потрясаетъ читателя не громкими рыданіями или ломаніемъ рукъ, къ чему бы прибѣгнули у насъ другіе романисты, а какимъ-то полумертвеннымъ спокойствіемъ, заставляющимъ страшиться за ея жизнь. Также просто и безъэфектно выражается героизмъ Багратіона, Кутузова, Тушина. Типовъ у него собственно нѣтъ—въ этомъ его слабость, но въ этомъ его и сила.

Изображая характеръ, онъ, какъ настоящій реалистъ-художникъ, не дѣлаетъ какого-нибудь собирательнаго отвлеченія изъ множества однородныхъ наблюдаемыхъ имъ лицъ, а просто дѣлаетъ снимокъ съ одного человѣка, но при томъ такъ глубоко заглядываетъ ему въ душу, что отыскиваетъ не только типовыя, но и обще-человѣческія черты. Рисуя, напримѣръ, плѣннаго солдатика Каратаева, онъ въ немъ не замѣчаетъ никакой озлобленности къ врагамъ и этимъ реальнѣйшимъ образомъ показываетъ одинъ изъ недосягаемѣйшихъ принциповъ нравственности, вполнѣ усвоенный самымъ простѣйшимъ изъ смертныхъ. Фигуры князя Андрея и Пьера Безухова, не смотря на ихъ осязаемость, тоже мало типичны, но ихъ стремленіе вырваться изъ свѣтскихъ слоевъ жизни и послѣ роскошной, полной удобствъ, обстановки, испытать трудовую и истинно-геройскую жизнь, есть черта, такъ сказать, историческая, особенно для памятной всѣмъ эпохи 1812 года, когда на Руси въ первый разъ было еще сознано единство всѣхъ сословій, единство всего народа. Мысль изобразить чистѣйшихъ кровныхъ аристократовъ въ роли простыхъ работниковъ и совлечь мишуру невѣдѣнія всего своего русскаго—мысль по истинѣ геніальная, и намѣреніе показать, что мирная семейная или одинокая жизнь есть

идеалъ гражданской, политической и всякой другой добродѣтели — есть такое намѣреніе, которому и цѣны нѣтъ. Намѣреніе это, однакоже, не доведено у него до конца, такъ какъ Миръ у него еще не одержалъ окончательной побѣды надъ Войной. *)

Н. С—въ.

3.

Авторъ *Войны и Мира*, приступая къ своему роману, имѣлъ въ виду, какъ кажется, написать яркую картину людей и событій начала нынѣшняго вѣка, что̀ онъ и исполнилъ съ успѣхомъ, имѣющимъ мало подобныхъ въ нашей литературѣ; послѣдній романъ графа Толстого есть, безъ сомнѣнія, одинъ изъ самыхъ яркихъ алмазовъ въ своемъ родѣ, и первые три его тома встрѣчены были почти всеобщимъ и почти безусловнымъ одобреніемъ. Но въ промежуткѣ между выходомъ этихъ трехъ первыхъ томовъ и четвертаго, графа Толстого посѣтила мысль исправить взглядъ своихъ современниковъ не только на описываемое имъ время, но и на исторію вообще. Для этого онъ перевилъ свой разсказъ дидактическою нитью и сообщилъ IV и V-му томамъ своего романа особое освѣщеніе, тенденціозность особаго рода. Не довольствуясь этимъ, написалъ свою profession de foi въ *Русскомъ Архивѣ*. Воззрѣнія его вызвали многочисленные протесты: протестовали люди двѣнадцатаго года, оскорбленные тѣмъ, что авторъ какъ-будто унижаетъ славу отечественной войны, протестовали военные, находящіе что авторъ слишкомъ мало знакомъ съ военными науками чтобы критиковать Наполеона и Кутузова, — словомъ, протестовъ посыпалось множество. Въ отдѣльности, каждый изъ этихъ протестовъ не имѣетъ большаго значенія въ нашихъ глазахъ: что̀ за бѣда въ самомъ дѣлѣ, что романистъ не знаетъ стратегіи! Что же касается до того будто онъ отрицаетъ славу Двѣнадцатаго года и унижаетъ заслуги русскаго войска, то съ этимъ мы не можемъ согласиться; намъ кажется, что графъ Толстой *ко всему* относится отрицательно, все старается сокрушить. Онъ отрицаетъ и Наполеона, и Кутузова, историческихъ дѣятелей и человѣческія массы, личный произволъ и значеніе историческихъ событій. Можетъ-быть и не подозрѣвая того, онъ вноситъ въ исторію полнѣйшій нигилизмъ. **)

Графъ Толстой не любитъ историческихъ дѣятелей, *такъ-называемыхъ* великихъ людей: онъ объявляетъ, что таково глубокое его убѣжденіе; этому нельзя не повѣрить, потому что въ его глазахъ ни одинъ изъ нихъ не лучше другого; съ полнымъ безпристрастіемъ онъ поочередно кладетъ ихъ подъ ноги другъ другу: говоря о Кутузовѣ или Барклаѣ, онъ обязываетъ читателя признать ихъ пигмеями предъ Наполеономъ, котораго въ свою очередь заставляетъ считать шарлатаномъ въ сравненіи съ русскими полководцами. Изъ всѣхъ русскихъ генераловъ 1812 года онъ относится съ нѣкоторымъ сочувствіемъ, за исключеніемъ Кутузова (котораго хвалитъ по-своему), только къ Дохтурову и Коновницину, и то потому лишь что они „тихенькіе и скром-

*) „Сѣверная Пчела“ 1869 г., № 12 (23 марта).

**) Далѣе г. Щебальскій, изложивъ взглядъ Л. Н. Толстого на историческія событія, опровергаетъ теорію о „суммѣ людскихъ произволовъ“.

ные“, и что о нихъ (будто бы) военные историки умалчиваютъ... Но если между видными дѣятелями въ глазахъ нашего автора заслуживаютъ пощады лишь „тихенькіе и скромные“, да тѣ которые „спокойно созерцаютъ событія“,—кто же совершаетъ ихъ, эти событія? Вы думаете,—солдаты, оберъ, офицеры рѣшаютъ сраженіе? Оно иногда кажется какъ будто и такъ; по крайней мѣрѣ авторъ, хоть и не отъ своего имени, но съ жаромъ высказываетъ эту мысль (IV, 264), утверждаетъ что французскіе солдаты пришли на берега Колочи „по собственному желанію“ (Ibid 282), и пр. и пр. Но съ другой стороны, мы не можемъ припомнить ни одной черты во всемъ романѣ графа Толстого, гдѣ солдатъ или оберъ-офицеръ дѣйствовали бы сознательно. Мы уже видѣли, что отъ французскихъ сержантовъ зависѣло сдѣлать, чтобы не было войны 1812 года, но они вступили однакожъ на вторичную службу и вступили непроизвольно; а вотъ русскій командиръ эскадрона кидается въ атаку, „потому что онъ не могъ удержаться отъ желанія проскакаться по ровному полю“ (зачѣмъ бы ему въ такомъ случаѣ не *проскакаться* къ сторонѣ резервовъ?)... И также точно продолжаетъ нашъ авторъ, „дѣйствовали всѣ тѣ неперечислимыя лица, участники этой войны“ (IV, 125). Дѣйствительно, авторъ пуще всего опасается, чтобы не подумали, будто въ Россіи хоть на волосокъ образъ жизни и заботы людей измѣнились въ 1812 году сравнительно съ предшествующими и послѣдующими годами (V, 188), или чтобы не составилось какъ-нибудь предположеніе, будто во время отступленія арміи отъ границы наши офицеры могли о чемъ-нибудь заботиться кромѣ ежедневныхъ потребностей и въ чемъ-нибудь измѣнить обычному настроенію духа (V, 68). Но въ такомъ случаѣ, скажите же намъ ради Бога, кѣмъ, чѣмъ рѣшаются событія, называемыя нами важными, великими, міровыми?... „Цари суть рабы исторіи“, но и сержанты, и эскадронные командиры то же самое: кто же рѣшаетъ ихъ, эти міровыя событія? Да полно, и есть ли такія событія, потому что, какъ уже было замѣчено, и Наполеонъ, и Кутузовъ съ Барклаемъ дѣлали постоянно діаметрально противоположное тому, что слѣдовало бы дѣлать, и слѣдовательно въ сущности все равно кѣмъ бы ни было выиграно Бородинское сраженіе, и чья бы армія ни погибла между Москвою и Ковномъ, все равно давались-ли бы битвы, гибли-ль бы арміи, Наполеоны, или „послѣдніе фурштатскіе солдаты“ командовали арміями; мудрецы или идіоты были бы министрами, рѣзались ли бы, или обнимались люди... Все равно, все равно! Станемъ, какъ „старый человѣкъ“, только „созерцать событія“, для людскаго произвола, для человѣческаго достоинства остается еще широкое поприще: каждый изъ насъ воленъ поднять или опустить руку, писать или не писать, читать или не читать... Такова теорія нигилизма въ исторіи *).

П. Щебальскій.

---

*) „Нигилизмъ въ исторіи“, Русскій Вѣстникъ 1869 г., № 4.

КРИТИКА НАЧАЛА СЕМИДЕСЯТЫХЪ ГОДОВЪ.

1870.

.....Итакъ, какой же смыслъ „Войны и Мира“?

Всего яснѣе, намъ кажется, этотъ смыслъ выражается въ тѣхъ овахъ автора, которыя мы постановили эпиграфомъ: „Нѣтъ величія“, воритъ онъ, „тамъ, гдѣ нѣтъ *простоты*, *добра* и *правды*“.

Задача художника состояла въ томъ, чтобы изобразить истинное личіе, какъ онъ его понимаетъ, и противопоставить его ложному ве-чію, которое онъ отвергаетъ. Эта задача выразилась не только въ отивопоставленіи Кутузова и Наполеона, а во всѣхъ малѣйшихъ под-бностяхъ борьбы, вынесенной цѣлою Россіею, въ образѣ чувствъ и слей каждаго солдата, во всемъ нравственномъ мірѣ русскихъ людей, всемъ ихъ бытѣ, во всѣхъ явленіяхъ ихъ жизни, въ ихъ манерѣ бить, страдать, умирать. Художникъ изобразилъ со всею ясностію, чемъ русскіе люди полагаютъ человѣческое достоинство, въ чемъ тъ идеалъ величія, который присутствуетъ даже въ слабыхъ душахъ не оставляетъ сильныхъ даже въ минуты ихъ заблужденій и всякихъ авственныхъ паденій. Идеалъ этотъ состоитъ, по формулѣ данной мимъ авторомъ, въ простотѣ, добрѣ и правдѣ. Простота, добро и авда побѣдили въ 1812 году силу, несоблюдавшую простоты, исполнную зла и фальши. Вотъ смыслъ „Войны и Мира“.

Другими словами—художникъ далъ намъ новую, русскую формулу *оической жизни*, ту формулу, подъ которую подходитъ Кутузовъ и дъ которую никакъ не можетъ подойти Наполеонъ. О Кутузовѣ авръ прямо говоритъ: „*Простая*, *скромная* и потому *истинно величе-вственная* фигура эта не могла улечься въ ту лживую форму европей-аго героя, мнимо управляющаго людьми, которую придумала исторія“. . VI, стр. 88). Но то же самое слѣдуетъ разумѣть обо всѣхъ рус-ихъ людяхъ, обо всѣхъ фигурахъ, выведенныхъ въ „Войнѣ и Мирѣ“. ъ чувства, мысли и желанія, насколько въ нихъ есть героическаго, сколько въ нихъ проявляется стремленіе къ героическому и пониманіе оическаго, не укладываются въ тѣ чужія и лживыя формы, которыя

созданы Европою. Весь русскій душевный строй *проще*, *скромнѣе*, представляетъ ту гармонію, то равновѣсіе силъ, которыя однѣ согласны съ истиннымъ величіемъ и нарушеніе которыхъ мы ясно чувствуемъ въ величіи другихъ народовъ. Обыкновенно насъ плѣняютъ и долго еще будутъ плѣнять блескъ и мощь тѣхъ формъ жизни, которыя создаются силами, не соблюдающими гармоніи, вышедшими изъ взаимнаго равновѣсія. Этихъ яркихъ формъ всякаго рода страстей, всякаго рода душевныхъ напряженій, разростающихся до ослѣпляющаго величія, — много создала Европа, много создалъ древній міръ. Мы, младшій изъ великихъ народовъ, невольно увлекаемся этими формами чуждой жизни; но въ глубинѣ души у насъ хранится другой, своеобразный идеалъ, въ сравненіи съ которымъ часто меркнутъ и являются безобразіемъ воплощенія въ дѣйствительности и въ искусствѣ идеаловъ, несогласныхъ съ нашимъ душевнымъ строемъ.

Чисто-русскій героизмъ, чисто-русское героическое во всевозможныхъ сферахъ жизни, - вотъ что далъ намъ гр. Л. Н. Толстой, вотъ главный предметъ „Войны и Мира". Если мы оглянемся на нашу прошлую литературу, то намъ будетъ яснѣе, какую огромную заслугу оказалъ намъ художникъ, и въ чемъ состоитъ эта заслуга.

Основатель нашей самобытной литературы, Пушкинъ, одинъ только въ своей великой душѣ носилъ сочувствіе всѣмъ родамъ и видамъ величія, всѣмъ формамъ героизма, почему и могъ онъ постигнуть и русскій идеалъ, почему и могъ стать основателемъ русской литературы. Но въ его дивной поэзіи этотъ идеалъ проступалъ только чертами, только указаніями, безошибочными и ясными, но не полными и не развитыми.

Явился Гоголь и не совладалъ съ безмѣрною задачею. Раздался плачъ по идеалѣ, полились „сквозь видимый міру смѣхъ незримыя слезы", свидѣтельствовавшія, что художникъ не хочетъ отказаться отъ идеала, но и не можетъ достигнуть его воплощенія. Гоголь сталъ отрицать эту жизнь, которая такъ упорно не выдавала ему своихъ положительныхъ сторонъ. „Нѣтъ у насъ героическаго въ жизни; мы всѣ или Хлестаковы или Поприщины"—вотъ заключеніе, къ которому пришелъ несчастный идеалистъ.

Задача всей литературы послѣ Гоголя состояла только въ томъ, чтобы отыскать русскій героизмъ, сгладить то отрицательное отношеніе, въ которое сталъ къ жизни Гоголь, уразумѣть русскую дѣйствительность болѣе правильнымъ, болѣе широкимъ образомъ, чтобы не могъ отъ насъ укрыться тотъ идеалъ, безъ котораго народъ также не могъ бы существовать, какъ тѣло безъ души. Для этого требовалась тяжкая и долгая работа, и ее-то сознательно и безсознательно несли и совершали всѣ наши художники.

Но первый разрѣшилъ задачу гр. Л. Н. Толстой. Онъ первый одолѣлъ всѣ трудности, выносилъ и побѣдилъ въ своей душѣ процессъ отрицанія, и, освободившись отъ него, сталъ творить образы, воплощающіе въ себѣ положительныя стороны русской жизни. Онъ первый показалъ намъ въ неслыханной красотѣ то, что ясно видѣла и понимала только безъупречно — гармоническая, всему великому доступная, душа Пушкина. Въ „Войнѣ и Мирѣ" мы опять нашли свое героическое, и теперь его уже никто отъ насъ не отниметъ.

Попробуемъ частнѣе и опредѣленнѣе указать, что сдѣлано гр. Л. Н. Толстымъ. Не вся задача рѣшена, не вся широкая область русской души исчерпана гр. Л. Н. Толстымъ, но та половина задачи, которая въ настоящую минуту была всего настоятельнѣе и важнѣе, получила въ „Войнѣ и Мирѣ“ рѣшеніе, по своей силѣ и ясности не уступающее никакому другому созданію поэзіи, принадлежащее къ высшимъ ея проявленіямъ, какія только существуютъ и будутъ существовать.

Не весь русскій идеалъ воплотился у гр. Л. Н. Толстого, но съ неотразимою силою и прелестію у него раздался „голосъ за простое и доброе, поднявшійся въ душахъ нашихъ противъ ложнаго и хищнаго“. Этотъ голосъ въ первый разъ послышался у Пушкина, а смыслъ его въ первый разъ понятъ и засвидѣтельствованъ Ап. Григорьевымъ, употребившимъ приведенное нами въ кавычкахъ выраженіе. (См. Русск. Сл. 1859 года, № 4). Замѣчательно то буквальное сходство, которое оказывается въ формулѣ Григорьева и въ опредѣленіи гр. Л. Н. Толстымъ истиннаго величія. Это величіе должно совмѣщать *простоту*, *добро* и *правду*, т. е. быть чуждо всего *ложнаго*.

Голосъ за простое и доброе противъ ложнаго и хищнаго — вотъ существенный, главнѣйшій смыслъ „Войны и Мира“. Это тотъ прекрасный и своеобразный элементъ нашей литературы, который былъ открытъ въ ней и прослѣженъ съ великою чуткостію Ап. Григорьевымъ. Но критикъ, столь вѣрно понимавшій глубочайшія струны нашей поэзіи, едва ли предвидѣлъ и ожидалъ, что этотъ голосъ послѣ его смерти раздастся несравненно сильнѣе, чѣмъ онъ когда-либо его слышалъ, что могучій звукъ этого прекраснаго голоса нѣкогда покроетъ весь гамъ нашей литературы и примкнетъ по своей несравненной чистотѣ и силѣ къ дивнымъ звукамъ Пушкинской поэзіи.

Особенный смыслъ этого голоса -- вотъ что намъ слѣдуетъ опредѣлить. Если мы для этого прослѣдимъ всѣ лица и событія „Войны и Мира“, то мы ясно увидимъ, что симпатіи автора имѣютъ нѣкоторую односторонность, выкупаемую тѣмъ бо́льшею проницательностію и глубиною относительно той стороны, въ которую обращены эти симпатіи. Существуетъ на свѣтѣ какъ будто два рода героизма: одинъ—дѣятельный, тревожный, порывающійся, другой — страдательный, спокойный, терпѣливый. Ап. Григорьевъ замѣтилъ въ нашей литературѣ появленіе лицъ, представляющихъ въ своей натурѣ это различіе, и называлъ ихъ двумя различными типами, *хищнымъ* и *смирнымъ*. Гр. Л. Н. Толстой, очевидно, съ величайшимъ сочувствіемъ относится къ страдательному или смирному героизму, и — очевидно же — мало питаетъ сочувствія къ героизму дѣятельному или хищному. Въ пятомъ и шестомъ томѣ эта разница въ симпатіи выступила еще рѣзче, чѣмъ въ первыхъ томахъ. Къ категоріи дѣятельнаго героизма относятся не только французы вообще и Наполеонъ въ особенности, но и множество русскихъ лицъ, напр. Растопчинъ, Ермоловъ, Милорадовичъ, Долоховъ и проч. Къ категоріи смирнаго героизма принадлежитъ прежде всего — самъ Кутузовъ, величайшій образецъ этого типа,—Тушинъ, Тимохинъ, Дохтуровъ, Коновницынъ, и пр. и пр.; вообще вся масса нашихъ военныхъ и вся масса русскаго народа. Весь разсказъ „Войны и Мира“ какъ будто имѣетъ цѣлью доказать превосходство смирнаго героизма надъ героизмомъ дѣятельнымъ, который повсюду оказывается не только

безсильнымъ, но и вреднымъ. Самая ясная и живая фигура, въ которой гр. Л. Н. Толстой съ удивительной силою очертилъ типъ людей, думающихъ быть дѣятельными героями, есть Растопчинъ. Мы слышали, что это лицо угадано авторомъ совершенно вѣрно, самыя подробныя и многолѣтнія историческія изысканія только подтверждаютъ поэтическую проницательность гр. Л. Н. Толстого. Передъ величіемъ совершающихся событій, люди, подобные Растопчину, являются ничтожными и жалкими, не потому, чтобы это были личности очень слабыя сами по себѣ, а потому, что они порываются вмѣшаться въ ходъ событій, неизмѣримо превышающихъ собою размѣры ихъ силъ. Въ этомъ преувеличеніи своего значенія, въ этомъ нелѣпомъ и дерзкомъ самообольщеніи, у автора оказываются виновными не только отдѣльныя лица, но цѣлые народы, напримѣръ французы, приведшіе на насъ Европу, и цѣлыя сферы въ самой Россіи, напримѣръ придворная сфера, сфера военныхъ штабовъ и т. д. Авторъ показываетъ, какъ повсюду — увѣренность въ своей силѣ, признаніе за своею личностію способности измѣнять и направлять событія ведетъ только къ ошибкамъ и неизбѣжно соединяется съ игрою самыхъ дурныхъ страстей, самолюбія, тщеславія, зависти, ненависти и проч.

Такимъ образомъ, по смыслу всего разсказа, у хищнаго типа отнято всякое поприще дѣйствія. Между тѣмъ, вообще говоря, невозможно отрицать, чтобы люди рѣшительные, смѣлые—не имѣли никакой важности въ ходѣ дѣлъ, чтобы русскій народъ не порождалъ людей, дающихъ просторъ своимъ личнымъ взглядамъ и силамъ. Совершенно справедливо, что при такомъ развитіи личности она большею частію отличается весьма непривлекательными чертами; но несомнѣнно также, что въ этихъ людяхъ проявляются и прекрасныя свойства русской душевной силы.

Итакъ есть сторона русскаго характера, которая не вполнѣ схвачена и изображена авторомъ. Нужно ждать еще художника, который бы съумѣлъ такъ отнестись къ этой сторонѣ, какъ наприм. Пушкинъ относился къ Петру I:

Ужасенъ онъ въ окрестной мглѣ!
Какая дума на челѣ,
Какая сила въ немъ сокрыта!
А въ семъ конѣ какой огонь!
Куда ты скачешь гордый конь
И гдѣ опустишь ты копыта?
О, мощный властелинъ судьбы!
Не такъ ли ты надъ самой бездной,
На высотѣ, уздой желѣзной
Россію поднялъ на дыбы? (*Мѣдный Всадникъ*).

Но пока нѣтъ у насъ чистыхъ и ясныхъ образовъ дѣятельнаго героизма, пока этотъ героизмъ не нашелъ себѣ своего поэта — выразителя, мы должны смиренно преклониться передъ поэтомъ, прославившимъ и воплотившимъ передъ нами героизмъ смиренія. Мы только можемъ гадать и смутно прозрѣвать черты иного величія, также свойственнаго русской натурѣ, а то величіе, которое изображено гр. Л. Н. Толстымъ, мы уже видимъ во очію, въ ясномъ воплощеніи.

И въ существенномъ пунктѣ мы не можемъ не согласиться съ поэтомъ, т. е. мы вполнѣ признаемъ превосходство смирнаго героизма надъ героизмомъ дѣятельнымъ. Гр. Л. Н. Толстой изобразилъ намъ если не самыя сильныя, то во всякомъ случаѣ самыя лучшія стороны русскаго характера, тѣ его стороны, которымъ принадлежитъ и должно принадлежать верховное значеніе. Какъ нельзя отрицать, что Россія побѣдила Наполеона не дѣятельнымъ, а смирнымъ героизмомъ, такъ вообще нельзя отрицать, что *простота, добро* и *правда* составляютъ высшій идеалъ русскаго народа, которому долженъ подчиняться идеалъ сильныхъ страстей и исключительно сильныхъ личностей. Мы сильны *всѣмъ народомъ,* сильны тою силою, которая живетъ въ самыхъ простыхъ и смирныхъ личностяхъ, — вотъ что хотѣлъ сказать гр. Л. Н. Толстой, и онъ совершенно правъ. Прибавимъ, что мы должны бы были преклониться передъ лучшими чертами нашего народнаго идеала и въ томъ случаѣ, если бы намъ не было доказано, что простота, добро и правда могутъ побѣдить всякую ложную, злую и неправую силу. Если вопросъ идетъ о силѣ, то онъ рѣшается тѣмъ, на какой сторонѣ побѣда; но простота, добро и правда намъ милы и дороги сами по себѣ, все равно, побѣдятъ они, или нѣтъ.

Всѣ сцены частной жизни и частныхъ отношеній, выведенныя гр. Л. Н. Толстымъ, имѣютъ одну и ту же цѣль, — показать, какъ страдаетъ и радуется, любитъ и умираетъ, ведетъ свою семейную и личную жизнь тотъ народъ, высшій идеалъ котораго заключается въ простотѣ, добрѣ и правдѣ. Разница, столь ясно изображенная между Кутузовымъ и Наполеономъ, та же самая разница существуетъ между Пьеромъ и капитаномъ Рамбалемъ, толкующими о своихъ любовныхъ приключеніяхъ, между Бурьенкой и княжной Марьей, и т. д. Тотъ же народный духъ, который проявился въ Бородинской битвѣ, проявляется и въ предсмертныхъ думахъ князя Андрея, и въ душевномъ процессѣ Пьера, и въ разговорахъ Наташи съ матерью, и въ складѣ вновь образовавшихся семействъ, словомъ во всѣхъ душевныхъ движеніяхъ частныхъ лицъ „Войны и Мира“.

Вездѣ и повсюду или господствуетъ духъ простоты, добра и правды, или является борьба этого духа съ указаніями людей на иной путь, и рано или поздно — его побѣда. Въ первый разъ мы увидѣли несравненную прелесть чисто-русскаго идеала, смиреннаго, простаго, безконечно-нѣжнаго и въ то же время незыблемо-твердаго и самотверженнаго. Огромная картина гр. Л. Н. Толстого есть достойное изображеніе русскаго народа. Это дѣйствительно неслыханное явленіе, — эпопея въ современныхъ формахъ искусства *).

Н. Страховъ.

---

*) „Заря“ 1870, № 1-й. См. также книгу г. Н. Страхова: „Критическія статьи объ И. С. Тургеневѣ и Л. Н. Толстомъ“, гдѣ собрано все написанное критикомъ для повременныхъ изданій о нашемъ знаменитомъ писателѣ. Лучшая часть книги—обширный разборъ „Войны и мира“.

1872.

.....Въ судьбѣ гр. Л. Н. Толстого есть много общаго съ судьбою Гоголя. Дѣятельность Гоголя, какъ всѣмъ извѣстно, имѣетъ два періода: въ первый періодъ онъ писалъ свои произведенія, не задаваясь никакими особенными замыслами: повинуясь своему непосредственному творчеству, онъ воспроизводилъ жизнь такъ, какъ она представлялась его художественному наблюденію, и несмотря на такую повидимому безцѣльность творчества, каждое произведеніе его этого періода исполнено глубокаго и важнаго содержанія, что зависѣло ни отъ чего иного, какъ отъ громадной силы индуктивныхъ способностей Гоголя, умѣвшаго быстро схватывать общія и существенныя явленія жизни. Въ концѣ этого періода онъ началъ писать „Мертвыя Души", имѣя первоначально въ виду опять-таки ничего болѣе, какъ нѣсколько картинъ изъ нравовъ русскаго захолустья.—Но вотъ наступилъ для Гоголя періодъ аскетизма; сообразно новому психическому настроенію, Гоголю недостаточно уже показалось прежняго непосредственнаго творчества.

Онъ началъ стремиться къ тому, чтобы каждый его шагъ въ жизни былъ исполненъ высшихъ цѣлей, стремился къ осуществленію тѣхъ аскетическихъ идеаловъ, которые онъ себѣ поставилъ; сообразно этому онъ сталъ задавать себѣ вопросы: къ чему я пишу? какая цѣль всего этого осмѣянія пошлости? Вся его литературная дѣятельность показалась ему безцѣльною, и онъ началъ ее искусственно направлять къ своимъ идеаламъ.—Мы знаемъ, какъ это отразилось на „Мертвыхъ Душахъ". Въ первой части Мертвыхъ Душъ мы видимъ того же Гоголя, какой извѣстенъ намъ по Миргороду, Арабескамъ, Ревизору, но чѣмъ далѣе подвигаемся мы въ чтеніи второй части, тѣмъ болѣе Гоголь-художникъ превращается передъ нами въ Гоголя-аскета, являются божественные помѣщики и божественные откупщики, очевидно, взятые не изъ жизни, а отвлеченно задуманные въ высшихъ соображеніяхъ; начинаются аскетическія разсужденія и, надо полагать, что если бы Гоголю удалось кончить Мертвыя Души, въ третьей части не было бы уже и слѣда чего-либо художественнаго, какихъ-либо характеровъ, сценъ, а былъ бы рядъ поученій въ духѣ „Переписки съ друзьями."

Совершенно то же самое представляетъ р. Л. Толстой въ своей литературной дѣятельности.—Всѣ произведенія его до „Войны и Мира" являются передъ нами плодомъ непосредственнаго творчества и соотвѣтствуютъ вполнѣ первому періоду литературной дѣятельности Гоголя. Богатство ихъ содержанія въ свою очередь зависитъ отъ массы художественныхъ наблюденій гр. Толстого и силы его индуктивныхъ способностей, при помощи которыхъ онъ усвоилъ эту массу и вывелъ изъ нея нѣсколько существенныхъ обобщеній жизни.

Далѣе слѣдуетъ произведеніе гр. Л. Толстого „Война и Миръ", которое по обширности замысла играетъ такую же роль относительно

предыдущихъ произведеній гр. Л. Толстого, какую играютъ „Мертвыя Души“ въ ряду прочихъ произведеній Гоголя. Отъ мелкихъ очерковъ, частныхъ эпизодовъ жизни, гр. Толстой приступаетъ къ обширной эпопеѣ, имѣющей цѣлію представить цѣлую историческую эпоху во всемъ разнообразіи ея жизни.

И опять-таки подобно Гоголю, гр. Толстой въ первой половинѣ своего произведенія (въ первыхъ 3-хъ томахъ) является передъ нами тѣмъ же гр. Толстымъ, какимъ мы его знали прежде. — Повидимому, онъ не имѣетъ въ виду ничего иного, какъ только представить галлерею картинъ изъ жизни великосвѣтскаго общества начала нынѣшняго столѣтія. — Съ этой стороны романъ не только представляется безукоризненнымъ, но его можно по истинѣ назвать явленіемъ небывалымъ еще въ нашей литературѣ, однимъ изъ замѣчательнѣйшихъ памятниковъ ея. Въ самомъ дѣлѣ, въ литературѣ нашей вы найдете множество романовъ, повѣстей, драмъ и комедій и даже поэмъ изъ великосвѣтской жизни, — но вы не найдете такого полнаго, обстоятельнаго, рельефнаго изображенія этой жизни, какое представляется вамъ въ „Войнѣ и Мирѣ.“ Здѣсь вы видите рядъ существенныхъ типовъ великосвѣтской среды, исчерпывающихъ все ея содержаніе. По истинѣ такіе характеры какъ семейство Болконскихъ, Курагиныхъ, Ростовыхъ, Пьеръ Безухій, Долоховъ, Билибинъ и проч., и проч. — представляютъ типы нисколько не менѣе существенные въ своемъ родѣ различныхъ типовъ „Мертвыхъ Душъ“ и могутъ служить для той среды, представителями которой являются они, такими же родовыми названіями, кличками, какъ Фамусовъ, Репетиловъ, Чичиковъ, Ноздревъ и пр. Типы эти изслѣдованы во всѣхъ основныхъ пружинахъ своей жизни и въ самыхъ мельчайшихъ психическихъ движеніяхъ. У насъ нѣтъ ни времени, ни мѣста заняться подробнымъ анализомъ этихъ типовъ. Замѣтимъ только, что всѣхъ ихъ можно подраздѣлить на четыре разряда. Одни изъ нихъ, каковы Курагины, Долоховъ представляютъ послѣднюю и крайнюю степень нравственнаго растлѣнія, доходящую до отсутствія въ нихъ всего человѣческаго не только по отношенію къ людямъ иныхъ слоевъ общества, но и къ стоящимъ на одной съ ними высотѣ; это Римляне послѣдняго періода имперіи, люди, приближаться къ которымъ положительно опасно, потому что въ случаѣ надобности они не только готовы унизить ваше человѣческое достоинство, лишить васъ чести, пустить васъ по міру въ одной рубашкѣ, но даже и отправить васъ на тотъ свѣтъ. При этомъ нужно замѣтить, что самые страшные изъ этихъ плотоядныхъ звѣрей суть такіе, которые при всѣхъ своихъ чудовищныхъ свойствахъ сохраняютъ извѣстную долю сдержанности, такта, изворотливости,— которые постоянно себѣ на умѣ и умѣютъ надѣвать на себя личины различныхъ добродѣтелей, каковъ, напримѣръ, князь Курагинъ; не менѣе ужасенъ и Долоховъ съ своею отчаянною дерзостью, стальными нервами и обаяніемъ недюжинныхъ силъ, сидѣвшихъ въ этомъ человѣкѣ. Въ лицѣ Долохова гр. Толстой окончательно развѣнчиваетъ и ставитъ на свое мѣсто тотъ демоническій типъ, который въ 30-е и 40-е годы былъ столь любезенъ нашей художественной литературѣ, что она, и до сихъ поръ, не можетъ вспомнить о немъ безъ нѣкотораго томнаго вздоха. Долоховъ—это почти тотъ же Печоринъ,— но вмѣсто удивленія возбуждающій подъ правдивымъ перомъ гр. Тол-

стого одно омерзеніе.—Большаго снисхожденія заслуживаютъ типы въ родѣ Анатоля Курагина и сестры его Елены Безухой,—въ томъ отношеніи, что животные инстинкты до такой уже степени заглушаютъ въ нихъ и разсудокъ и волю, что по бо́льшей части герои эти сами дѣлаются жертвами своего разврата.

Ко второй категоріи принадлежатъ карьеристы въ родѣ Бориса Друбецкаго, Берга — выслуживающіе и наживающіеся. Вѣчно приглаженные и припомаженные, умѣренные въ своихъ страстяхъ и привычкахъ, сдержанные и почтительные, они имѣютъ видъ порядочныхъ людей, но въ сущности въ нихъ не болѣе человѣчности, чѣмъ и въ людяхъ первой категоріи. Они не сдѣлаютъ вамъ безъ нужды зла, — но и только, но не ждите отъ нихъ добра, помощи, участія: сухи и холодны они ко всему, въ чемъ не видятъ своего личнаго блага. Ихъ дружба и любовь — опредѣляются различными служебными видами, и какъ бы вы глубоко ни были привязаны къ одному изъ такихъ господъ, если только можно быть къ нимъ привязаннымъ, будьте увѣрены, что выжавши изъ васъ весь нужный для нихъ сокъ, они васъ бросятъ какъ тряпку, едва только потеряютъ въ васъ надобность. Такъ Борисъ прекратилъ дружбу съ Ростовымъ, которымъ былъ облагодѣтельствованъ, какъ только всталъ на свои ноги. Въ своихъ служебныхъ и другихъ узко свекорыстныхъ разсчетахъ, они не любятъ бывать въ обществѣ людей, не только стоящихъ ниже ихъ, но равныхъ, и предпочитаютъ забираться въ высшія сферы, гдѣ низкопоклонничая и услужливая, мало-по-малу втираются въ довѣріе, затѣмъ незамѣтно становятся на ровную ногу и лѣзутъ еще выше.

Къ третьей категоріи относятся Ростовы. Это люди, у которыхъ вы найдете много человѣческаго: они способны безкорыстно любить и увлекаться, способны подчасъ на какой-нибудь высокій порывъ подъ вліяніемъ минуты, но вмѣстѣ съ тѣмъ, вы видите въ нихъ полное отсутствіе всякой цѣли въ жизни, какого-нибудь серьезнаго дѣла, малѣйшаго анализа жизни и людей. Это какія-то взрослыя дѣти съ безмятежными дѣтскими вѣрованіями и воззрѣніями на міръ, слѣпо отдающіяся настоящей минутѣ, вѣчно жаждущія широкаго и свѣтлаго веселья, счастія. Если жизнь иногда и угоститъ ихъ какою-нибудь горькою минутою, стоитъ погладить ихъ по головкѣ и поднесть имъ новую игрушку и они мигомъ забываются, утѣшаются и опять довольны и веселы; если вдругъ подвернутся обстоятельства, которыя нарушаютъ неприкосновенность ихъ дѣтскихъ воззрѣній, они слѣпо гонятъ отъ себя прочь сомнѣнія и считаютъ какимъ-то преступленіемъ допускать въ себѣ малѣйшую самостоятельность мысли. Такъ когда имѣніе ихъ отъ слишкомъ широкой жизни разстроивается, они спѣшатъ выписать изъ полка сына своего Николушку, воображая, что онъ какимъ-то небеснымъ чудомъ выручитъ изъ бѣды. Николушка пріѣзжаетъ; ничего не понимая въ счетахъ и разсчетахъ по имѣнію, набрасывается на управляющаго Митеньку, осыпавъ его градомъ ругательствъ, сбрасываетъ его съ лѣстницы, и все семейство сразу успокоивается послѣ такой сцены, какъ будто отъ одного этого имѣніе должно поправиться, и затѣмъ снова начинается рядъ веселыхъ праздниковъ и охотъ. Такъ впечатлительная Наташа, почитавшая своимъ долгомъ влюбляться въ каждаго встрѣчнаго мужчину, вдругъ вздумала послѣ помолвки своей съ кня-

земъ Андреемъ бѣжать съ Анатолемъ Курагинымъ. Послѣ скандала, какой вышелъ изъ этого, и отказа жениха, она впала въ отчаяніе, была близка къ смерти, но стоило Пьеру Безухому радушно улыбнуться ей и сказать нѣсколько словъ участія, и она снова разцвѣла, и всего прежняго какъ ни бывало. Такъ Николай Ростовъ послѣ тильзитскаго мира, несправедливости, которой подвергся другъ его Денисовъ, ужасающаго зрѣлища госпиталей раненыхъ, вдругъ исполнился неожиданныхъ сомнѣній, готовыхъ поколебать весь его экстазъ, которымъ онъ проникался на различныхъ смотрахъ и парадахъ; но онъ ударивъ злобно по столу кулакомъ, вскричалъ товарищу, который выражалъ подобныя же сомнѣнія:

— Наше дѣло исполнять свой долгъ, рубиться и не думать, вотъ и все. И сомнѣній его какъ ни бывало.

Къ четвертой категоріи относятся люди, развившіе въ себѣ высшія умственныя и нравственныя стремленія путемъ чтенія и размышленій. Они постоянно спрашиваютъ себя: зачѣмъ мы живемъ, ищутъ цѣли жизни, стараются анализировать и опредѣлять различныя явленія, окружающія ихъ, отношенія свои къ другимъ людямъ. Таковы князья Болконскіе—отецъ, дочь Марія и сынъ Андрей, Пьеръ Безухій. Но такъ какъ они продолжаютъ стоять въ тѣхъ же ненормальныхъ условіяхъ жизни, то цѣли, которыя они себѣ ставятъ, не естественно выходятъ изъ ихъ жизни и натуры, а искусственно придумываются, чтобы хоть чѣмъ-нибудь наполнить пустоту жизни, и какъ такія цѣли ни прекрасны бываютъ въ теоріи, осуществленныя или обращаются въ ничто, или вмѣсто добра приносятъ неожиданное зло тѣмъ людямъ, къ которымъ относятся. Однимъ словомъ, здѣсь мы встрѣчаемся съ тою же нехлюдовщиною.....

* * *

....Тремя первыми частями исчерпывается, по нашему мнѣнію, романъ во всемъ, что только есть въ немъ лучшаго. Не отрицаю, что въ слѣдующихъ частяхъ есть въ немъ множество прекрасныхъ сценъ и картинъ, стоящихъ вполнѣ въ уровнѣ таланта гр. Толстого, но со второю половиною романа случилась исторія, во многомъ напоминающая собою исторію съ Мертвыми Душами Гоголя. Чѣмъ далѣе читаете вы романъ, тѣмъ болѣе и болѣе непосредственно правдивое художественное творчество автора смѣняется передъ вами—странною неестественностью, надуманностію. Безпристрастное отношеніе къ изображаемымъ предметамъ смѣняется односторонними, пристрастными взглядами на нихъ съ точки зрѣнія ложныхъ теорій; художественныя сцены и картины все болѣе и болѣе смѣняются длинными отвлеченными разсужденіями, причемъ гр. Толстой не замѣчаетъ, какъ одну и ту же канитель, растягивая на десяткахъ страницъ, онъ повторяетъ десятки разъ; наконецъ послѣдняя часть шестого тома представляетъ изъ себя одни сплошныя разсужденія на различныя историко-философскія темы; художникъ исчезаетъ здѣсь совершенно, уступая мѣсто мыслителю.

Такое странное и печальное явленіе можно объяснить себѣ только однимъ способомъ. До созданія „Войны и Мира“ гр. Толстой ограничивался одними наблюденіями конкретныхъ фактовъ жизни, дѣлая изъ нихъ тѣ художественныя обобщенія, которыя онъ и представилъ намъ

въ своихъ произведеніяхъ. При этомъ міросозерцаніе его, основныя философскія убѣжденія оставались, такъ-сказать, нетронутыми, въ той степени развитія, въ какой гр. Толстой оставилъ нѣкогда школьную скамью. Такъ напримѣръ, его историческіе взгляды не шли дальше учебника Смарагдова, гдѣ, какъ извѣстно, всѣ историческіе факты объясняются доброю и злою волею стоящихъ впереди историческихъ дѣятелей и вожаковъ. Задумавши писать историческій романъ, изображающій жизнь цѣлой эпохи и притомъ эпохи, сильной важными историческими событіями, гр. Толстой необходимо приступилъ къ изученію этой эпохи по различнымъ памятникамъ, мемуарамъ, біографіямъ и сочиненіямъ объ этой эпохѣ европейскихъ и русскихъ историковъ. Такое изученіе раздвинуло умственный горизонтъ гр. Толстого, открывши ему новыя области жизни и мысли, о которыхъ до того времени онъ имѣлъ самыя элементарныя, смутныя понятія, не идущія далѣе учебника Смарагдова. Въ головѣ его зароились новыя мысли и начался умственный процессъ, поглотившій всѣ его силы. Путемъ этого процесса гр. Толстой дошелъ до того, что снова открылъ Америку и изобрѣлъ порохъ и книгопечатаніе, иначе сказать, онъ додумался до такихъ историко-философскихъ истинъ, которыя давно уже были открыты до него, но онъ ихъ снова открылъ для самого себя, и вообразилъ при этомъ весьма естественно, и какъ это часто бываетъ, что истины эти должны быть новостію и для всего человѣчества. Такъ напримѣръ, для какого мало-мальски серьёзно образованнаго человѣка можетъ быть въ настоящее время новостью, что историческое событіе зависитъ не отъ одной воли того или другого историческаго лица, а имѣетъ за собою тысячи различныхъ причинъ, совокупность которыхъ и производитъ это событіе? Эта истина давно уже сдѣлалась банальною въ области исторіи и никто, держа ее въ головѣ и принимая въ соображеніе, не станетъ распространяться о ней, подобно тому, какъ не почтетъ нужнымъ писать трактатъ о томъ что воздухъ состоитъ изъ кислорода и азота или что $2+2=4$. Между тѣмъ человѣкъ, впервые додумавшійся до такой идеи послѣ смарагдовскихъ взглядовъ, весьма естественно можетъ проникнуться ею до такого крайняго увлеченія, что будетъ чувствовать потребность проповѣдывать эту идею на всѣхъ перекресткахъ, развивая ее на тысячи ладовъ и подкрѣпляя всевозможными доводами изъ областей философіи, психологіи, исторіи и пр. Увлеченіе всякою новою идеею имѣетъ такой характеръ маніи до тѣхъ поръ, пока человѣкъ не свыкается съ нею и она не дѣлается заурядною идеею его.—Подобное увлеченіе новичка идеею исторической причинности мы видимъ въ гр. Толстомъ. Онъ забываетъ ради нея о своемъ романѣ и о его герояхъ. Мало того, что при каждомъ удобномъ случаѣ онъ возвращается къ ней и на тысячу ладовъ повторяетъ одно и то же, но, какъ я уже говорилъ, послѣднюю часть романа всецѣло посвящаетъ философскимъ разсужденіямъ все на ту же тему, и все для того, чтобы убѣдить насъ, что походъ Наполеона въ Россію зависѣлъ не отъ одной его личной воли, честолюбивыхъ замысловъ, а отъ сцѣпленія цѣлаго ряда причинъ. Когда вы читаете всѣ подобныя разсужденія, вамъ становится съ одной стороны смѣшно за автора, съ такою наивною горячностью посвящающаго васъ въ свое давно открытое открытіе; съ другой стороны—неловко и стыдно за себя, какъ

это и должно быть, если вашъ пріятель вдругъ заподозритъ васъ, что вы земной шаръ считаете плоскостью, и начнетъ съ жаромъ убѣждать васъ, что земля шарообразна.

Въ то же время, какъ и каждый новичокъ идеи, графъ Толстой какъ только опускается отъ своей либеральной идеи къ фактамъ и пытается приложить ее къ нимъ, передъ вами обнаруживается вся неопытность его обращаться съ нею, все неумѣнье обсуждать историческіе факты на ея основаніи. Такъ идея исторической причинности, по самой сущности своей, исключаетъ всякую разумную цѣлесообразность событій. Съ одной стороны подъ совокупностью причинъ она разумѣетъ рядъ факторовъ естественныхъ, изъ которыхъ весьма многіе потому уже не могутъ вызывать событій ради какихъ-либо высшихъ цѣлей, что они лишены всякой сознательности. Съ другой стороны, самое понятіе объ отношеніи слѣдствія къ причинѣ не представляетъ ничего общаго съ понятіемъ объ отношеніи цѣли и намѣренія: слѣдствіе есть только явленіе, неизмѣнно возвышающееся другимъ явленіемъ, а отнюдь не цѣль своей причины. Далѣе затѣмъ, разумная цѣлесообразность событій опровергается и тѣмъ, что въ исторіи мы видимъ на каждомъ шагу такую-же слѣпую инерцію движеній, какъ и въ физическихъ явленіяхъ. Совершается какой-нибудь историческій толчекъ, возбуждающій извѣстное движеніе народовъ, и движеніе это долго идетъ по своему направленію, послѣ того какъ всякій смыслъ его давно уже потерянъ. Такъ между двумя народами иногда возбуждается ненависть вслѣдствіе какихъ-либо основательныхъ причинъ, но ненависть эта долго переживаетъ эти причины и въ свою очередь возбуждаетъ рядъ событій, зависящихъ уже отъ нея самой. Наполеоновскія войны носили именно этотъ характеръ слѣпой и неосмысленной инерціи. Когда европейскія государства составили реакціонную коалицію для подавленія революціи, тогда борьба Франціи съ этою коалиціею имѣла свое разумное основаніе: это была борьба двухъ противоположныхъ началъ. Но мало по малу, когда революція во Франціи была подавлена тѣмъ самымъ орудіемъ, которымъ она защищалась противъ враговъ, то-есть войскомъ, смыслъ борьбы Франціи съ европейскою коалиціею былъ потерянъ, между тѣмъ, разъ возбужденное движеніе продолжалось все по одному направленію по слѣпой инерціи. Французы поклонялись Наполеону и шли за нимъ, попрежнему возбуждаемые революціоннымъ энтузіазмомъ и мечтая, что цѣль наполеоновскихъ войнъ—вводить во всѣ страны Европы новыя начала; европейскія государства въ свою очередь въ Наполеонѣ видѣли исчадіе революціи и боролись съ нимъ во имя охранительныхъ началъ; самъ Наполеонъ вѣрилъ въ революціонное значеніе своихъ войнъ, вслѣдствіе чего вводилъ въ завоеванныя имъ страны свои кодексы и конституціи. И до такой степени была сильна инерція въ этомъ отношеніи, что идея о революціонномъ значеніи семейства Наполеона продолжала существовать до нашего времени, до Седана. Къ ней пріурочивали и крымскую войну, и освобожденіе Италіи; не будь Седана, окажись Наполеонъ III побѣдителемъ въ войнѣ съ Пруссіею, очень можетъ быть и въ настоящее время, весьма многіе видѣли бы въ этой побѣдѣ торжество революціоннаго Наполеона надъ прусскимъ феодализмомъ.

Но совершенно иначе объясняетъ гр. Толстой значеніе Наполеоновскихъ войнъ. Для него не существуетъ въ исторіи ошибокъ, вѣковыхъ заблужденій, народныхъ сумасшествій, неосмысленныхъ движеній, не ведущихъ часто за собою ничего кромѣ всеобщаго вреда, невознаградимыхъ потерь и гибели. Доказывая на десяткахъ страницъ идею исторической причинности, онъ въ то же время ратуетъ за разумную цѣлесообразность событій. По его мнѣнію, всѣ причины, которыми историки объясняютъ наполеоновскія войны, суть причины мелкія, второстепенныя, не исключая даже и французской революціи. Все это даже не причины, а просто слѣдующія другъ за другомъ событія, изъ которыхъ мы совершенно произвольно и безосновательно предыдущее считаемъ причиною послѣдующаго. Настоящія же причины недоступны для нашего ума: онѣ стоятъ гдѣ-то за кулисами исторической сцены, въ видѣ какого-то таинственнаго предопредѣленія, которое движетъ народами по своему благоусмотрѣнію и сталкиваетъ ихъ сообразно своимъ замысламъ. Такъ и въ настоящемъ случаѣ причина Наполеоновскихъ войнъ заключается не въ революціи, не въ европейской коалиціи, не въ честолюбіи Наполеона. Ничуть ни бывало: по неисповѣдимымъ историческимъ причинамъ, по недоступнымъ человѣческому уму предусмотрѣніямъ положено гдѣ-то, чтобы европейскіе народы двигались въ началѣ нынѣшняго столѣтія сначала съ запада на востокъ, потомъ съ востока на западъ: они и давай двигаться, такъ что даже самая французская революція произошла не почему нибудь другому, какъ потому чтобы послужить сигналомъ этого движенія: надо же было съ чего-нибудь начать двигаться. Вотъ какъ курьёзно понимаетъ гр. Толстой идею исторической причинности. Вы думаете, что безсиліе генія совершить что-либо по своему личному произволу-вопреки закона исторической жизни и народнымъ стремленіямъ, оправдалось по отношенію къ Наполеону въ томъ простомъ и очевидномъ фактѣ, что всѣ его завоеванія рушились прахомъ, основать общеевропейскую имперію ему не удалось, народы снова сложились въ тѣ же группы, въ которыхъ существовали прежде, и даже многія безспорно полезныя преобразованія, которыя сдѣлалъ Наполеонъ въ завоеванныхъ имъ государствахъ, были отвергнуты, какъ навязанныя силою извнѣ... Нѣтъ, отсутствіе личной свободы со стороны Наполеона заключалось въ томъ, что все что ни замышлялъ онъ, казалось бы, повидимому, совершенно произвольно по своей иниціативѣ и въ личныхъ видахъ, все это клонилось къ тому, чтобы совершилась предусмотрѣнная прогулка народовъ съ запада на востокъ и обратно. Такимъ же самымъ образомъ и русскіе отступали передъ Наполеономъ вовсе не потому, что военныя силы ихъ были значительно слабѣе наполеоновскихъ и полководцы робѣли въ виду военнаго генія Наполеона, а опять-таки вслѣдствіе того же высшаго предусмотрѣнія: надо было, чтобы прогулка съ запада на востокъ дошла до своего надлежащаго пункта, Москвы, а потомъ, само собою, должно было начаться обратное шествіе. Неужели гр. Толстой, который рядомъ съ подобными курьёзами высказываетъ столько свѣтлыхъ и реальныхъ взглядовъ на частности той же самой войны, не понимаетъ, какой дикій, чисто-восточный фатализмъ проповѣдуетъ онъ въ то же время? Замѣтьте при этомъ, что онъ считаетъ отжившимъ взглядъ древнихъ на историческія событія,

основывающійся на произвольномъ управленіи народами и царями воли божествъ. А самъ между тѣмъ проводитъ тотъ же самый взглядъ, замѣняя только личную волю человѣкообразныхъ божествъ древняго міра предопредѣленіями какихъ-то таинственныхъ, безусловныхъ силъ безличныхъ и между тѣмъ сознательныхъ и разумныхъ. „На вопросъ о томъ, что составляетъ причину историческихъ событій, говоритъ онъ, представляется другой отвѣтъ, заключающійся въ томъ, что ходъ міровыхъ событій предопредѣленъ свыше, зависитъ отъ совпаденія всѣхъ произволовъ людей, участвующихъ въ этихъ событіяхъ, и что вліяніе Наполеоновъ на ходъ этихъ событій есть только внѣшнее, фиктивное“.

Становится просто непонятно, какъ можетъ такъ дико заблуждаться столь свѣтлый умъ, который во многихъ мѣстахъ романа такъ мѣтко судитъ объ отношеніи историческихъ личностей къ массамъ и высказываетъ неоднократно мысли, вполнѣ основательныя; такова напримѣръ мысль, что историческія событія совершаются всегда, даже въ самыхъ деспотическихъ государствахъ, не государственными людьми, а массами, отъ духа которыхъ, энергіи, готовности исполнить то или другое приказаніе зависитъ не только успѣхъ предпріятія, но и слава генія: полководецъ идетъ во главѣ арміи недеморализованной, энергической, исполненной по той или другой причинѣ жажды борьбы и побѣдъ—онъ побѣждаетъ, то-есть побѣждаетъ армія, и побѣда зависитъ отъ совокупныхъ дѣйствій всѣхъ солдатъ, но приписывается она полководцу и онъ попадаетъ въ геніи; въ противномъ случаѣ историки не замедлятъ открыть вамъ бездну ошибокъ, зависящихъ, конечно, отъ неспособности полководца—и не обращаютъ при этомъ вниманія на то обстоятельство, что въ разгарѣ сраженія, половина приказаній полководца остаются неисполненными за невозможностью часто просто потому, что адъютантъ, несущій приказаніе, падаетъ убитый и раненый на дорогѣ, въ то же время дѣлается войсками множество удачныхъ и неудачныхъ движеній, помимо всякихъ приказаній начальства. Все это совершенно справедливо,—и развивая далѣе подобныя свѣтлыя мысли гр. Толстаго, мы можемъ замѣтить, что и во внутренней жизни народа наблюдается та же зависимость историческихъ дѣятелей отъ духа и настроенія массъ. Въ геніи попадаетъ обыкновенно не тотъ, который измышляетъ изъ своей головы что-либо непредвидѣнное, а кто уловляетъ духъ времени, настроеніе массъ, ихъ потребность или готовность принять рядъ полезныхъ реформъ; отъ всего этого прямо зависитъ успѣшность самыхъ реформъ, такъ-какъ онѣ исполняются, конечно, не лично геніальнымъ преобразователемъ, онъ только ихъ предлагаетъ, утверждаетъ, а масса приводитъ ихъ въ исполненіе, и конечно можетъ если не активнымъ сопротивленіемъ, то пассивнымъ бездѣйствіемъ, непониманіемъ, наконецъ, парализовать всѣ его дѣйствія. Все это несомнѣнно; только все-таки остается непонятнымъ, зачѣмъ же для объясненія различныхъ настроеній массъ, не довольствуясь реальными и опредѣлечными причинами, необходимо гр. Толстому прибѣгать къ какимъ-то сверхъестественнымъ и таинственнымъ? Что за причина такого страшнаго заблужденія ума, такъ неожиданно повернувшаго къ мистицизму?

Не желая слѣдовать примѣру гр. Толстого и считать подобное заблужденіе слѣдствіемъ таинственныхъ и неразгаданныхъ причинъ,

мы постараемся объяснить его причинами очевидными, и надѣемся, что объясненіе наше покажется читателямъ небезосновательнымъ. Дѣло въ томъ, что умственный процессъ, возбудившійся въ гр. Толстомъ изученіемъ событій начала нынѣшняго столѣтія, принялъ не обыкновенное, естественное теченіе, а осложнился особенными, посторонними вліяніями искусственныхъ теорій весьма сомнительнаго свойства. Здѣсь встрѣтились два противоположныхъ теченія: одно теченіе чистое и прозрачное, какъ хрусталь—это теченіе самостоятельной дѣятельности ума гр. Толстого, который перенесъ свой индуктивный методъ отъ изученія окружающей его жизни, къ изученію жизни прошлой и приложилъ къ послѣдней тѣ же обобщенія, найдя въ ней факты иными только по своей внѣшности, но подобными по сущности:—ту же искусственность, ходульность, нравственную распущенность и безцѣльность жизни интеллигентныхъ слоевъ общества, рядомъ съ полезной естественною жизнію безъискусственно-простыхъ, цѣльныхъ и сильныхъ людей труда... Отсюда онъ и пришелъ къ окончательному выводу, что исторію производитъ народъ, событія совершаются усиліями и трудами темныхъ массъ, отъ стремленій и настроеній которыхъ зависитъ все и вся... Но онъ не могъ остановиться на этомъ истинномъ и глубокомъ выводѣ. Здѣсь вмѣшалась другая струя мысли—мутная и смрадная — и помутила чистоту ясныхъ и свѣтлыхъ воззрѣній гр. Толстого. Это роковая струя — гр. Толстой, погубившая не одинъ талантъ на Руси! Ей мы обязаны утратою Гоголя, Кохановской. Къ этому омуту шелъ и Пушкинъ въ послѣдніе годы своей дѣятельности, и очень можетъ быть, что погибъ бы въ немъ, еслибы не нашелъ другой, во всякомъ случаѣ менѣе плачевной гибели. Этотъ омутъ заключается въ московскихъ славянофильскихъ ученіяхъ *)...

Вороны почувствовали уже любимый имъ запахъ и не замедлили слетѣться... Такъ въ „Зарѣ“, вскорѣ послѣ появленія романа „Война и Миръ“, гр. Толстой объявленъ геніемъ, а романъ его однимъ изъ величайшихъ произведеній настоящаго времени. О, еслибы могъ почувствовать гр. Толстой, сколько злой ироніи заключается для него въ похвалѣ „Зари“!.. Еслибы только онъ понялъ, что не за то превознесла его „Заря“, что въ его произведеніяхъ можно найти дѣйствительно великаго, а именно за то, что предвѣщаетъ начало печальнаго паденія его таланта, за тѣ затхлыя тенденціи, въ которыхъ онъ сошелся съ „Зарею“... Но гр. Толстой, который самъ проникся уже этими тенденціями, конечно принялъ за чистую монету похвалы „Зари“ и ему остается только, подобно Гоголю, вообразить себя пророкомъ и начать провозглашать людямъ вѣщіе глаголы. Повидимому онъ уже и начинаетъ: такъ въ настоящее время онъ издаетъ букварь для народныхъ школъ и въ началѣ нынѣшняго года въ дружественныхъ своихъ органахъ „Зарѣ“ и „Бесѣдѣ“ напечаталъ по повѣсти, предназначенныя для этого букваря... Повѣсть, помѣщенная въ № 2 „Зари“, „Кавказ-

*) Здѣсь нами выпущены разсужденія почтеннаго автора о вліяніи славянофильскихъ тенденцій на гр. Л. Н. Толстого, такъ какъ ихъ мы не встрѣчаемъ въ новой редакціи предлагаемой статьи. См. книгу г. Скабичевскаго: „Гр. Л. Н. Толстой, какъ художникъ и мыслитель“. (Стр. 81, 82 и далѣе).

Прим. *Н. Миронова.*

й плѣнникъ“, напоминаетъ намъ прежняго гр. Толстого; она столь-же оста, безъискусственна, реальна и исполнена такого-же глубокаго цержанія, какъ и всѣ его предыдущія произведенія... Что же ка-ется до повѣсти „Богъ правду любитъ, да не скоро скажетъ“, помѣ-нной въ № 3 „Бесѣды“, то она представляетъ пересказъ каратаев-ой легенды о купцѣ, невинно сосланномъ въ каторгу и встрѣтив-мся тамъ съ настоящимъ виновникомъ преступленія, за которое лъ сосланъ; легенда эта преисполнена дикаго фатализма и мисти-зма, и довольно сказать, что въ ней-то именно Пьеръ наиболѣе озрѣлъ глубину народной мудрости и пришелъ отъ нея въ оконча-ьное умиленіе, чтобы понять, что это за прелесть такая!..

Все это очень печально!.. И все это происходитъ ни отъ чего угого, какъ отъ того, что гр. Толстой покинулъ прежній путь твор-ства, индуктивный, т.-е. зависящій отъ естественныхъ обобщеній поэтическіе образы частныхъ фактовъ жизни, и промѣнялъ ихъ на цуктивный, т.-е. идущій отъ предвзятыхъ теорій, произвольно под-няющихъ себѣ поэтическіе образы, искажающихъ ихъ, иногда и по-кдающихъ поэта просто выдумывать образы изъ своей фантазіи...

Только одно индуктивное творчество есть истинно свободное, ре-ьное и полезное, потому что только оно одно можетъ вполнѣ вѣрно безпристрастно изображать передъ вами правду жизни, а отъ одной авды только и можно ждать истинной пользы... *).

А. Скабичевскій.

БИБЛІОГРАФИЧЕСКІЙ УКАЗАТЕЛЬ.

(Статьи и замѣтки, не вошедшія въ сборникъ).

---

5. „Отечественныя Записки“, т. 98, т. 101. (Севастополь въ декабрѣ мѣсяцѣ), т. 102. (Рубка лѣса).
6. „Отечественныя Записки“, т. 109.
2. „Время“, № 1 („Явленія нашей литературы, пропущенныя критикой“ ст. Аполлона Григорьева). Вторая статья этого критика, носящая то же заглавіе, вошла въ наше изданіе съ значительными сокращеніями. „Русскій вѣстникъ“, № 5 („Теорія и практика ясно-полянской школы, ст. Е. Маркова). См. отвѣтъ Л. Н. Т-го г-ну Маркову: „Прогрессъ и опредѣленіе образованія“, Соч. т. IV.

---

*) „Отечеств. Зап.“ 1872, №№ — 8 и 9. Ст. „Графъ Л. Толстой, какъ художникъ и мыслитель“.

1863. „Современникъ“, № 7. „Сѣверная пчела“, № 247. (Русскіе критики и художественная этнографія). „Иллюстрація“, № 266. (Статьи о повѣсти: „Казаки“)

1864. „Русское слово“, № 12. („Промахи незрѣлой мысли“, статья Д. Писарева).

1865. „С.-Петербургскія Вѣдомости“, № 178.

1868. „Современное Обозрѣніе“, № 2. „Отеч. Записки“, № 2. („Старое барство“, ст. Д. Писарева) и № 6. („Наши бабушки“—Женскіе характеры въ романѣ „Война и миръ“). „Русскій Архивъ“, № 3. („Нѣсколько словъ по поводу книги „Война и миръ“). „Русско-славянскіе Отголоски“, № 6. („Философія нашихъ критиковъ“). „Военный Сборникъ“, см. первые №№ и № 11. (Ст. Норова: „Война и миръ“ съ исторической точки зрѣнія и по воспоминаніямъ современниковъ). „Современныя Извѣстія“, № 10. „Сынъ Отечества“, №№ 3, 4, 13. „Русскій Инвалидъ“, №№ 11, 80, 96. „Иллюстрированная Газета“, № 37. (Ст. М. М.). „Голосъ“, №№ 11, 14, (Ст. Л.), № 105, (Объясненіе автора „Войны и мира“), № 128, („Что такое война и миръ?“ Ст. Н. Б.), №№ 63, 83, (см. фельетонъ). „Народная Газета“, № 44. „С.-Петербургскія Вѣдомости“, №№ 86, 238 и 325.

1869. „Военный Сборникъ“, т. 75. (Ст. Витмера по поводу историческихъ указаній 4-го тома). „Отеч. Записки“, № 4. (О статьѣ Витмера). „Сѣверная пчела“, № 36. (idem). „Биржевыя Вѣдомости“, №№ 66, 68, 70, 75, 98, 99, 109 („Герои отеч. войны“). „Всемірный трудъ“, № 3. (Ст. Н. Ахшарумова). „Всемірная Иллюстрація“, № 41. (Ст. г. Данилевскаго по поводу воззрѣній А. Норова). „Дѣятельность“, № 9. (idem). „С.-Петербург. Газета“, №№ 2, 4. (idem). „Русскій Архивъ“, № 1. (Воспоминанія о 1812 г. кн. Вяземскаго). № 5. (По поводу ст. князя Вяземскаго письмо Растопчина). „Русскій Инвалидъ“, № 12. „С.-Петербург. Вѣдом.“, № 18. (О статьѣ Вяземскаго, см. фельет.). „Новое время“, № 91. (idem). „Сынъ Отечества“, № 56. „С.-Петербург. Вѣдом.“, № 69. № 144, (Война изъ за „Войны и мира“ ст. М. де-Пуле). № 145, (см. въ фельет. по поводу ст. г. Щебальскаго „Нигилизмъ въ исторіи“). „Сѣверная пчела“, № 12. „Голосъ“, №№ 70, 360. „Всеобщая Газета“, № 45. „Заря,“ № 3 („Литературная новость,“ зам. г. Страхова о появленіи 5-го тома). Мнѣніе И. С. Тургенева о „Войнѣ и мирѣ“ см. въ его „Литературныхъ воспоминаніяхъ“. Полное собраніе соч. И. С. Тургенева, изд. 2-е Глазунова, т. X, стр. 110—111. Впервые замѣтка Тургенева о „Войнѣ и мирѣ“ появилась въ собраніи сочиненій 1869 г., т. I, стр. С.).

1870. „Дѣло“. № 1. „Философія застоя“. (Ст. Шелгунова). „Оружейный Сборникъ“, № 1. („Война и миръ“ съ военной точки зрѣнія). „Военный Сборникъ“. № 6. „Русскій Инвалидъ“. № 3. „Сынъ Отечества“ №№ 3. 57. „Биржевыя Вѣдомости“. № 149, „С.-Петербургская Газета“. № 2.

PG 3410 .M5 C.1
L. N. Tolstoi
Stanford University Libraries
3 6105 036 771 652

DATE DUE

STANFORD UNIVERSITY LIBR
STANFORD, CALIFORNIA
94305